

КОНТИНЕНТ 68

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Десятилетиями американцы и русские смотрели друг на друга с подозрением и даже с враждебностью... Вам говорили, что мы хотим притеснять вас, мы же слышали высказывания ваших руководителей о том, что они „похоронят нас“. Коммунизм стоял между нами как обоюдоострое копьё, которое пронзало и насильственно разделяло нас.



Поль М. Вайрик

самые разные и многие из пролетающих мимо по делам или в поисках сердца в котором можно было бы родиться а также другие с истекшим сроком годности застрявшие в своих сновидениях словно на незнакомой станции



С коммунизмом я начал бороться еще до войны и продолжал борьбу в эмиграции, но в то же время русская литература была мне очень близка, едва ли в каком-то смысле не ближе, чем польская. Я ведь больше читаю по-русски, чем по-польски, потому что нахожу там больше отвечающим моим интересам писателей и книг, чем в польской литературе.



Ежи Гедройц

в ожидании проходящего поезда и наконец те кто вообще не отсюда а просто вышел покурить и узнать не нужны ли кому крылья по сходной цене.

Александр Орлов

Звезда в седьмой раз восходила над его жизнью, были еще астероидики и кометики хвостатые, но звезда седьмая, и всякий раз было связано с переменной участи. Нет, не с помощью женщины, далеко не так банально, звезда явилась как освящение, может быть, знак, что небеса видят и знают. Генриху это было дорого, он это ценил.



Ольга Кучкина

По расчетам ученого мужа человечество мчится к беде. „Никому и нигде ты не нужен, человек! Никому и нигде“ — Так сказал, и неявно что-то, что главнее, чем правда сама пронеслось... На мгновенье расчеты завели его дальше ума.



Михаил Грозовский

Главный редактор: Владимир Максимов
Зам главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов ° Виктор Астафьев ° Ценко Барев
Николас Бетелл ° Александр Блок ° Иосиф Бродский
Владимир Буковский ° Армандо Вальядарес
Игорь Виноградов ° Галина Вишневская
Георгий Владимов ° Ежи Гедройц ° Густав Герлинг-
Грудзинский ° Пауль Гома ° Милован Джилас ° Пьер
Дэкс ° Эжен Ионеско ° Фазиль Искандер ° Оливье
Клеман ° Роберт Конквест ° Наум Коржавин ° Эдуард
Кузнецов ° Николаус Лобковиц ° Эрнст Неизвестный
° Амос Оз ° Булат Окуджава ° Ярослав Пеленский
Норман Подгорец ° Андрей Седых ° Виктор Спарре °
Витторио Страда ° Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём ° Юлиу Эдлис

Корреспонденты "Континента"

Италия **Сергей Рапетти**
Sergio Rapetti
via C.Hajech 10
20129 Milano, Italia

США **Эдуард Лозанский**
Edward D.Losansky
3001 Veazey Terrace, N.W.
Washington, D.C. 20008 USA

Япония **Госюке Утимура**
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала "Континент" © В.Е.Максимова



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

68

Кино-издательский консорциум „АВЕРС“

Москва

1991

КОНТИНЕНТ CONTINENT

Revue trimestrielle

Dates de la parution:

debut du janvier, d'avril, du juillet et d'octobre

Publiee par l'Association des Amis

de la revue Continent

16, rue Lauriston

75116 PARIS, France

Prix 60 francs

Directeur de la publication

Vladimir Maximov

**• Кино-издательский
консорциум "АВЕРС"**

СОДЕРЖАНИЕ

Анатолий Найман — Памяти Роберта Филлимора. Стихи.	7
Ольга Кучкина — Бес глаздый. Маленькая повесть	12
Сергей Ломинадзе — Стихи разных лет	59
Геннадий Покрасс — С приездом! Рассказ	73
Александр Орлов — Следы утерянной гармонии. Стихи	87
Галина Погожева — Двенадцать стихотворений	91
Михаил Грозовский — Из детства. Стихи	101
Анатолий Гаврилов — Будут еще парки и рестораны. Рассказ	110
Дмитрий Веденяпин — Из книги "Покров. Стихотворения 1981—1990 гг."	116
Владимир Максимов — Там вдали за рекой. Пьеса	123
 РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Лев Наврозов — Семь советско-западных мифов	167
 ЗАПАД — ВОСТОК	
Поль М. Вайрик, Уильям С. Линд — Россия и Америка	199
Игорь Виноградов — Консолидация: на какой основе?	209
 ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Наталья Горбаневская — "Земля людей". Перечитывая статьи Юзефа Чапского (к 95-летию со дня рождения)	224
 ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Давид Фельдман. Правила игры	242
Вальдас Анялаускас С. — Чему нас учит история	254

ИСКУССТВО	
Письма С.Михоэlsa к С.Радлову — Публикация Виктории Левитиной	264
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Ирина Муравьева — "Ах как трудно жить на свете..." (к 80-летию со дня рождения А.Твардовского)	287
РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ	
Епископ Владимир — Открытое письмо	229
ПАМЯТИ УШЕДШИХ.	
Хартия борьбы (Дмитрий Панин о противлении злу)	315
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	325
НАША ПОЧТА	328
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Никита Петров — Рой Медведев как историк-диссидент	335
Виталий Амурский — Не будем бояться толстых книг	345
Три времени Евгения Рейна. "Было, были, был, был, был"	351
КОРОТКО О КНИГАХ	
Н.Г. — Сергей Прокофьев. Дневник-27	357
Наталья Горбаневская. — Из польской поэзии XX-го века. Пер. С.Тхоржевского	359
Г.П. — У Финского залива	362
П.Г. — Кумачевщина	362
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	
"Свободное объединение чешских русистов"	364
НАША АНКЕТА	
Разговор с главным редактором польского журнала "Культура" Ежи Гедройцем ведет Наталья Горбаневская	374

ПАМЯТИ РОБЕРТА ФИЛЛИМОРА

С выкриком грубым фанфар,
с кашлем сухим барабанов
вырвался трепетный пар,
громом без молнии грянув.
Скорбь полстолетнюю вздох
к той домладенческой воле
вынес, где нет ни эпох,
ни воздыханий, ни боли.

Войску Господнему долг
отдал король твой. И вытер
ветер лужайку, где полк
твой галопировал, рыцарь,
зрю трубя, и бия
дробь. Но каре караула
ждет, чтоб еще раз твоя
тень на разводе мелькнула.

Свежесть воздушных палат
тронной роскошной палаты:
скинув персидский халат,
влезь в кипарисные латы.
Призрачных грез, лотофаг,
дозу ты пьяную принял:
глиной изваянной ляг
в шелк гиацинтов и примул.

Тс, барабан, не глуши
песни, чей голос беззвучен!
Был умилением души
князь Достоевский измучен;

был по-славянски легко
мир чистотой обезврежен;
так из поэтов никто
не был с поэзией нежен.

Эльфы готовят приют.
Гоблины челюсти щерят.
Гостя в безвременье ждут.
Сэмюэль, Вильям и Джерард.
Тишь. И больная душа
вдруг постигает, какое
счастье — вот так, не спеша,
жить: наконец-то в покое!

... Те, что завел ты, часы
тикают. Чиркая гравий
лапой, строчат твои псы
свой черновик эпитафий.
Спишь. И хоть всякий из дней
тем, когда был ты, подобен,
стало немного больней
в мире, где нет тебя, Робин.

Март 1990

ЛИРИЧЕСКАЯ ОДА

Не мусор, не грязь, но уже человеческий навоз,
створоженный окисью жести и слизью харкотин,
забил твои поры, родная земля, и пророс
лопушьям ковром единиц и ососою сотен.

Известки, тряпья и газетных пергаментов слой
культурный, и то, что желудок нахапал по чайным,
стахановец выпивший желтой смывает струей,
и дети смеются у устья, дыша одичаньем.

Стране, где ты мерзнешь и маешься в лагерном сне, как шкуре дырявой, негож узкоплечестью глобус — у граждан зато достается всех больше спине, автобуса ждешь ли, влезаешь ли, влез ли в автобус.

...Но я здесь любил, и болел, и отца хоронил, на этом болоте, асфальте и снова болоте. Единый рецепт у меня с пацанами — чернил, и общий состав со стахановцем — крови и плоти; —

в стране, где до нынешних дней — выживанья залог не нож и не бронежилет, а из зайца тулупчик, где бабка шпану поселковую кличет "милок", лотошниц лихих величает старушка "голубчик".

Как быть, если мыслью стремиться с потертой тахты милее мне вслед ускользящим в вечность минутам, чем их выжимать, задыхаясь, в цветные хрусты! Что толку в сравненьях с заморским трудом и уютом!

Уют — когда слышно, как в сквере лягушки поют, а слышно — пока не заглушит их ругань воронья, тотчас от которой в костях начинается зуд безделья, похожий на труд, особенно спросонья.

Сады заросли лопухом и осокой. Топор садовника в пустошь готов превратить их, расправясь с бесплодием яблонь, но медлит до нынешних пор в надежде пускай не на яблоко в листьях — на завязь.

Подумай, ты видишь: садовник ствола не сечет, навозом окутал, водою полил из колодца. Народу достаточно, вдумайся (если народ большой), когда в нем хоть десятая доля очнется.

Что делать, такая родня — у тебя, у меня: рабочий и школьник равно как молодчик и купчик...

Пока ты жива, есть надежда, родная земля.
Не бойся, милок, не пугайся до смерти, голубчик.

Март 1990

ПОСЛЕ ПОСТИМПРЕССИОНИЗМА

Остановиться на очерке тела
белого, в легких пузырьках пены,
слепо следящих за тем, как двоится
тело, и не созревающих в лица.
Тем ограничиться, как оно бело,
ибо чужды белизне перемены:
белым сменяется белое плавно,
правда, наивно, зато и неявно.

Не любоваться, нет, нет — восхищаться
телом, которое было тобою
или твоим и которого проще б
форму не зреньем творить, а на ощупь.
Проще бы — да. Но телесней. А счастье
в том, чтоб мерцал в белопенном приборе,
как безуханный цветок между строчек
влажных валов, неотчетливый очерк.

Чтобы гадать — а не знать или помнить.
Облако сладостней мальчика с луком,
так как таинственней: цвет переливчат
белый, и контур воздушный расплывчат.
Бывших друг другом не надо знакомить:
зренье не зеркало. В четырехруком
звере двугранном — двугибельность, но не
вихря, а как в скрипаче иль тритоне.

Остановиться на дальнем пределе,
чтобы не видеть, как райскую землю,

деревцем хрупких хрящей и сосудов —
ангел-гончар — пронизав и опутав,
вынес к воде в размываемом теле...
Только дотронуться зреньем до стебля,
знобкого стебля с невидимой кровью,
не красотою слепясь, а любовью.

Март 1990

НОВЫЕ КНИГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ

БРАЙДЕР Юрий, ЧАДОВИЧ Николай. Ад на Венере. Минск, "Эридан", 1991. (Фантаkrim — Extra. Вып. N8).

БРОДСКИЙ Иосиф. Назидание. Стихи 1962—1989. Сост. В. И. Уфлянд. Л., СП "Смарт", 1990.

ДРОЗДОВ Владимир. День земного бытия. Стихи. Л., "Советский писатель", 1989.

БЕС ГЛУЗДЫЙ

Маленькая повесть

— Поезжай сейчас в Сообщество, найди Зинченко, пусть даст тебе доллары, и мигом обратно...

— Да не поеду я никуда... я устала, устала, как собака... встречать этого Друка я, везти в гостиницу я, переводить переговоры я... вон пусть Витя поедет, он сыт, умыт и побрит, а я даже толком поесть не успела... нет, я домой, и в душ, и в койку...

— Знаю я, в какую койку... а кто будет контракт подписывать, я, что ли, право подписи у Вити, Витя и будет, а ты поедешь...

— Позвони Зинченко, он все равно собирался приехать, пусть захватит доллары...

— Кто кому указывает, я что-то не понял, я тебе или ты мне... вот ты иди и позвони и доложи, привезет он или нет, а если не дозвонилась, поезжай, и без всяких капризов... распустились, мать их за ногу, как в койку к Друку лезть, так она свежая, а как за долларами ехать, так ей срочно в душ...

— Генрих, ну ты совсем... чего ты разорался... Зинченко действительно приедет... разделается с финнами и приедет, а Нинка...

— Слушай, только не суйся не в свои дела, будешь еще эту проститутку защищать...

— Ты поосторожнее...

— Ага, значит она и тебе кое-какие местечки свои показала, что ты ее защищаешь... хорошо, тогда ты поедешь к Зинченко...

— И не подумаю... принесут горячее, тогда еще подумаю...

— Подумает он, мыслитель... смотри, пробки не пережги... уберу ее, к черту, из Сообщества...

— Сообщество не твое...

— Интересно... а чье же Сообщество... чье оно, я спрашиваю...

Такой разговор происходил в Узбекистане.

То есть не в настоящем Узбекистане, а в Узбекистане в кавычках. Друг против друга в вестибюле ресторана стояли сначала трое, а потом, когда девушка ушла звонить, то двое. Витя — коренастый, тяжелый крепыш с ногами циркулем и руками бочонком по причине толщины. Генрих высок и в другое время ясноглаз, но теперь стрелка показывала "бурю", а не "ясно", и в глазах была тьма и сверкали молнии. Как всегда, когда Генрих срывался, он переходил на визг и пришептывание одновременно, точнее, одно следовало за другим без перерыва, волоска не проложить, и в каждую секунду вы, ожидая одного, получали другое, наверное, это был его метод сбить вас с толку, и он всегда удавался, привыкнуть к этому было невозможно.

Прием, который устраивал Генрих со своими сотрудниками, клонился, как можно догадаться, к горячему, принимали американцев, главным среди которых был Друк, и Генрих, как обычно, мучился ревностью и подозрениями: сработает ли и на этот раз девушка на него или на этот раз уже на себя, и тогда только он и видел и ее и Друка. Он знал, что доверять нельзя никому.

Она появилась, тонкая, в черном, с обманчивым загадочным лицом, напрасный дар природы, без косметики и украшений, только на левом запястье тонкое золотое кольцо.

— Никто не отвечает, — потрянула рыжими прямыми волосами.

Генрих больно сдавил ей запястье:

— У Друка встрясла? — то ли шутил, то ли пытал.

— Пусти.

Отняла руку и поглаживая сдавленное место, двинулась в зал. Навстречу ей шел узкоплечий, с клубочком животика, американский еврей, миллионер Друк, любитель русского балета и русской красоты. Они встретились ровно посередине, полуобнялись дружески, и тут же третьим к ним присоединился утихший, ясный Генрих. Мечтательно заглядывая в глаза обоим, сказал без визга и пришептывания:

— А что, друзья, если нам сбежать по-английски и кофе поехать пить к нашему коллеге Вите? Витя, иди сюда, ты приглашал нас осмотреть твою новую берлогу, вот они мы, и согласны, Нинок переведи, а там, Бог даст, все и подпишем.

— Зачем тебе нужен был Зинченко с долларами? — нащупал ускользящую мысль по дороге к машине стокилограммовый Витя.

— Затем, козел, чтобы утрясти его в валютном баре, а не в твоей бетонной новостройке, — по-прежнему ясно улыбаясь и любя всех, коротко пояснил Генрих.

Падал снег.

Падал снег. Он засыпал грязную, размокшую дорогу, глубокие канавы по обе стороны, капустное поле с остатками гнилых листьев, ближнюю чахлую рощицу, старую разрушенную церковь, использовавшуюся как склад, тоже теперь разрушенный, а дальше все пространство до горизонта.

Генаша не видел пространства. Он видел ближнее: пару резиновых сапог, месивших седую грязь дороги вкривь и вкось, то убыстрявших ход, то замедлявших, а то и вовсе спотыкавшихся, и ему, как телеге за лошадь, приходилось повторять те же движения, и эта встроенность в тягло, следование чужой

воле, и бунт против тягла, и желание своеволия остались на всю жизнь вбиты в подсознание.

Генаше было холодно в рваном пальтишке и худых ботиночках, грелась лишь одна левая рука, крепко зажатая горячей материнской рукой, тащивший его за собой. Матери, наоборот, жарко, телогрейка распахнута, платок сбился, спутанные волосы падали на потное лицо, то и дело она пыталась выдрать их с корнем, не выходило, она всхлипывала и повторяла:

— Гад!.. Гад вонючий... гад... гад!..

Мать была пьяна, но Генаша этого не знал. Он ничего не знал и не понимал в свои два с половиной года. Обзывала ли мать "гадом" бригадира, выгнавшего ее из колхозной бригады за пьянство и невыходы на работу, на эту самую капусту, свеклу и морковь, или "гад" был генашин родитель, сожитель, не то муж, нашедший себе другую, или проклятья ее воздымались выше, аж в адрес самого инструктора райкома, что выдворил ее, нетрезвую и нечистую, вместе с ее отродьем, из чистенького партийного помещения, куда она пришла искать личной и социальной справедливости, то бишь мести, — то ребенку было никак не ведомо. Он еще не умел ни знать, ни понимать, ни помнить. Он только ощущал. И это было ощущение холода.

Откуда возникло, как пришло в первый раз это ощущение, Генрих Петрович О. не знал, не понимал и не помнил. То ли усталость, то ли нервы, то ли тайная болезнь угнездилась и дает себя знать вот таким ознобом, колоченьем зубов о зубы, такой страшной растерянностью. Все достигнутое, добытое, пробитое, полученное, завоеванное, наработанное им с таким блеском за предыдущий день, валилось в тартары, и оставалось одно огромное стылое пространство, без звезды, и он как бы на коленях, немой и жалкий, и пусто внутри и снаружи, и его трясет в

этой пустыне, и черно-серая жижа втекает и вытекает, вытесняя навеки живое, теплое, кроветворное. Генрих Петрович мог бы перевернуться на другой бок, подвинуться, прижаться грудью к спине жены Клавы, ногу положить на ее ногу, руку на бедро или живот и таким образом согреться и победить стылую пустоту, но жена поняла бы это однозначно и, отталкивая его и защищаясь, принялась бы нетерпеливо и алчно ждать его нападения, а об этом и речи не могло быть, пустота была непобедима, и уж точно победима не Клавой, и опять кончилось бы слезами и задушенными криками: в соседней комнате дочь-школьница Линда, Розалинда полностью — Прокофьев, балет "Ромео и Джульетта" на сцене районного Дома офицеров, он — постановщик и Ромео, Джульетта с лицом, похожим на череп, но с изумительной пластикой, слава и гордость кружка Дома офицеров, и голубые наивные глазки, алый рот, пух кудрявых волос над низким лобиком — Розалинда, прелесть, четвертая, предпоследняя перед браком с Джульеттой-Клавой, лучшей подругой Розалинды, любовь. Между прочим, сама Клава выбирала имя для дочери. Сперва не понял, так глупа или так коварна, потом забыл, потом недосуг было разбираться в характере жены, не до жены стало, уже планы роились и крутились в обширном, незаурядном мозгу. О драматических актерах говорят, что они хотя бы читают роли, об оперных — что разучивают партии, балетные, дескать, и читать не умеют, потому что им читать ничего не надо. Но этот намек на их умственные способности — злостная неправда, и Генрих Петрович — лучшее тому подтверждение. Круглый сирота, детдомовец, подброшенный к порогу одной из больниц эсэсэровской глубинки в нежнейшем возрасте, месяцев восьми от роду, умница, хулиган, отличник, комсомольский вожак, слабый здоровьем, избегнувший по этой причине службы в рядах, длинноногий, ясноглазый танцор, единственный в Со-

юзе, кому удалось преобразовать балет из самодеятельного в профессиональный, перетащить его из района в область, позже добраться с гастролью до Новой Зеландии, еще позже переместиться в столицу, где уже танцевать одному, самому, а совсем поздно...

Вот совсем поздно и происходило, и высота, на которую взлетел Генрих Петрович О., мало кому снилась, а все своими руками, нет, вначале ногами, ногами, а затем головой, вот именно что светлейшей, соблазнительной и изобретательной головушкой. Если бы только не эти стылые пространства, без звезды.

Звезда в седьмой раз восходила над его жизнью, были еще астероидики и кометки хвостатые, но звезда седьмая, и всякий раз было связано с переменной участи. Нет, не с помощью женщины, далеко не так банально, звезда являлась как освящение, может быть, знак, что небеса видят и знают. Генриху это было дорого, он это ценил.

Случай, как всегда, случай.

Рыжие волосы текли по плечам. Зеленые глаза посмотрели влажно. Ослепительные зубы полуоткрылись.

Не ему, не Генриху.

Фиджийцу, смуглому и чернокудруму, которого переводила.

Была в заводе, томительном и тягучем, как сладкая слюна, и, заведенная, втягивала в свое поле существования и предметы окрест: стул, парик, брошенный бархат, фиджийца, двух других балетных, а зеркала, о зеркалах и говорить нечего, там отталкивалось и множилось, пропадало и возрождалось чарованье, и Генриху перепало, и он пропал и возродился, и во рту у него пересохло.

— Мистер Смит говорит, что восхищен вашими ногами, а также художественным образом, вами созданным, и в знак восхищения дарит вам эту жемчужную раковину.

— Да понял я, понял, — тоже отражаясь в зеркалах и сияя, отвечал полуголый Генрих, — знаю я ваш английский. — И тут же, не отрывая взора от зеленого и рыжего: — Тенк ю, мистер Смит, ай эм хэппи, энд пермит ми ту презент ит ту...

— Ниннна, — подсказал догадливый мистер Смит, явно раздваиваясь в своих чувствах между ними, и, будучи парнем искренним и честным, добавил: — Ши хэз олреди зе сейм.

— Хэз так хэз, будет хэз не одну, а две, пусть в каждой отразится по чудному зеленому глазу!

Он уже летел и пел, и Ниннна, получив вторую раковину, не могла не улыбнуться ему эспешиалли — отдельно.

— Слушай, иди ко мне переводчицей, — прямо и решительно обратился к ней Генрих, невзирая на посторонних. — Ты ведь хочешь замуж за него, а он не возьмет, да и на фиг он тебе, подумаешь, какой-то фиджиец, а я задумал такое новое дело, все ахнут, поработаешь со мной, будешь ездить и в конце концов найдешь себе, и не первого попавшегося, а сама выберешь, только не торопись, умоляю, такой уговор, два года крепи связи, но честно работаешь в Сообществе, ничего, что я сразу на "ты", это не я, это моя душа к твоей обращается, не на "вы" же им разговаривать, соглашайся, радость моя, ты мне нужна, ты мне очень нужна, я знаю, что теперь не смогу без тебя, так что выбирай, или ты идешь со мной, или все мое дело прахом, но тогда на тебе останется грех перед страной и перед народом, потому что я хочу жить и работать только для моего народа и моей страны.

Мистер Смит давно уже моргал короткими мохнатыми ресничками, не получая перевода страстной речи этого удивительного русского артиста, имевшего, по-видимому, очень интересное предложение к нему, Смиуту. Он даже потрогал Ниннну деликатно за локоть, прошелся пальцами по теплому фрагменту тела,

чувствовавшегося через шелк, что отозвалось волнением в крови, ах, хорошо, и удивительный артист, и балет, и чудо-переводчица!

— Да никакая я не переводчица, — дернула плечом, отбиваясь от Смита, Нинна, — я биолог. А что за сообщество?

— Ну пусть биолог, мне твоя анкета ни к чему, я тоже, как видишь, солист балета, а почему ты, что и как — твое дело, а не хочешь переводчицей, иди координатором по международным связям, тогда зарплата вдвое, а Сообщество — это то, что я основал, изобрел и основал, а разные органы поддерживали, новая жизнь, новые формы, против бюрократов и ради пользы отечества, будем вытаскивать народ из помойки, помогать талантливым людям, не на словах, а на деле, сейчас такие, как мы, именно и востребованы, время думающих, толковых, знающих, ты ведь знающая, вот хоть бы язык, сейчас разденусь, потом оденусь, и плюнь на него, пойдем поужинаем вместе, я тебе все-все расскажу.

— Ай эм сори, — повернула к фиджийцу лучезарный лик, — ай-л тейк э такси фор ю, ай эм бизи нау.

— Она занята сейчас, понимаешь? — перевел Смигу Генрих и, засмеявшись, протянул свои грязные розовые балетные тапочки: — Бери, фрэнд, на память, сегодня танцевал последний раз, будешь гордиться, в Метрополитэн-музей когда-нибудь сдашь, а твои мемуары о нашей встрече будут пользоваться неслыханным спросом. Гуд бай.

"Гуд бай, Америка". Спел маленький чернявый мужичок, открыл футляр, достал лежавшую там скрипку, смычок и как будто задумался.

— Здравствуй, Америка, — отчаянно возразил ему Генрих, в то же время осторожно напоминая о себе.

— Да нет... я понимаю... это неважно... — замычал скрипач и принялся пристраивать скрипку к плечу.

Рассудком понимая, что все потеряно, что настало время прощанья, великий музыкант начинает репетировать и уйдет сию минуту в музыку, откуда его не достать, и вопреки рассудку на что-то еще надеясь, Генрих пробормотал:

— Вы не понимаете...

Не в Америке было дело, конечно, доступной для великого скрипача в той же мере, что ежедневная домработница, тут Генрих ошибся, Америка была случайный звук, ковырянье в ухе, жевательная резинка, которую пора выплюнуть, — не в том было дело, а в том, что не услышал. Глух остался. И как следствие — нем. Вялый ответ на вялый запрос.

— Вы не поняли... моя вина...

Мог бы этого не говорить. Попытка не удалась, и Генрих знал, отчего. Не взлетел. А не взлетел — с утра отравился котлетами в кафе-забегаловке, был в ссоре с Клавой, и она не дала ему завтрака, велела убираться из дому, и в результате был физически нехорош, немощен. Так бывало редчайше, но все же бывало. Тупик, провал, финиш.

Но и нужен был тупик. Нужен был провал. Чтобы в действие вступили резервы. И чтобы мгновенно — за пределы возможностей.

Рывком, с полуоборота, оставив технико-идеологические подробности про филантропию и коммерцию, юридическое лицо и счет в банке, контракты и проекты, компьютеры и телефаксы, все характеристики Сообщества Великой Отечественной Культуры (СОВОК), мгновенно — про ребенка, мальчика, который выходит на сцену Дома офицеров где-то в глубинке, и под его волшебными пальцами древний, расстроенный рояль исторгает Музыку, Музыку, Музыку, и это повторяется с каждой новой пьесой, и

зал, темный, малограмотный, недоумевая, трепеща и изнемогая, не отпускает пианиста, заставляя вновь и вновь погружать их, всех как одного человека, в немое, необъяснимое блаженство, и вдруг в изношенном рояле лопается струна, и этот звук, как у Чехова, обрывает всю будущую жизнь ребенка, он матерееет, не возмужав, он идет к подонкам, потому что ему некуда идти, некуда податься в русской провинции, и умирает для Музыки, для людей и для себя, или умирает по-настоящему, от руки тех же подонков, потому что не пошел с ними, а остался один, слабый и никчемный, больше не защищенный Музыкой и никому не нужный.

Генрих кончил, откинулся в изнеможении на спинку дорого кресла, пылая и сделав ладошку домиком над бровями, будто не в силах больше глядеть на этот жалкий мир.

— А, вон оно что, — протянул мужичок, стоя еще со скрипкой у подбородка, склонив голову набок, отчего длинные черные пряди скрыли пол-лица, оставив на свободе один глаз, и этот один заинтересованный глаз сверлил Генриха. — Ну и что?

Сверление возжигало Генриха, он чувал эту взаимосвязь, этот резонанс прямых воздействий, и он летел, и ему ничего не было страшно, все было в его власти, и он закричал из сумасшедшей выси:

— Как ну и что! Вы купите ему белый рояль! Вы дадите ему настоящих учителей и заплатите им не жалкие гроши, а настоящие деньги! Вы дадите ему стипендию! Вы пригласите его на учебу в Италию! Как ну и что! Вы купите рояли, дадите стипендии и пошлете на учебу за границу десятки, а может, сотни талантливых русских мальчиков, и благодарная Отчизна не забудет вам этого, неужели вам этого не хочется?

— Хочется, — сказал скрипач и вернул скрипку вместе со смычком на место в футляре. — Это совсем

другое дело. Тут соблазн. Тут великий соблазн. А соблазнять просто поездками, валютой — это, знаете ли, пошло.

Генрих захохотал. Но не грубо, не победоносно. А сам как ребенок, как тот мальчик, о котором пел, радуясь и собственно игре, и выигрышу, и партнеру. Секрет игры заключался в том, что и партнер выигрывал. Это была игра без проигравших, только с выигрывающими, и Генрих был счастлив, что придумал ее.

Скрипач откинул прядь со лба и, оживленно блестя двумя яркими глазами, предложил:

— Зовите меня просто Слава.

Генрих задохнулся. Генрих возвел очи горе. Генрих взмахнул руками. Великий музыкант, великий Т. — просто Слава! Но сделал это изящно, артистично, роняя по дороге славные ошметки утробного смеха, с тем чтобы Слава оценил юмор. И он оценил. И юмор, и то глубоко-серьезное, что наивно-подростково пряталось за юмором, придуманную счастливо игру тоже оценил. За обедом он сказал жене:

— Ко мне приходил чудный парень... такой полет фантазии... я в него просто влюбился...

— Скрипач?

— Да нет... причем тут скрипач... СОВОК... а он президент...

— Какой совок?

— Сообщество такое...

— А причем ты?

Т. начал говорить о телефаксах и компьютерах, коммерции и филантропии, попытался пересказать сюжет с вундеркиндом из провинции, безнадежно запутался и закончил отчего-то неприязненно по отношению к жене:

— Он очень благородный человек. Если будет звонить, я всегда дома.

Телефон зазвонил.

Выпростала из-под одеяла тонкую руку, нащупала трубку:

— Кто?..

— Вы Нина или Нинна? — спросил в трубке неприятный женский голос.

— Положим...

— Что положите? — не поняла женщина-абонент.

— Вы из провинции? — села в постели, потянулась за сигаретой.

— Я Клава, жена Генриха, он улетел сегодня в Кувейт...

— Знаю, — перебила, — потому и сплю, то есть спала, пока вы не разбудили.

— Он улетел и оставил для вас билет на концерт этого скрипача, поскольку вы просили...

— Билет? Один? — опять перебила.

— Билета два, он сказал, вы обожаете скрипку, но дело в том, что я тоже обожаю...

— Ничего я не обожаю, просто хотела пойти, вы хотите забрать себе билеты?

— Я хочу забрать себе один билет, если вы не возражаете.

— Ваше право, вы жена.

— Вот и чудненько, я так и думала, что мы сговоримся, он сказал, будет облом, встретимся пораньше, например, в семь, у Чайковского, я буду в голубом.

— Разве концерт не в консерватории?

— Не у зала Чайковского, а у Чайковского самого, Петра Ильича, памятника.

— Я буду в белом.

В семь сходились. От руки памятника, поднятой вверх, энергично шла в голубом, все еще складная и гибкая, с лицом, похожим на череп, с узелком на гладкой волосяной его части, с внимательными глазками, обведенными четырьмя или пятью карандашами

разного цвета, диктат моды, бывшие провинциалки подчиняются ему неукоснительно, шла, поддерживаясь, оправляясь, перевешивая сумочку с плеча на плечо. От памятника с рукой вниз — рыжеволосая, безмятежная, несуетливая, в белом. Сошлись. Узнали друг дружку, не зная. Не шаря глазами, тайно, скрытно оглядели. Кивнули. Клава, как ледокол, врезалась в толпу первая, держа билеты наперевес. Нинна за ней. Билеты хотели отнять — интеллигентствующие хулиганы или хулиганствующие интеллигенты. Клава не дала, сумочкой ударила по наглой руке.

Оставалось время. В фойе фиксировали: дипломаты, известные актер с актрисой, еще иностранцы, фарца, знаменитая балерина, опять иностранцы, далее темно. Должно быть, по кругу гуляли и музыканты, и писатели, и ученые, и политики, концерт был, правда, редкостный, но так далеко знания обеих не простирались. Важно, что был весь свет, и что они тоже тут, и на них глядели.

В антракте хотели пойти в буфет, но длинненькая изящная очередь отпугнула, включились в прежний кругооборот. Молчали. Общего было мало. Только Генрих. Но не начинать же с мордобоя, завязавшись узлом, думала Клава. А, пошла она, распустив себя, думала Нинна. Музыка навеяла им разное: одну наэлектризовала, другую выключила из сети.

— Ты долго собираешься с ним... — внезапно не выдержала Клава.

— Что собираюсь? — Персиковое лицо Нинны было непроницаемо.

— Работать.

— Как пойдет. Может быть, год.

— А я работала с ним четыре года.

Клава подержала паузу. Нинна в паузу не вклинилась. Пришлось продолжить:

— Пока Линда не родилась.

Нинна плыла безмолвно. Тогда Клава разъяснила:

— Я с ним танцевала четыре года.

— Вы балерина? — равнодушно спросила Нинна.

— А он тебе не говорил?

— Мы о вас не говорили. — Что-то человеческое заставило ее поправиться: — Мы ни о чем, кроме работы, не говорим.

— Раньше мы тоже говорили о работе... Шекспир... Прокофьев... мужик лицом в луже возле пивбара... солдаты, стрелявшие в женщин в Новочеркаске... он ведь очень политически заряженный... и луна над Волгой, Пастернак, Ганди... мальчик играет Шопена в Доме офицеров у моего отца... все работа...

То была лучшая речь Клавы за последний отрезок времени, а может, за жизнь.

— Ну то же самое, — кивнула Нинна, и снова что-то человеческое заставило ее спросить: — А сейчас что делаете?

— Ничего... дома сижу... вяжу... в кино с Линдой ходим...

Еще минута, и Клава, потеряв бдительность, принялась бы выкладывать этой ненавистой девушке, на которую давно решила посмотреть, свои дневные, а главное, ночные жалобы, — вот что сделала с ней музыка, а может, и жизнь. Но тут вдруг рыжая вытянулась струною, и нежная улыбка тронула большой, красивый рот: на нее четко смотрел дипломат.

— Ты бы не вытягивалась так откровенно, — злобно посоветовала ей Клава.

— Не переходите границ, — не снимая нежной улыбки с лица, откликнулась Нинна, способная ученица Генриха или сама по себе такая.

Началось второе отделение. Славина скрипка плакала Чайковским. Плакала и Клава.

Все прежде сдерживаемое — оставленная балетом, оставленная мужем, оставленная какими-никакими друзьями, оставшимися там, на родине, одна в этом огромном городе, к которому не могла привыкнуть, — все обрушилось безудержными рыданиями.

Телеграмма, вызвавшая этот сель, валялась на столе. Отец, офицер в отставке, бывший клубный работник, неумный старик, тоже оставшийся один, умирал от саркомы. Подозревала и нет, не хотела думать, гнала от себя мысли, и вот, бездушная машина отпечатала телеграфные значки, так, мол, и так. Сообщение, подписанное соседкой, обернулось в первый момент острым чувством вины, а затем, как это часто бывает, острой жалостью к себе и гневом на... кого? судьбу? Генриха?

Генрих, растерянный, бледный, сидел напротив, Линда, притихшая, косоглазенькая, следствие узких балетных маминых бедер и родовой травмы, ушла в свою комнату.

Прозвучала телефонная трель. Генрих взял трубку. Долго слушал, потом взорвался, рассердившись на бестолковость кого-то из Сообщества, кто не заказал автобуса для шведов, перепроверял, как с билетами, улетят ли точно в субботу. Клава глянула на него с такой ненавистью, что он смешался, голос его дрогнул, по этому поводу ему, видно, что-то сказали, он сказал в ответ:

— Да тут... придется нам с женой на недельку домой слетать... отец умирает...

Он сглотнул подступивший к горлу комок, глаза его наполнились чувствительною слезою, и в ту же секунду Клава припала к его плечу, все-все ему простив. Он стал гладить ее по голове, она ощутила, как ужасное горе отступает, растворяется в позабытой ласке, обвила руками его шею и, прижимаясь крепче и крепче, зашептала горячо:

— Генаша... Генаша... что же это такое, Генаша!..

И соленые слезы ее смешались с поцелуями.

— Клава... Там же Линда... — шепнул он так же распаленно.

— И пусть... прикрой дверь... она не войдет сейчас... или лучше пойди скажи ей, что маме плохо, пусть пока не входит...

Он пошел, и в эту минуту опять раздался звонок. Опять вынужден был вникать, распоряжаться, сходу выдавать решение вопросов, а Клава все ждала. В конце Генрих сорванным голосом сказал про отца и неожиданно, светлея лицом и прикрыв трубку рукой, обернулся к жене:

— У него все аптеки схвачены... — И в трубку: — А ты, правда, можешь? Слушай, давай, я сейчас свяжусь по телефону, узнаю, что, какие лекарства нужны, и перезвоню!..

— Да какие лекарства... поздно уже... все поздно... — остужая его пыл, махнула рукой Клава, — раньше надо было...

Она сказала это мягко, без упрека, если и раздражаясь внутренне, то совсем по другому поводу, потому что действительно было поздно, и не о том сейчас следовало думать, но Генрих вдруг вспылил:

— А что же ты?.. Скучает, нездоров, посылки посылаем, а ты ни разу не съездила!

— А ты?..

— Я?! Я?!.. — И пошел пришептывать да взвизгивать: — Я, ты видишь, сплю по три часа в сутки, мотаюсь, как сумасшедший, а тебе делать нечего, дурью маешься, свитера связываешь — развязываешь, вместо того, чтоб пилить меня с утра до вечера проведала бы родного отца, узнала бы, что да как. В Москве могли б его обследовать, я бы всех подключил, всех на ноги поставил, чей отец, в конце концов, твой или мой?!..

Господи, да что же это за наказание, холодный, жестокий, да как земля его носит, все, все умеет обер-

нуть против нее и в свою пользу, когда ничего нельзя сделать, тут равных ему нет, из истории, из географии, из литературы приведет, волк, одинокий волк, петух, орангутанг, никогда не знавший никаких привязанностей, спекулянт на своем сиротстве, потребитель чужих восторгов, чудовище, урод, вампир, импотент!.. Анализ был непоследовательным, но перевод с полуматерного на общечеловеческий близкий.

Не пришлось закрывать дверь и предупреждать Линду. Девочка сама не вошла. Она всегда боялась этих страшных скандалов, на сей случай у нее были припасены "беруши", комочки, которые она закладывала в ушные раковины, чтобы не слышать, и сейчас она засунула их поглубже, улеглась на тахту и взяла Жорж Санд. Она проживет на свете восемьдесят лет, Розалинда Генриховна, и всегда будет использовать "беруши", только другого, иноземного производства, чтобы отгородиться от дрянного, грубого и жестокого мира, и преуспеет в этом, отгородится, помещенная в специальные, комфортные и красивые дома.

Ничего не понадобилось. Генрих ушел, и Клава долго и безутешно исторгала из себя злые слезы.

Бега по городу, Генрих многим объявлял между делом — между делами Сообщества, — что уезжает вместе с женой побыть последние дни у постели тяжело умирающего честнейшего человека, заслуженного старика, тестя, жизни не жалевшего на Харьковском направлении в войну, на службе по заставам после войны, воспитывая гордое молодое воинство после после войны, поднимая культуру в области и районе после после после войны и так далее. Генриху доставали билеты, снабжали зачем-то медом и облепихой, а Нинна даже вручила банку малинового варенья, он взял, сердечно благодарил, заглядывал в глаза, в самую глубину. Никуда не поехал. А старик умер.

Клава полетела на похороны одна.

На похороны пришли какие-то засаленные старушонки, несколько мужиков с продавленными и обвисшими лицами, и еще здесь вертелся попик с пальцами-сосисками и носом-грушей. Хотя продуктов этих в натуральном виде Генаша к своим шести годам не встречал, но, ознакомившись с ними в виде части человеческой природы, засмеялся, и тогда мать больно ущипнула его за ухо, чтоб вел себя, как надоть. Словесно не уточнила, но подразумевалось. Как надоть, в этом случае означало, видимо, ныть, подобно старушонкам, или мрачно сморкаться в разноцветные тряпки, подобно мужикам, — ни того, ни того Генаша делать не умел и не собирался.

День был промозглый, пасмурный и ветреный (и Генаша опять озяб в своей худой одежке), но все-таки оттого, что весенний, не слишком скучный, и затаенная надежда на будущие радости (позднее оправдавшаяся) странно содержалась в голых окрестностях, освобожденных от снега, в случайных промоинах, которые время от времени устраивал сильный небесный ветер, в обнаженной, ожидающей своего земле. Мать знала, чего ожидала земля, да Генаша-то уж во всяком случае не испытывал ни грусти, ни печали, а одно лишь любопытство.

Когда мать в тряском, разбитом автобусе, весело прыгавшем по проселку, сказала ему, что едут хоронить отца, Генаша ничего ровно не понял: ни что такое хоронить, ни что такое отец. Не то, чтобы он вовсе не знал этих понятий и не слышал этих слов. Слышал и знал — да ничем реальным они не наполнялись. Ни отца, ни похорон он в своем возрасте никогда еще не видел. А увидел мертвого человека в ящике, внесенном в автобус, отвернулся и стал смотреть в окошко. Он бы, может, и еще полюбопытствовал на это незнакомое лицо, цветом напоминавшее свечку, но мать уж больно неприятно задергалась и стала подвывать, и чтобы отвлечься и противостоять

этому, Генаша и отвернулся. "У, противный!" — часто говаривала ему мать, и так оно и было. Он был противный. Он всегда хотел сделать напротив. Противостояние было то, что составляло его характер, и чем дальше, тем больше. Мать вела Генашу за руку по своей поддатой жизни, а он, принужденный насильно следовать за ней, отчаянно сопротивлялся изо всей своей худосочной мочи. Он был в прыщах, из носа у него часто шла кровь, и в то же время он был герой, только до поры до времени никто не знал этого, он умел затаиться.

Мать и сейчас была поддатая, но если в обыкновенное время ее бранили за это прохожие, подававшие им, все случайные люди, встречавшиеся на дороге, — неслучайных, близких не было, — то здесь, на похоронах, это не вызывало осуждения, здесь ее жалели. Близкий как раз был тот, в ящике, но какой же он близкий, когда Генаша его так живьем и не видал. Старухи говорили, он разбился, упал с крыши собственного дома, залез посмотреть, сильно ли проржавело железо, и упал, на спину, так, что позвоночник треснул, дня три протянул и помер. Хорошо еще, говорили старухи, что помер, а то так бы и лежал инвалидом неподвижным целую жизнь, это кто бы за ним, дураком и пьяницей, ходил, эта, что ли, вертихвостка-блондинка вернулась бы, что ли. Стало быть, существовала еще вертихвостка-блондинка, Генаша представил ее беленькой собачкой, которая бегала и вертела хвостиком, но как бы собачка ухаживала за этим мертвым дядькой с треснувшим позвоночником, Генаша в толк не мог взять, и снова засмеялся.

— Безглуздый, парнечек-то, — молвила одна из старух.

А мать треснула парнечка по затылку и сказала глухо, гнусаво — от слез:

— Я бы за ним ходила...

И старухи и мужики уважительно и сожалительно на нее поглядели, поверив, что правда, что ходила бы. Генаша тоже искоса зыркнул. Мать сегодня была умыта, причесана, даже губы подкрашены, только водянистые глаза те же, обычные, залитые. Он не знал, что теперь они были залиты не водкой, хотя она и выпила чуток, а слезами, горем, окончательной бедой, что разразилась над ней. Нелюбима она оказалась, судьбой ли, страной ли, начальством ли, которое в речах и письменных обращениях все обещало дойти до каждого, но неизменно в пути где-то задерживалось. Не было у нее ни счастливого детства, зазря пропала несчастная юность, да и человек попался такой, что только и споил ее, а позже оставил с приплодом, а воли не хватило, чтобы сопротивляться напору разнообразных, но одинаково жестоких обстоятельств, безвольные ведь тоже живут на свете и составляют человечество, вот она, бедная, и оказалась из данного сектора человечества, а человека этого, первого и единственного, на самом деле полюбила пожизненно, может, оттого, что на другого воли-то именно и не осталось.

С этим человеком она прощалась сегодня навсегда. День прощанья был особенным днем ее жизни, похоже, таким же особенным, как день встречи, она и губы для того подкрасила, что день был навроде праздника свиданья, потому что и тогда и нынче ее любимый дожидался ее и принадлежал ей и только ей, безраздельно. Тем более, что вертихвостка-блондинка не прибыла. Вот только погодка выдалась прокисшая, оттого, должно быть, тянуло на вытье. Потихоньку она уже завывала над своим любимым в том желтом разболтанном автобусе, а когда попик заговорил тихими и торжественными словами над могилой, завывала надсадно и громко, как волчицы воют, и тогда Генаше сделалось, наконец, страшно, и он побелел, как та простыня, какой был накрыт покойник.

С этого дня мать пропала. Кинула ком земли в открытую могилку, отпраздновала свою любовь, отошла и пропала. Как в воду канула.

Как в воду канула, чертова деваха. Сколько раз хотел проучить ее, а то и прямо убрать, до истечения контракта. Наглая стала. Раньше возражала, пререкалась, теперь как в рот воды набрала, и ничего не прочесть на проклятом загадочном лице. Убеждал себя: да нечего читать, нет объема. Однако тут же себя и спрашивал: а бездны очарованья? Стало быть, бездны имелись? Знатоком, более того, ловцом человеческих душ считал себя, и бесило, что совсем простенький случай, а не справляется. Да и как ни с того ни с сего разорвать контракт? Что орал на нее, по телефону и лично, а она молча поворачивалась, исчезала, не выполняла, — нигде не заактировано. Сам заявил в начальный период: бюрократию ненавижу, ни одной бумажки, только необходимые финансовые документы. А брань к делу не подошьешь. Да если до конца: то и невозможно расстаться. Мало того, что много знала. Одно появление, в конторе, в Шереметьево, на переговорах, — люди балдели. Он, он балдел. Балдел от нее непосредственно, и от множественного отражения балдежа других. Подобные вещи действовали на него безотказно. Он летел в таких случаях, как бабочка на огонь, но не сжигал крылышек, а озарялся тем огнем, и тогда его пыльца, его разводы, его узоры становились еще бархатнее, еще узорнее, еще махровее. Он любил смотреть на себя в зеркало. В зеркала. Привык в театре. И от жены требовал, чтобы покупала, и чтобы створок было много. Тогда изображение множилось. Он так и назвал один из основополагающих принципов своей игры-деятельности: множительная техника. Умножай — и умножится.

Потому летал — по деятелям культуры, депутатам, делегатам, высоким чиновникам, включая, разумеется, иностранцев. Горел и вдохновлялся. Умножал. Все счастливо соединилось: натура, повестка дня, исторический шанс. Единственный, кто мог ему помешать, кто мог развалить, сломать, исказить, испортить так искусно созданную новую русскую рулетку, — могильщик. Человек, который не верил ему. Нет ответного огня — цвет тускнел, разводы меркли, пыльца осыпалась. Он виртуозно научился избегать могильщиков — в инстанциях, интеллигенциях, иностранциях. Опасность могла быть одна-единственная: проникший могильщик. Обманувший первоцветом огненным. Он сам, Генрих, таким огнем обманутый. Рыжая, с зелеными глазами, с бездной очарования, обманула? Что тайлось в ее молчании? Из Кувейта приехал миллионер, которого Генрих две недели уламывал на его родине, предложив сумасшедшую идею — гигантскую лотерею за рубли, которую миллионер обеспечивает товарами за доллары: кофточками, юбками, пиджаками, брюками, куртками, плащами, обувью, бельем, косметикой, детской одеждой, игрушками, всем для кухни и ванной, продуктами; попутных затрат никаких, поскольку для транспортировки и хранения будет задействована армия, солдаты и склады — военным, естественно, будет отстегнуто. Ну и другие детали. Рубли кувейтцу нужны, чтобы влезть на наш рынок, заделать тут кое-какое производство. Товары — народу. Доллары — на культуру, на новые проекты Сообщества. Просто, как все гениальное. Но Нинна необходима. Не хватает тонкостей в языке, а в чужие уши такая информация не вкладывается. Не хватает ее бездны очарования, чтобы уболтать кувейтца с потрохами. Генрих накручивал ее номер, безрезультатно. Ко всему, он еще банально соскучился.

Мисюсю, где ты... черт тебя подери!..

"Мисюсь, где ты?.."

Он захлопнул книжку и уставился лицом в стену.

Что-то предательское случилось внутри. Не то, не болезненное. Нет, тоже болезненное, но иначе. То провисает, внутренностями, наполняет вязкой тошнотой, плывет туманными провалами в голове. Это — похоже на задыхание от запаха вишни, а может, резче, черемухи. Прежде подобное не случилось. Нельзя сказать, чтобы прежде он не читал книжек про любовь. Впрочем так и надо сказать. Книжки про любовь он отбрасывал в сторону, а места про любовь в других, нормальных книжках пропускал. Пустая трата времени. Времени, которого у него, по-видимому, не так много.

У Чехова читал смешное. Ему полагалось читать смешное, слушать смешное, смотреть смешное по телевизору. Он старался. Старательно умирал со смеху, тыкая пальцем в очередного оратора на очередном заседании очередного совета или съезда. Родители больше не переглядывались. Мама делала вид, что спокойна. Папа выходил покурить на балкон. А листы, выданные из какого-то издания, принес Генрих Петрович. Про американца, который хохотал, невзирая на боль, жрал витамин "цэ" и излечился. Совсем. Так что встал и пошел жить. А было похуже, чем у Вовки. С этих пор Вовка, безразличный, отдельный от всех, велел приносить юмористическое (и витамин), а до того читал одну научную фантастику. Потащили Гашека, Твена, О'Генри, Нушича, Жванецкого и вот Чехова. Как перехитрил его, втиснувшись в мозг и куда-то глубже мозга, "Дом с мезонином"?

Откатился от стены, переехал к окну. Лето. Зелень чистая, промытая дождем. Во втором дворе девчонки прыгают по расчерченным мелом квадратам, а мальчишки затирают мел подошвами кроссовок, лезут, места им мало для расшибца, ссорятся. Но, может, это только вид ссоры? Раньше эта мысль не при-

шла бы Вовке в голову. Интересно, с чего бы это? Наверное, с того, что звук не доносится, и как немое кино, и можно думать, что угодно.

Хорошо. Но странно. Эта Женя как живая. Женя-Мисюсь. Помучивает, но не неприятно. Может ли помучивать лицо, которого нет, а есть знаки, нанесенные на бумагу, содержащие информацию о лице, которую другое лицо принимает к сведению? Дожить почти до тринадцати лет и задавать себе те самые глупые вопросы, которые так раздражают у других, не зная ответа и чувствовать нечто, совершенно не сводимое ни к каким знакам...

Переехал к столу. Взял картон, краски, кисточку. Хотел, как обычно, изложить мысль, стучавшуюся изнутри в области надбровных дуг, туда смотрел, закрыв глаза, потом быстро открывал и быстро же кисточкой наносил то, что видел. То есть слышал. То есть думал. Это было одно и то же.

Этих картонов валялось кругом великое множество. Родители, как заметили, стали водить к психиатрам. Пока не нарвались на психиатра, который начал водить журналистов. Вовке было наплевать на тех и на других. Но когда-то он был маленький и сам ходил, и это было важно. А когда перестал ходить, стал гонять журналистов и рвать картоны, чтобы не лезли, куда не просят. Благоклонно принял только Генриха Петровича. Во-первых, Генрих не был журналист. Во-вторых, было в нем стоящее. Когда он разинул рот, роняя кусками, ошметками животный, веселый смешок, Вовка без натуги засмеялся вместе с ним, до того это было здорово: признание без выпендрежа, восхищение, которое само вызывало восхищение, классная самоирония. Такой человек был у Вовки впервые, правда. Вовка до той поры никому не дарил своих картонов. А Генриху подарил. Он не давал им названий, но на генриховом быстро-быстро написал: "Мысль в половине четвертого об исторической перс-

пективе". Генрих Петрович, до этого прилично державший форму и не позволявший себе выпасть из нее, тут не удержался:

— Ты имеешь в виду какую историческую перспективу? Горбачева?

Вовка немедленно отвернулся к стене, как он нередко это делал, как будто истинным другом была ему стена, с нею он советовался о намерениях, ей высказывал недоумения, в нее погружал огорчения.

Родители тотчас завопили:

— Вова! Какой ты невоспитанный, Вова! Генрих Петрович задал тебе вопрос, а ты молчишь! Да еще отвернулся к стене! Вова! Что Генрих Петрович о тебе подумает! Вова! Вова! Вова!

— Ничего я не подумаю, — миролюбиво поднял обе руки вверх Генрих Петрович. — Я подумаю, что человек имеет право отвернуться к стене, если ему хочется.

Ну-ну-ну, подумал Вовка, напрягая Генриха Петровича на продолжение и углубление понимания, но, верно, его силенок не хватило: Генрих остановился на полдороге. Это было обидно. Родители ладно, те полные балбесы, мама — учительница, папа — партийный работник, с них спрос мал. Но Генрих, Генрих другое дело, Генриха жаль. И поскольку Вовке стало жаль товарища, он, откатившись от стены, вернулся к честной компании и сказал весело:

— Объяснять картины — дело дураков и для дураков.

Родители опять всплеснули ручонками, делая это явно не по чувству, а по обязанности, для Генриха. Вовке стало скучно это видеть, и он сказал еще веселее:

— Как вы мне надоели.

И тут Генрих сделал признание.

— А ведь Вовка прав, — заявил он, и родители напряглись. — Мы все ему надоели с нашими глупо-

стями. — В этой формулировке родители текст приняли. — Извини, Вовка. Мне надо поразмыслить над тем, что произошло сегодня. Я и впрямь был не на высоте.

Это Вовке понравилось. Если честно, то здорово понравилось. Он засмеялся и, сжав правую руку в кулак, поднял вверх. Генрих Петрович ответил ему тем же.

Выйдя от Вовки, Генрих мысленно утер пот: напряжение, чтобы сохранить верный тон, было из сильнейших.

Когда он ушел, родители сообщили, что он обратился с предложением: сделать вовкину выставку. Сообщали с осторожностью, ожидая, как водится, любой выходки. Вовке и на выставку было наплевать, если бы не Генрих и не новая политика веселья и удовольствий. Он так и ответил:

— С удовольствием.

Родители не надеялись и аж чуть не всплакнули. Пришлось прогнать из комнаты.

Теперь Вовка собирался начать новый картон специально для выставки. Сегодня он запишет мысль, которая — он предчувствует ее — бьется в надбровные дуги изнутри. Не формулируемая. Не сводимая к словам. Мысль в полдень двадцатого июня о... О чем, он не знает. Он узнает, когда она будет записана. Но сперва извлечена оттуда, из внутреннего центра, который в то же время является центром вселенной. Вот-вот. Еще минута. Еще мгновение. Вот сейчас.

Он открыл глаза. Кисть немо лежала в руке.

Он думал о Жене-Мисюсь.

Он положил кисть на место и снова подъехал к стене. В этом месте явно концентрировался запах цветущей черешни. Или черемухи.

Женя отделилась от стены.

Он поднялся из инвалидного кресла-каталки и шагнул ей навстречу.

Он шагнул навстречу. И вдруг повалился на колени.

Периферией чуткого уха подождал "аха", шепотка, общего замиранья, но только периферией — сосредоточен был безоговорочно, безусловно на коленопреклонении, внезапном для самого желании полной отдачи, покаяния и прощения.

Между тем, реакции не последовало никакой, за исключением едва приподнятой левой брови святого отца. Возможно, это и была культура. Нечто непознанное, за что сражался, в действительности не ведая объекта сражения.

— Благослави, святой отец, — прошептал в снизошедшем откровении.

Генрих был неверующий в строгом смысле слова. Но, конечно, и не атеист, тоже в строгом. Ни то ни се, коли совсем строго. Что-то где-то мелькало, маячило, грезилось, когда ум был свободен от расчетов, душа выигрывала, алкала и страшилась, воздымалась и упала. Моменты эти могли быть тоскливы, а могли — прекрасны. Сей был прекрасен. Поволокло, взор затуманило, грудь набило воздухом, словно подушку птичьим пером, закашлялся, засморкался.

Святой отец перекрестил Генриха, но прежде чем протянуть руку для поцелуя, возложил на лоб и, будто имея способность через прикосновение уловить неуловимое, спосил:

— Да ты веруешь ли?

— Верую! — горячо воскликнул Генрих и, схватив сухую, легкую ладонь, прильнул к ней губами. В этот момент он был искренен, как это неоднократно с ним бывало.

Проходя, святой отец обронил:

— После трапезы останьтесь на беседу.

— Бог услышал, за тем и пришел, спасибо! — Генрих поднялся с колен, еще в полусознании.

Отец М. принимал западных немцев. Налаживалась, и все серьезнее, совместная благая деятельность. Уже и не только делегациями обменивались, храмы и монастыри подымали, но и кирпичные заводи строили, хлебопекарни реконструировали, больницы оснащали. Боже, что было за время! С ума можно было сойти от времени! Вслед за женским хором, от звуков небесных которого Генрих свесил голову на грудь и засветился и заплакал, показывали слайды святых мест, после чего пригласили к столу. Трапеза была скромна, но и отменна, включая домашние пирожки. Генрих, понимая, что его личный опыт, столичный по форме и провинциальный по существу, вспоминал свои "приемы" (включая "узбекский") и молча, смиренно учился, и какие продукты заказывать, и как вести себя за столом и вне стола, на что упор делать в тостах и так далее.

Отец М. сказал слово:

— Блажен, — сказал он, — кто посетил сей мир в его минуты роковые, по слову русского поэта. Мы с вами такие блаженные. Оттого в наших душах тревога, но оттого и свет, и особая жизненная сила. Человек сам не знает, на что способен. Можно дремливо проводить дни, слабеть телом и мозгом, не востребованными, кажущимися ненужными, хотя это бесовская неправда, человек всегда нужен людям, если он нужен самому себе, потому что он, всякий, нужен Богу. Тем не менее реально многие страдают от одиночества как невостребованности. В роковые часы человеческой истории востребованность повышается, и это и есть наше истинное счастье. Любой в эти часы призван к добру, и надо спешить его делать. Ради спасения народа и человека, мира и отечества, другого и себя самого. Но отличите дьявольское обольщение от истинной, естественной потребности добра. Спросите себя, как спрашивал Станиславский: любите ли вы искусство в себе или...

— себя в искусстве! — ликующе, не выдержал, подскочил Генрих.

И снова никто не поворотил головы, ни немецкой, ни русской, ни еврейской, поскольку среди приглашенных были и евреи, и снова Генриху ничего не оставалось делать, как учиться, учиться и учиться.

— Спросите себя, — мягко повторил отец М., и это было заключение.

Юноша ангельской красоты в подряснике перевел сказанное на чистый немецкий.

Генрих ничего не стал себя спрашивать, зато, отметив странное сходство переводчиков, сказал себе, вспомнив Нинну, что вот тут шел в правильном направлении. Мысль о Нинне исказила его светлое лицо. Нинна появилась после очередного исчезновения, работала нормально, но не объяснялась, не объясняла, таилась, и Герних то и дело думал про себя в духе модной партийной формулировки: "неискреннее поведение".

Другой юноша в подряснике подошел к Генриху и шепнул:

— Трапеза кончается... как только святой отец поднимется, следуйте за мной...

В комнатке за трапезной расположились в уютных креслах и сразу заговорили о деле. Генрих изложил принципы Сообщества (СОВОК), попросил святого покровительства и конкретной помощи — в мероприятиях, а может быть, и в валюте. Святой отец внимательно выслушал, задал вопросы, сделал несколько помет в блокноте, покровительство обещал, а в финале дал визитную карточку помощника, попросил звонить в конкретных случаях.

Генрих хотел еще продолжить о другом, о давешнем, может быть, спросить о стылых пространствах души. Идя сюда с практической задачей как главной, с изумленьем обнаружил, что она отступила вдруг на задний план, а на передний вышло ни то ни се, фу-

фу, воздух, дух, он был как ребенок, ждавший отцовского прикосновения, отцовского решения каких-то его детских вопросов, отцовской руки. Рука прикоснулась, но отдернулась, и жест больше не повторился. Отец М. встал, сейчас же появился третий юноша в подряснике и, показывая рукою путь, вывел Генриха из помещения на улицу. В чем дело, хотелось Генриху спросить его. Но спросил не это. И не его — себя.

Удача или неудача?

И ответил убежденно, пресекая разьедающие сомнения: удача.

Удачи
у дачи,
удачи
незрячи,
удачи
нестроги,
удачи
убоги,
у, боги,
о, боги,
иначе...

Пытался сочинять стихи Генрих Петрович О. по дороге, по дорогам, по путям, попутно, торопясь в очередную колыбель бюрократии. Неудачей ломило плечи, сводило ноги судорогой, сыпало в глаза песок.

М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Назначено на двенадцать, третий час, секретарь в деловом костюме с деловой улыбкой и помадой на деловых устах, мыслимо ли целовать их, деловой походкой входила и выходила, телефоны тренькали, минуты рождались и умирали, лица сменялись, кого-то все-таки запускала в чаемый кабинет, а ему "вам позже", его колотило, он пылал, вскрикивал "он же сказал, в двенадцать, как придешь, сразу проходи", подчерки-

вая "ты", отказываясь замечать в нем обыкновенную партийную привычку, а то и пренебрежение, наоборот, выставляя близость, почти интимную, расположения фигур это, однако, не меняло: он, Генрих, в приемной, замминистра здравоохранения за дубовой дверью у себя в кабинете, соответственно бумага скучно валялась в папке никудышная, потому что невизированная.

[illegible]

М-м-м-м-м-м-м-м. В СКЗМ, как в сказке, все складывалось, все решалось, все решалось: от преда к зампреду, от зампреда к секретарю, от секретаря к завотделом, от завотделом к старшему референту, от старшего референта просто к референту, ниже, ниже, ниже, уф, вот он, выставочный зал, "что вы сказали?", почему-то от референта обратно к старшему референту, от старшего к завотделом, от завотделом к секретарю, выше, выше, тут опять сладкое согласие, ниже, ниже, "но на следующей неделе зал занят, может, недельки через две", выше, выше...

Отец М. через помощника выдал необходимый чек на ... тысяч долларов в тот же день.

Генрих расцеловал единственный реальный клочок бумаги и потащился к семейному ужину.

Он мог бы поручить визу министерства здравоохранения Вите, авиабилеты - Зинченко, выставочный зал - Нинне, взяв себе, допустим, только чек, но это было бы уже не то. Как потом пересказывать, на пресс-конференции или просто кому-то по телефону, сюжет-оборванец, отрывок, а не разветвленную, с перехваченным горлом, интригу. Требовалось крутиться заведенным волчком, пасть в финале на бок бездыханным, чтобы сказать себе и другим: я победил. Бросив усталое тело на кухонный стул у кухонного стола следующей полночью, он дебютировал с этим рассказом пока что перед Клавой за неимением других слушателей,

— Что-о? — переспросила пронзительно, вкладывая в это "что-о" всю силу презрения, как умела делать лишь она одна.

В другое время Генрих немедленно бы умолк, оскорбленный. Но тут радость победы была столь велика, что восклицание бедной женщины потонуло в ней, как медяк в большой луже. Он рассказал все. Про Вовку, про вовкин талант и вовкину болезнь, про резкое ухудшение и про выставку, про то, что лично, один, сам, от начала и до конца, пробивал и пробил вовкин с матерью отъезд и лечение за границей. Склонился скромно и удовлетворенно над тарелкой, жуя негорячую гречневую кашу и не чувствуя вкуса.

— Подумать, у всех мужья как мужья... — простонала бывшая балерина, — только этот доходяга убогий!.. Ну, отправил чужого мальчишку за границу, и что?.. У тебя Линда ходит с косыми глазами, ее ты не отправляешь, на родную дочь тебе на...чхать!.. Отец у меня умирал, хоронить не поехал!..

Она только еще начинала, она только еще предвкушала свое выступление, ей только еще предстояло развернуться, как он бросил тарелку с кашей на пол, встал, вляпался в расползшееся месиво, чертыхнулся,

хлопнул дверью, схватил подвернувшееся такси и поехал к Нинне.

Все испортил.

Клава открыла окно и крикнула ему сверху нелогично:

— Сучий потрох!.. Урод проклятый!.. Не вздумай возвращаться!.. Вот сейчас милицию за тобой пошлю, все узнаю, куда ты шмонаешься и где по ночам попадаешь!..

Такси, однако, давно уехало.

Такси приехало, и таксист сказал простодушно:

— Какая вы, девушка, красивая. С любовником живете? Или с мужем?

— Одна, — так же простодушно ответила Нина. — Хотите зайти? — С теми, кто был прост, и ей было проще всего.

— А можно?

— Если вам можно, то можно.

Так таксист Миша попал к прежнему биологу Нине.

Жучки, козявочки, стрекозы, мушки, пчелы, шмели были ее детское царство. Туда же относились улитки, жабы, ящерицы, ужи. Далее мыши. Далее воробьи, скворцы, вороны. Разумеется, кошки и собаки. Трава и цветы, рябина и верба, груши и яблоны также были любимы. Отвлекали девчоночьи завидки и мальчишеские шипки, разновидность попыток касания. Мир был так хорош, что непонятным оставалось только одно: ее человеческое осознание себя. Зачем оно? Зачем она? Лишняя, ненужная, вносящая непорядок в порядок, дисгармонию в гармонию. Тычинка-пестик, цветок-бабочка, зернышко-воробышек, мышка-кошка, беда компании, беда самой себе. Жалела других, жалела себя, задирала нос, капризничала, испытывала вину, понимала и не

понимала, скучала. Юношеская скука втерлась в доверие, грозила забраться на трон, отняв детское царство. Родители работали за границей, оставили тетке, взяли с собой, вернули тетке, снова взяли, разошлись, мать приезжала на родину, отец нет, тетка умерла, Нине осталась квартира, она осталась одна, никого не любящая, почему пошла в биологи, не помнящая. От скуки бросила институт, переменила профессию, отдавалась, скучая, не зная, что с собой, такой красивой, делать, так посмеялась над нею природа. Иногда, на что-то надеясь, ехала за город, шла в лес, отыскивала какую-нибудь поляну, лежала на траве, глядела в небо, возвращалась, забыв, зачем ездила, не найдя, чего искала. Иногда шла за человеком, окликала его, чаще была окликнута сама, а ничего не происходило, не вспоминала, зачем окликнула или откликнулась.

Таксист Миша был добрый, большеглазый, русский, обыкновенный.

Достал бутылку водки из багажника, сварганил ужин из ее продуктов, сидела и смотрела, как он двигается, как улыбается ей, как моет овощи, жарит курицу. Симпатичный парень.

Чокнулись, выпили. Она сказала:

— Миша, что мне делать, Миша, я не знаю, зачем живу на свете, никого у меня нет, и меня нет ни у кого, не перебивай, я говорю то, что есть, а не что тебе кажется, я зря, так же, как и ты зря, как все, но все притворяются, что заняты, носятся туда-сюда, выполняют функции, а на самом деле все лажа... я хотела бы делать добро, я даже вроде нашла святое место, которое не бывает пусто... ладно, это не твоего ума дело, не обижайся, ради Бога... вот в Бога я хотела бы верить, может, это тот, кого я любила бы и кто любил бы меня, но меня не научили в детстве, все тоже были заняты... я хожу иногда в церковь, поставлю свечку и смотрю на Богоматерь или Николая-чудотворца, а они

молчат, не говорят со мной, никто со мной не говорит, поговори хоть ты со мной, Миша...

Миша растерялся, с ним ни одна женщина так не разговаривала, после водки и салата особенно, он хотел обнять Нину, поскольку ему было известно, что объятие снимает необходимость любых слов, но этот случай был иной, он сидел скованно, и водка его не брала.

Он сказал то же, что на его месте сказал бы любой добрый человек:

— Тебе нужен ребенок.

— Ты считаешь? — спросила она по-детски.

Он промолчал, заподозрив подвох, и правильно сделал, потому что она продолжила сейчас же с печалью:

— Ты уверен, что это поправит дело? И ты сумеешь мне помочь? Прямо быстро. Вот ляжем, и ты постарайся сделать мне ребенка, а потом мы поженимся, если ты не женат, а если женат, тоже, и я рожу тебе мальчика или девочку, и это и будет мое предназначение на земле, так? Правда? Ты точно так думаешь?

Он закусил губу, а она засмеялась.

В это мгновение раздался звонок. Но не телефона, а у двери. Нина пошла открыть, а таксист сидел скучный и непьющий и тоже не знал, зачем он родился на свет.

Взошел новый мужчина. Таксист не знал, что это Генрих Петрович О., начальник Нины, и не знал, как себя вести. Вообще в этот вечер обнаружилось, что он многого не знал к своим тридцати с небольшим, и он стал мысленно проклинать себя за свое невежество и решил обязательно с будущего года пойти куда-нибудь учиться заочно.

А Генрих Петрович не знал, что Миша всего-навсего таксист, довезший Нинину до дома, ровно такой же, как его собственный таксист Вася, с которым он

только что расстался, разговорившись по дороге от своего дома до дома Нинны, ибо случайные таксисты и случайные разговоры на самом деле составляют значительный процент жизней и судеб, набитых случайным и лишенным необходимого, о чем большинство не догадывается, а те, кто догадывается, подобно Нине, понятия не имеют, что с этими догадками делать.

Итак, Генрих Петрович стал перебирать-перебирать языком, как пальцами, стараясь ощупать, ухватить покрепче Нинну и ее застигнутого хахалю, чтоб не выскользнули, зорко следя за их реакциями. Он был очень хитер, Генрих Петрович, на кривой козе не объедешь, на мякине не проведешь, он должен был всех видеть насквозь и даже глубже, быть надо всеми, царить, одним словом. И он хотел, вытеснив все живое, что царило в детстве Нинны (о чем он не знал и не догадывался), вытеснив скучное, что царило в ее юности (о чем он не догадывался и не знал), царить самому, занять тот трон, который, похоже, он занял поначалу, да, похоже, сброшен с него спустя время.

— О, какая женщина держала меня в приемной министра! — причмокивая, вздыхая, похохатывая, жестикулируя, откуда и силы взялись после длительного бессилия, восклицал он. — Приходи, говорит, в двенадцать, как придешь, так сразу проходи, не задерживаясь и ни на кого не глядя, а я уж буду тебя ждать как миленького... я ведь не дурак, я заранее разжег чувства и тут уже, вижу, такая жажда подвига!.. — сообщал он, как всегда, темно и неясно, не разобрать, то ли женщина из приемной министра ждала его, румяная от возбуждения, от ли сам министр, и далее: — А оттуда к Людмиле Васильевне чудной скок-поскок, в кассы международные Аэрофлота... но сперва надо пройти через митинг, где ораторы вместо лозунгов выкрикивают номера очереди, все ведь шиворот-навыворот в нашем советском Зазеркалье... набойки от ботинок, пуговицу от брюк, рукава от пид-

жака, все оторвали с мясом, иду, как в тюрьме, рукою придерживая все оторванное, — смеясь, показал, как это у него получалось, — а еще букет роз, и духи, и коробка шоколада... — лгал он понемногу, — а председатель Советского комитета защиты мира уже кофе приготовил, в чашечки налил, ждет... но главное, — тут глаза его увлажнились, — главное, ждет ребенок, Вовка, без сознания, с потрясающими своими картами, американцы трясутся от нетерпения видеть его работы, и уже пресс-конференция назначена в пресс-центре МИД, я веду... "Мысль в восемь утра о конце света", вы слышали что-либо подобное!.. — пел он, ему, в общем, было все едино, перед кем петь, а сам, меж тем, жадно, хищно ловил происходящее между ними, между собой и Нинной, между этим мужиком и собой.

А у мужика, у Миши случайного с головкой творилось невообразимое, и пока дело не дошло до драки, он встал и ушел, сказав скромно "до свиданья".

Нинна же, разгребая мусор слов, чтобы обнаружить чистый натуральный камешек, про Вовку поняла, и что-то в душе опять открылось навстречу ее начальнику и обольстителю.

— Если еще и ты обманешь, перестанешь понимать и поддерживать... — трагически закончил Генрих Петрович, торжествуя и торжествующе оплетая выскользнувшую было жертву огненной своею паутиной.

Паутина висела по углам.

Сырые, мертвые, шелушащиеся доски, давно забывшие о том, что когда-то были теплым, медового цвета деревом, отъединяли укромное местечко от остального бушующего зеленым великолепием пространства.

Нина внезапно представила себя такою серою, шелушащейся доской, хотя это была неправда, медовый и зеленый были ее настоящие цвета.

Запущенный домик стоял в глубине запущенного сада, которым владел запущенный академик В., холостяк, весельчак, гений, погруженный с головой в науку. В этот час дача была оживлена гостями. Принять их помогала сотрудница, она же дальняя родственница, тень и бледное подобие своего великого родственника, ее научные интересы также превалировали над обычными, человеческими, и оттого все без шарма — и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

— Мчатся филы, выются фобы, юдофилы, русофобы, — мрачно декламировал бывший плэй-бой и диссидент, прогрессивный политический игрок, редактор популярного еженедельника Й.

— Давайте после драки помашем кулаками, — скривившись от горькой памяти о любимом поэте, делился воспоминаниями о будущем популярный экономист С., замечательный, плешивенький, боящийся собственной жены и смело вышедший из партии, как только это стало возможно.

— Был Друк и вдруг, — заключил исполнение очередного рассказа о проблемах столь многое обещающего нового организма президент Сообщества (СООБОК) О., то есть Генрих Петрович.

Такая была дискуссия на даче у академика В.

— Что же это все-таки за Сообщество? — как дурак с мороза, осведомился хозяин дачи, к которому Генрих Петрович напросился на приглашение, прихватив с собой Нинну.

Контраст между двумя женщинами перехватывал дыхание.

Нинна украсила дом и террасу не только собой, но и охапками цветов, трав, а также ветками дуба и рябины, собранными и сломанными в академическом саду.

— Ну вот, — заложив руки в карманы брюк, заходил по террасе Генрих Петрович, — вы занимаетесь физикой твердых тел, так, но твердые тела, я думаю, вечно пребудут в этом мире, а мягкие, то есть человеческие, с ними может быть катастрофа, и уже есть, и наша задача, вас, высоколбых, и нас, простых, но одинаково любящих небо над головой, цветы в садах, женскую красоту... короче, если мы не объединим наших усилий, не пропагандистских, а просто ежедневных, чтобы помочь молодым ученым, молодым художникам, больным детям...

— Ты летишь с мальчиком в субботу? В пятницу у тебя корреспондент с фотографом, и у него соответственно, а материал дадим в следующий номер, — бросил Й., зевнул и спустился по ступенькам в сад.

— Вот адреса и телефоны моих коллег в Нью-Йорке, — протянул Генриху листок бумаги В. — Мне кажется, они смогут быть более серьезными партнерами в вашем благородном начинании, чем ваш мистер Друк.

— Чем быстрее здоровые клетки общества, подобные вашим, вытеснят больные, раковые, бездельные, аппаратные и люмпенские, тем быстрее Россия изменится и станет действительно новой, — заметил С., погружаясь в завтрашний еженедельник, привезенный Й.

Все было хорошо. Все складывалось более чем удачно. Однако радости не было. Бешеная интуиция отказывала Генриху в радости. Возможно, дело было все в том же: не взлетел. А не взлетел на этот раз оттого, что не понюхал воздуха сопротивления, битвы и следующей затем полнокровной победы. Удача получилась вялая, победа — малокровная.

Нина уставилась на мохнатенького, уютного шмеля, домовито шебуршащегося в уголке стекла террасы. "Милый", свободно и спокойно подумала она и вдруг оказалась в эпицентре воронки, вставшей между зем-

лей и небом, и ушла по спирали вверх. Как будто секунду или две ее не было здесь, не было нигде.

— С каким мальчиком? — спросила она Генриха, возвращаясь. — Куда ты летишь и с каким мальчиком?

— В Штаты, — глядя на нее ясными глазами, ответил Генрих.

Он видел, как все они забалдели от Нинны, но в отличие от прежнего, нынешний их балдеж вызвал у него тревогу, а затем раздражение. Он засуетился, забегал, заглядывая, как обычно, в глаза и даже глубже, одному, другому, третьему.

— Здесь лучшие люди России, ты поняла? — счастливо улыбаясь, громко произнес он. — Мы среди лучших людей России.

Она поняла. Среди дубовых листьев спрятался маленький зеленый человечек с шершавой шапочкой на голове. Его братья пожелтеют, упадут, расколются, уйдут в землю, те, которым повезет, дадут ростки. Этот, сорванный, ни до чего не доживет. Она погладила шершавую шапочку, содрала ее, теперь дубовый ребеночек был голый и беззащитный. "Милый", и о нем подумала спокойно и свободно.

Лучшие люди России были не лучше рядового таксиста Миши. Рядовой Миша ушел, оставив их с Генрихом. Лучшие, высокомерные, дружелюбно, равнодушно любезничая, собирались сотрудничать. Хуже всех была она, Нинна.

— Мы среди лучших, — повторил Генрих. — Пора выходить на большую дорогу.

— С каким мальчиком, я спросила.

— С Вовкой.

— С Вовкой и его матерью?

— Нет, только с Вовкой. Да он и не любит мать. Решили, что я полечу вместо матери.

— Кто решил?!

Глаза у Генриха стали ледяные.

— Нагнись, я что-то шепну тебе на ушко, — славно улыбаясь, сказал он.

Не стала Нина нагибаться, а пошла по ступенькам, прочь, по саду, и дикая кошка выпрыгнула из чащи на ее дорогу, полоснула своими зелеными глазами по нининым зеленым глазам и исчезла. И Нина исчезла в воронке, бесшумно взвившейся от земли к небу, но через секунду обнаружила себя на прежнем месте, на тропинке, и Генрих крался за нею. Пришептывая и повизгивая, обрушивал на нее грубые ругательства, перемежавшиеся догадками о том, что она задумала: перебежать ему дорогу, залезть в постель к В., предать его с С., оклеветать перед Й. Он преследовал ее до той поры, пока не догадался, что она держит путь к укромному домику, и ему поневоле придется отстать и отпустить ее.

Он ушел, исчез, а она опустилась неподалеку от домика на траву и долго сидела, перебирая руками стебли и листья и терпя мелких муравьишек, паучков и даже одну улитку, что ползали по ней. Ей больше не было скучно, она была спокойна и свободна. От Генриха, от делавших ей известные знаки В., С. и Й. и даже от себя самой.

Потом она вошла в домик. Сняла с себя кожаный темно-красный пояс, сделала петлю, завязала ее покрепче и повесилась на крюке, спрыгнув с деревянного помоста с круглым очком посередине, как со сцены. Золотое кольцо с запястья, подарок заграничного отца, она предварительно бросила в глубину деревянного круглого очка.

Круглые очки с мутными стеклами сползали то и дело с переносицы, толстым, раздавленным, заскорузлым пальцем поправляла их, шептала про себя слова, акие были напечатаны на смятой бумаге, в которую

завернуты старые кроссовки, в другую бумагу завернута почти новая шерстяная кофта, переданные ей в той квартире, где в последний раз мыла и натирала полы. Соседи знали, что денег ей лучше не давать, и давали продуктами и вещами, так что она была сравнительно сыта и сравнительно обута-одета, безобидная поселенка, инвалидка, старуха безродная. Появилась в городе невесть откуда, пьяная, неумытая, и надо же было такому случиться, что подобрал ее милиционер, шедший домой из гостей, со своею женой, доброю женщиной, влиявшей по-доброму и на него, милиционера. Взяли к себе, отмыли, нашли из жениных вещей ненужных что попримечнее, устроили на работу, на ткацкую фабрику, где жена занималась профсоюзной деятельностью, сначала в разнорабочие, потом в ученицы мотальщицы, а вскоре и в самое мотальщицы, познакомили с двоюродным братом милиционера, которому она понравилась, поскольку была женщина симпатичная, когда не пила. И она все не пила, удивленная, что ее не гонят, как паршивую собаку, к чему привыкла прежде, а заботятся о ней. Это редкость сделалось в России, и ей все не верилось, что кончится хорошо. Но настал день, светлейший на земле, когда двоюродный милиционеров брат, токарь-расточник четвертого разряда, моложе ее, с которым они уже жили как жена с мужем, повел ее в ЗАГС, чтобы узаконить отношения и прописать в небольшой однокомнатной квартире, полученной по этому чудесному поводу от завода, и новые товарки бескорыстно уговаривали ее, что все, что настала новая полоса ее жизни. На свадьбе она выпила шампанского и далее не просыхала. Напрасно молодой муж старался, уговаривал, грозил и плакал, говорил о будущих детях, она молчала, и винушкой от нее несло. Только один раз сказала: не приставай, был у меня Петя, и никого больше мне не надо. Тогда он взял и покалечил ее: правую руку изуродовал и выбил часть верхних зубов,

и мотальщицей работать она перестала. После каялся, прощения просил, да ей-то было все равно, целая она или калеченая. Отправил ее на принудлечение, надеясь, что официальная медицина, специалисты сумеют то, чего не сумел он неофициально, как неспециалист. Брат говорил, что напрасно, официального-то навиделся за жизнь, но нелепый расточник, видно, совсем голову потерял, в других семьях муж пьет, и это более нормально, а тут жена, и ему было исключительно стыдно и обидно, хотя брата-милиционера ни одним словом не укорил, такой был безобидный и хороший мужик. Все это длилось не день, не месяц, а годы, события и еще случались, в основном, бытовые, а не социальные или политические, так что пожаловаться вроде не на кого, а жизнь шла под откос. О детях и речи не было, ничего и никого она не рожала, не могла родить, хотя намекала, что способна и что как будто даже что-то у нее есть, да кто ей мог поверить, когда она уж и в психушке побывала дважды, конечно, переломив напололам бытие токаря-расточника. Кончилось разводом, разменом, подселением в многосемейную квартиру — со всем она соглашалась безропотно, иногда лишь подвывая о Пете-Петруше. Говорят, что любовь, особенно единственная, распрекраснейшая вещь на земле, а выходит, что и тут вранье. Теперь она сидела беззубая, колчерукая, одинокая, и пыталась читать мятую страницу еженедельного издания, в котором рассказывалось о необыкновенном гражданине Отечества Генрихе Петровиче О., породившем СОВОК и порожденном им же как личность. Что такое СОВОК и дальше по тексту, инвалидка и подселенка не поняла, но фамилия, имя и отчество были знакомые, оттого и читала. Место про круглого сироту-младенца перечла два раза: смутно помнила, что, когда лишили ее материнских прав, ему было девять лет, а не восемь месяцев, как написано, и потом она еще трижды навещала его, в десять,

в двенадцать и в тринадцать, но теперь, читая, верила, что так лучше, складнее, а стало быть, правильнее. Там было еще про похороны отца, когда мальчику было шесть, но не как реальность, а словно бы мечта мальчика, и тоже было очень складно, словно бы отец у мальчика был всеми уважаемый человек, и народу было видимо-невидимо, и в поминальных речах ораторы завещали ему быть достойным своего отца. Она вдруг вспомнила, да так ясно, что когда ее лишали материнства по его, генашиному личному доносу, она думала, что на самом деле это ничего, потому что генашин отец, любимый Петруша, давно лишил ее всего. Расправив вторую страницу из-под почти новой кофты, увидела фото, на котором был большелобый, ясноглазый, сострадающий ближним мужчина, молодец, герой, и она прошамкала блекло, без выражения: ну вот он и есть, Генаша, вот и встретились. После чего, завернув кофту в ту же самую мятую бумагу, вышла на улицу и, проделав длинный путь до рынка, при входе, за углом, продала сверток с концами, чтобы купить у знакомого продавца бутылку.

Первая же пара глотков сделал ее человеком, и в эту человеческую минуту черно-серая жижa в ее голове протекла и вытекла, освободив живое пространство, где горестной, совестной птицей, крыльями ангела прошелестело: Господи, прости, прости, петрушино ли зло, мое ли, или мало ли еще чье...

Зло действовал. Зло и поспешно. В три дня убрал всех. Зинченко, Витю, остальных. Метался по столице. Бросался к телефону. Времени не жалел. Тратил часы. Объезжал, обзванивал одного за одним. Партнеров, соперников, газетчиков, комитетчиков. Торопился успеть. Опередить. Лгал и лгал, давясь словами, слюною, слезами, сокрушаясь, как обманут. Хитрецы,

лицемеры. Втерлись в доверие. Выдавали себя не за тех. Подделки, вранье, корысть всякого рода. Самый сильный удар нанесла она, Нинна. Кто бы мог подумать. Ее ложь и фальшь оказались чудовищными. То ли наркотики, то ли СПИД. Записки не оставила, но по косвенным признакам. Ужасно. Врагам хотелось бы впутать в это дело не кого-то случайного, незначительного, а академика В., экономиста С., редактора Й. Или она сама хотела их запутать, потому специально на даче и совершила. Он, О., этого так оставить не может. Жизнь, честь положит на то, чтобы защитить светлые имена России. В любом суде. С любой трибуны. С глубокой горечью сознает, что петля, видимо, осталась единственным выходом из положения, в какое по собственной вине попала эта несчастная женщина. И вот ведь незадача: всю жизнь вьются вокруг него женщины, сосущие чужую (его) кровь, включая родную мать... Здесь он, конечно, зарапоровался, потому что, все знали, был круглый сирота. Почему он так переживал и так спешил, оставалось неясно: на самом деле его вины не было и не могла она никак быть доказана. Но он переживал и скорбел.

Скорбный Генрих Петрович набрал новый штат: Донченко, Митю, Инну. Инна, волшебница, географ, говорила на трех языках, и когда слушала президента Сообщества, из уголков ее серых глаз скатывались слезинки восторга.

С Клавой Генрих развелся. Они придумали это оба, чтобы вновь возникший мистер Друк мог удочерить косенькую Розалинду и чтобы американское будущее девочки, по возможности, было розовым и безоблачным с исправленным косоглазием. Чем расплатился с Друком Генрих, осталось его и Друка секретом. Вы видите, в этой истории немало секретного. За это все еще гибкая Клава простила мужа и дала ему свободу. Строго говоря, свобода требовалась ему вовсе не для разврата, как кто-то мог бы подумать, а

сугубо для осуществления воли, может быть, вышей, как он ее понимал и многим говорил. Уезжая на постоянное жительство в Штаты, Розалинда устроила истерику, рвалась к отцу. Он также рыдал истерически. Они любили друг друга. Сморкаясь в новый заграничный платочек, Розалинда призналась ему, что когда мать вернулась с похорон деда, то привезла отзыв одного из стариков, дедовых товарищей, об отце: бес глуздый. Линда тогда рассердилась на мать, что еще за бес, и умолила молчать, но потом стала проваливаться по ночам в страшные ямы, где кровь стыла в жилах, и почему-то ошметки яичницы и куриного помета летали над нею, как птицы, и облепляли ее своею гадостью, и она связала это со стариковыми словами, но матери не говорила, и никому не говорила, а теперь не хочет в Америку и не хочет операции, не хочет глядеть на мир параллельными глазами, потому что боится разглядеть эту гадость не во сне, а наяву. Генрих утешал дочь, объяснял, что Друк будет ее отцом понарошку, а по духу останется он, Генрих, что это такая игра, им изобретенная, где никто не проигрывает, а все выигрывают, и она, дочка, выиграет, но Линда все не успокаивалась и смотрела одним глазом на него, а другим в окно, за которым шел русский дождь. Что-то этот глуздый бес Генриху смутно напомнил. Что? Полез в Толковый словарь Даля, которым к тому времени как всякий культурный человек обзавелся, но на "г" ничего не нашел.

Генрих не зря избавлялся от бывших сотрудников как от свидетелей: интуиция аномальная и здесь не подвела. Экономист С., случайно встретившись с Витей, сбросившим на нервной почве килограмм пять, выслушал иную точку зрения на О. и его СОВОК, правда, сбивчивую и путаную. Тем не менее, будучи человеком реальным и трезвым, а также помня потрясшую его смерть этой красивой девушки, поделил-

ся с полученными о Г.П.О. знаниями со своим знакомым скрипачом Т.

— А, — махнул рукой Т., — продавец воздуха.

— Не скажи, — возразил С., — по-моему, дело хуже, по-моему, он представляет собой экологическую опасность.

Ну что ж, сам виноват, сам и поставил себя вне игры. До Генриха, естественно, дошло, и С. был, естественно, оболган и нейтрализован не только в глазах Т., В. и Й., но и в глазах коммунистической общест-венности, с которой С. тем более порвал. Все-таки энергия у Генриха Петровича была сродни атомной.

Отныне он летал по всему белу свету, осуществляя советско-всемирные культурные и прочие, и прочие, и прочие, за ним летели концы его длинного нового алого шарфа, фалды фрака, накинутая на плечи джинсовая куртка.

Вскоре Советское правительство наградило его ор-деном. Каким — не помню.

Прольем горькую слезу над ним, читатель. А мож-ет, над самими собой.

7—29 мая 1990 г.

Москва.

КУЧКИНА Ольга Андреевна. Родилась в 1936 году в Москве. Окончила Московский университет. Обозреватель газеты "Комсо-мольская правда". Пробует себя в драматургии, поэзии, прозе. В нынешнем году выходит ее первая книга стихов "Сообщающий сосуд". Настоящая прозаическая публикация — первая. Живет в Москве.

✱ ✱ ✱

Я странно любил эту девушку в темно-зеленом
С глазами, как волны усталой сибирской реки.
Но где-то далеко, откуда бегут эшелоны,
Скрывается имя ее непонятной тоски.

Когда, разбудив задремавшие ели по склонам,
Над хмурыми сопками пепельный бродит рассвет,
Она меня слушает, девушка в темно-зеленом,
И бледные губы не сразу роняют ответ.

Султанами дыма кивнут, убегая, вагоны.
Как кто-то когда-то, простившись без слов,
без руки...
И ветром становится девушка в темно-зеленом,
Последнее имя моей беспощадной тоски.

*Нижне-Амурлаг. Мулинский ОЛП.
1947*

✱ ✱

Мне снова снится голубой Тбилиси,
Где, гордое спокойствие храня,
Под окнами седые кипарисы
Пятнадцать лет стареют без меня.

Мне кажется, что все дороги вражды,
Растраченных не возвратит минут.

И в тихом переулке Сивцев Вражек
Чужие люди в комнате живут.

Мулинский ОЛП.
1947



Под сенью башенного крана,
Взяв скептиков на карандаш,
Семь шкур содрали с барабана,
А на восьмой сыграли марш.

На всю планету раздавалось
Его сплошное тра-та-та.
Но постепенно оказалось,
Что в середине — пустота.

Наверно, все мы слишком рано
Друг с другом слиплись, как драже,
Под сенью башенного крана
На эпохальном этаже.

1956



Они встают. Партнер лощеный,
Она прильнет к нему, нежна...
А я сижу, не приглашенный,
Как некрасивая княжна.

1957

Ходьба — вариация бега,
Полет — разновидность гнева,
Трава — продолжение снега,
А солнце — дневная звезда.

1959

✱ ✱ ✱

61

И медленно разгибаются спины у тысяч
знаков вопроса,
Сдваиваются, страиваются, в один слепящий
восклицательный слиплись,

И я повисаю пеплом на мундштуке
докуреной папиросы,
Еще затяжка — и я на паркет осыплюсь.

1959

По вторникам я в четырех стенах. Я предан
Небритуому забвению, зато
С утра по средам, господи, по средам
Весь город мне — в малиновом пальто.

А я ему — подвыпивший прохожий,
Все что-то говорю, все за рукав ловлю,
Скажи мне улицу, такую невозможную,
Такую улицу по имени Люблю.

А город мой все обступает зданьями,
Все ниже клонит их: мол, дальше говори.
А сам ведет меня на площадь Досвидания,
В троллейбус прыгает и гасит фонари.

1960



У моря просят исцеленья
От пошлости и от любви,
От деформации коленей,
От белых шариков в крови,
От седины, от тесной кровли,
Как будто море — божество.
А море, кроме рыбной ловли,
Не обещает ничего.

1961



Марья Петровна идет за селедочкой,
Около рынка живет.
А над Москвою серебряной лодочкой
Новенький спутник плывет.

Трешки-то мало, пятерки-то жалко ей —
Хочешь не хочешь, плати...
А между звездами лунник как шелковый,
Новенький лунник летит.

Марья Петровна с улыбкой трагической
"Грабь меня, — скажет, — ну грабь".
А над землею-то новый космический,
Новенький мчится корабль.

1962



Хоронили начальника главка.
Вся общественность вышла во двор,
Аппарат и внештатница Клавка,
Как начальнику вечный укор.

Хоть, по правде сказать, и не очень
Разлагался он с нею в быту —
Между прочим, в порядке рабочем,
У руля, на железном посту.

Только речь я веду не об этом,
Я о том эту повесть веду,
Как лежал он ноябрьским рассветом
Абсолютно у всех на виду

И какой-то случайный, нелепый,
Предпоследний кленовый листок
Чиркнул по небу справа налево
И улегся ему на висок.

Словно штамп на квартальную смету
Как на титульный список печать.
Даже женщине от Моссовета
В этот миг захотелось кричать.

И такая сгустилась тревога
На дворе под осенним дождем,
Будто кадры почуяли Бога
В руководстве умершем своем.

Друг на друга как на иностранцев
Все глядели в мгновения те.

Хорошо, что товарищ Румянцев
Оказался на высоте.

Он придвинулся к гробу немножко
И, как некий ненужный итог,
Моментально за тонкую ножку
Сдернул с черепа данный листок.

И тревога народ отпустила,
Кто-то всхлипнул тихонько: пора!
И общественность гроб подхватила
И на выход пошла со двора.

1963



Молодые мужчины устали
От глубоких научных затей.
Жизнь познали, но жить перестали
И промерзли до мозга костей.

Но бывает, господь их выносит
С вечеринок к стоянке такси.
Ты откуда? — тогда они спросят
В лихорадке забытой тоски.

Ты откуда сюда залетела
Под рассветный фонарь городской,
Эти тонкие плечи и тело,
Как у школьницы в день выпускной.

А наутро домашних не слышат,
Чай в стакане, как чуждый предмет.

Пересохшие губы оближут
И уйдут на ученый совет.

1965



Прощайте, никто не виновен. Виновно стечение
Причин, а не люди — слепые солдаты причины.
К тому же и жизнь не чета переборке печенья
На тихой кондитерской фабрике "Красная Роза".

Прощай же, начальник режима товарищ Платонов,
Ты рано родился, и мы тебя звали Барбосом.
Ах, если бы знать, мы б тебя окрестили Барбудос,
Хотя борода в тот период тебе и не снилась.

Вот так и зарубим на лбу у отдельных студентов,
Чтоб впредь не спешили справлять по эпохе поминки.
Никто не виновен. Быть может, одни лишь снежинки,
За то что бессмертны и все-таки тают в ладони.

1966



На черной "чайке" ехала блондинка,
И в ней была такая красота,
Что всем она казалась как картинка,
С которой жизнь была б совсем не та.

Была она, быть может, дочь министра,
А может, академика жена.
Но "чайка" черная умчалась быстро,
И с нею тайна вдаль унесена.

1967

Н О В Ы Й С О Н

Лесоповал, режимная колония.
Кругом тайга, а где-то в синеве
Сто тысяч женщин, все в плащах болонья,
Весенним днем гуляют по Москве.

1970

У ПАМЯТНИКА ТРЕМСТАМ АРАГВИНЦАМ

Дай мне, господи, прежде чем кану,
Белый свет озирая с тоской,
К желтоватому этому камню
Прикоснуться небритой щекой.

Все не тщетно — и годы и мысли,
Если было кому по плечу
В головах у ночного Тбилиси
Восковую затеплить свечу.

1972

Н О Ч Ь В К А Х Е Т И И

Деревенская улица как ночная река.
До зари по дворам петухи восклицают,

Словно темную воду насквозь проникают:
Глубока ли как встарь? — Глубока.

Я гляжу в это небо сухими глазами,
Невесомой плитой на сердце легло,
Высший смысл очевиден, как шум Алазани,
Замирающий где-то у въезда в село.

Тишина, тишина... Только запах бензина
От соседской "победы" застрял в алыче.
Только песню ночную четыре грузина
Пронесли, как кувшин на плече.

1972

* * *

В одинаковых домах,
В одинаковых умах
Мысль одна и та же зреет:
Как купить автомобиль.

Чтоб уехать хоть куда,
Хоть в другие города,
Где такие же дома
От такого же ума.

1975

СТИХИ О ПРЕДМЕТАХ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

I

В очереди за кефиром
Размышляем ты и я,

Что случилось с нашим миром,
Отчего в нем нет житья.

Но, быть может, эта давка,
Где психуем я и ты,
И девица за прилавком —
Лишь случайные черты?.

Их сотри — и мир прекрасен,
Как советовал поэт.
Так что подвиг не напрасен.
(Но кефира больше нет.)

II

Где вы брали молоко?
— Это вспомнить нелегко:
То ли в детстве по соседству,
То ль в эпохе рококо.

III

В эту позднюю пору осенней красы
Просыпаются в сердце заветные
мысли.
Хорошо, что на родине нет колбасы,
Значит родину можно любить
бескорыстно.

1980-е гг.

* * *

Поэт писал донос. Не то чтобы впервые...
Но жанра тайный жар вновь сердце
холодил,

И с гневного пера текли слова живые,
Которых он в стихах давно не находил.

1980

СТИХИ О ПОЭТАХ

I

Когда он жизнь назвал своей сестрой,
Она вокруг была почти советской.
С тех пор он с ней болтал, как с детворой,
Иль сам ей вслед глядел с улыбкой детской.

А видел только — крыши дач окрест,
Траву и снег и дождевую влагу.
И не случись у нас двадцатый съезд,
Он никогда б не написал "Живаго".

* *
*

"Открыть окно, чтоб жилы отворить"
А прожил дачником с окном открытым.
И — ничего. И не томился бытом,
И Сталина сумел переварить.

1984, 1990.

II

Над болотами ливни косые,
Над окопами трупный душок.
Не хотел умирать за Россию
Александр Александрович Блок.

Он с войны дезертировал быстро
И в чека при Керенском пролез.
И к допросам затравленных царских министров
Нездоровый явил интерес.

А когда потухавшие угли
В нем великий Октябрь разогрел,
Мама с Любой ругались на кухне,
А поэт о Двенадцати пел.

Слышу музыку... гулы и звоны
За шальной петроградской пургой...
Но подумавши, бюст Аполлона
Методично разбил кочергой.

1981

III

Жизнь идет. История плетется,
Старятся советские сердца.
Те, где Маяковский остается,
Был и остается. До конца.

1983



Все хотели как лучше. Как хуже никто не хотел.
Все хотели как лучше, а вышло хуже худого.

* "Чрезвычайную комиссию Временного правительства".

Кто на букву ... на букву ...на букву... на эл?
Собирайся с вещами! И это последнее слово.

1989

ЛОМИНАДЗЕ Серго Виссарионович. Родился в 1926 г. в Москве. "Сын врага народа". В 1943 г. арестован и осужден "Особым совещанием" на 10 лет по 58-ой статье ("антисоветская агитация", "террор"). В 1954 г. вернулся в Москву. С начала 60-х гг. выступает в печати как критик, литературовед. Автор книг "Поэтический мир Лермонтова" (М., 1985), "О классиках и современниках" (М., 1989). Стихи пишет с 40-х гг., но публиковались лишь подборки в журнале "Дружба народов" (1988), в сборниках "Реквием" (М., 1989) и "Зона" (Пермь, 1990).

НОВЫЕ КНИГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ

ЛЕН Слава. Игра в жмур/и/ки. Книга метафизических построений — 1974. Стихи. М., "Прометей", 1990.

МЕНЬ Александр. Проповеди протоиерея Александра Меня. Пасхальный цикл. Сост. А.Еремин. М., РПЦ Внешторгиздат, 1991.

МЕНЬ Александр. Смертию смерть поправ. Минск, "Эридан", 1990.

ОГНЕВ Владимир. Сюжеты. О жизни и литературе. Эссе и рассказы. М., "Современник", 1989.

С ПРИЕЗДОМ!

В 1976 году я навсегда расстался с СССР. Отец, провожая меня, сказал:

— Мы больше никогда не увидимся, сынок, но я так рад за тебя!

Он все время опасался, что меня арестуют за распространение самиздата.

В 1990 году я летел в Москву со своим сыном, чтобы прежде всего побывать на могиле отца:

— Ты помнишь, сынок, почему я уехал из СССР?

13-летний английский гражданин кивнул головой. Он вообще стал разговаривать односложно, хотя около 8 лет назад он обращался к пассажирам лондонского автобуса так:

— Мой папа был балтийским подводником! — В те дни советская подлодка села на мель в районе шведской военной базы. — А я буду английским моряком, мне дадут форму и т.д.

— Майкл, ты будешь еще красивее в морской форме, — сказала веселая старушка, продлевая момент.

— Да, — согласился он. — И у меня будет пистолет.

— Можно я буду тогда твоей подружкой? — с наигранной надеждой спросила она.

— Нет, ты слишком старая!

Общее веселье.

...Москва осунулась и посерела, хотя говорят, что она всегда такая была — в дорожных колдобинах и панцирных люках по проезжей части. Боря — мой

верный друг по прозвищу "Нос", повозил меня на своей автоколымаге по Таганке: наш полуразрушенный дом с коммунальным балконом, на котором, во славу Лысенко, произрастает куст; Театр на Таганке, в бель-этаже которого я простоял, наверное, несколько суток, посещая каждый спектакль по несколько раз. Запускал меня в зрительный зал хмурый пожарник с неугасимым желанием выпить. Он как-то бросился на меня, хотя и держал в руке стакан: я чуть было не закурил в трюме театра. Там мы выпивали с Джабраиловым — кривоногим гением комедии, и Веней Смеховым, который жил неподалеку от меня.

— Мудак! Декорации! Сгорим! — Пожарник играл себя, он даже побледнел.

Тогда только он знал, где искать Володю Высоцкого, когда тот болел.

— Володя хороший, — говорил пожарник, — но пьет! — На его лице отражалась скорбь: сколько, мол, народу гибнет от этого яда...

Боря припарковался возле больницы, куда мы, пьянь безответственная, ходили с бутылкой к больному Володе.

— Мне худо, — сказал он до этого по телефону. — Если вы пузырь не принесете, другие принесут!

Мы тогда шли огородами: через больничный двор, похожий на колодец, где синие сугробы на подходах к котельной были усеяны разноцветными таблетками, вылетавшими из окон. Я ступал за Борей след в след, как в тылу врага, пароль был тот же — рубль.

После излечения Володя собирался жениться на Марине Влади. Веня Смехов как-то заметил:

— Володя, у Марины дети...

— Прокормим! — отозвался тот.

Как писали французские газеты, у Марины Влади было тогда не меньше миллиона долларов и членский

билет французской компартии, который она, видимо, хранила отдельно от денег.

Володя был прекрасным акробатом, и мне было неловко, когда Боря оживленно сообщил ему в больнице, что я на руках танцую после двух стаканов. Маленький и узкоплечий, Володя глянул на нас и ничего не сказал, никак не подшутил.

...Сейчас в Москве на квартире у Бориной мамы собрался актив — романтики выпивки. Таня — наша университетская подруга, умевшая в свое время соорудить закуску на три человека из резинового сырка "Новость", полдня пребывала на кухне: угощение на столе превосходило западное, а может, и кремлевское.

— Гена! — гудел Борис. — Скоро придет Роза, специально для тебя!

Всеобщее сладостное понимание не оставляло сомнений — коллектив готов был оказать гостеприимство даже в ущерб себе.

Золотозубый Боб с поредевшей челкой, который в детстве жалел своих противников на ринге, хотя они его не жалели, спросил, юродствуя:

— У тебя, Гена, в трусах-то еще кукарекает?

Таня, поставив винегрет на стол, округлила глаза и закусила губу, будто сама чуть не закукарекала.

— Боб, не верь пропаганде! — хихикнул Боря, его молодой да ранний дядя. — На Западе питание лучше, меньше крахмалов! — Его повело: — По западным стандартам, устойчивость на мужскую душу населения...

Его перебил Игорь, наш седой химик. Он потрогал водянистые мешки под глазами:

— Доступность и сытость — враг добытчика!

Я вспомнил, как Игорь, подрабатывая на заводе в свои студенческие годы, выносил спирт в специальной грелке с тесемками — выносил не на животе, где часто ощупывали на КПП, а на спине, его же знакомая — в плоской фляжке, засунутой в трусы с

резинкой: она не каждому позволяла дотрагиваться до своей аппаратуры.

Вася — приветливый кандидат наук, любивший всех даже в трезвом виде, заворковал:

— Ребята, ребята, кончайте! Дайте Гене сказать, столько не виделись, совсем не изменился! Гена, как там? Как жена, сын, Маргарет Тэтчер?

Боря осуждающе подтолкнул его:

— Неисправим! Столько не виделись, а он о политике!

— Жена — это политика? Сын — это политика?

— К нему сейчас человек придет, а ты о жене! — пожурил его Боря, прибавляя веселья.

Только стали разливать, как в двери позвонили.

— Гена, готовься!... Расчистите место рядом!... Гена, держись!

И ласковый голос смеющейся Тани:

— Не слушай их!

Роза была в серебристо-чешуйчатом платье, и блески сверкали на ее гладком лице, как на деде-Морозе. Я готов был провалиться сквозь диван, когда ее панибратски усаживали рядом. Доброжелательного Васю оттаскивали от нее в несколько рук: он порывался то ли чмокнуть ее, то ли сказать ей что-то заветное.

— Вася, сдержи свою похоть! — вычитывал ему Боб. — Что о тебе на Западе скажут?

— У тебя же четверо детей! — негодуяще добавил Боря.

— Пятый скоро будет, пятый! — Тот был в своей стихии. — Я же для Гены! Мы так его любим!

— Разливай! — строго напомнил ему Игорь. — У каждого была своя роль, как и раньше.

Выпили и, заботливо наполняя друг другу тарелки, закусили.

— Давай, старичок, всю правду про Запад! — сказал мне Боб. — Тебе я поверю. — И наступила

тишина, и даже согбенная Бороина "матушка" — мы все ее так называли, когда ей и 70 не было, подседа к сыну на табуретку, и он обнял ее, потеснившись.

— Запад, ребята, жесток и часто безразличен к человеку, как и здесь. — Я заметил, как подслеповатая матушка, которая в одиночку вытаскивала Бору в люди, кивнула головой: она-то знала суровость жизни. — Начинать и привыкать тяжело.

— Но преодолимо, Гена, преодолимо, верно? — Боб, засмущавшись, явно думал о своем.

— Бездомные, источая запах мочи, спят прямо в центре Лондона, а днем воровато побираются, что закон запрещает...

— Но жить-то можно? — спросила Роза, не ожидавшая от меня такого заявления.

Вася утробно хохотнул, проглотив готовую шутку.

— Мне — так нужно, — ответил я.

— Помнишь, Гена, как Бору забрала милиция, а он разрезал руку, повредил сухожилие, — неожиданно сказала матушка, и тут же устыдилась своей запоздалой тревоги, да и не все об этом знали. Тогда первая жена Бори не пускала его домой, и он, прорываясь со скандалом, разбил стекло. Я к нему пришел, когда его усаживали в коляску милицейского мотоцикла, за которым пришлось бежать, чтобы знать, куда его увезли.

— Было дело! — подтвердил за меня Боря, как мне показалось, опечаленный таким напоминанием. — Матушка, простая женщина, за чистую монету воспринимает гласность!

Выпили за матушку.

— Может, вы помните? — Я сам всегда помнил всех, кто меня провожал: и Бору, и Васю, и Игоря, их внешнюю бодрость и растерянные улыбки, а рядом — мою плачущую беременную жену, которая не могла тогда со мной уехать, она тоже невидяще улыбается,

и отца, красного от волнения и тревоги. — Уехал я не туда, а отсюда!

— Я помню! — не выдержал Вася. — Очень хорошо помню!

— А сейчас бы уехал? — спросил Боб. — Гласность у нас, перестройку обещают?

— Обязательно уехал бы, — сказал я, — хотя к старости на Западе еще труднее.

— Но ведь мы и встретились благодаря перестройке, хотя Боб говорит, что ее только обещают, — напомнила Таня, и я заметил, как она, неторопливая, оплыла. Интересно бы спросить, пишет ли она еще стихи, они часто были нервные и яркие, будто не ее...

— Твоя правда, Таня! — согласился я. — До перестройки у меня мать умерла, потом отец, и я не мог приехать их похоронить...

Выпили за упокой моих родителей.

— А ты заметил, что люди сейчас живут тяжелее, чем раньше? — Многодетный Вася болезненно воспринимал нехватки, хотя сам мог выстоять на одном чае и хлебе, не хуже каждого из 28 панфиловцев. — Ты в магазинах был? Скажи, ты был?

— Не хлебом единым! — вставил Боб.

— Конечно! — откликнулся Вася. — Особенно если он втридорога!

— Забыл уловки "ментов"? — не унимался Боб. Он применял это слово широко, адресуя всей советской власти. — Подпишешь письмо, а тебя в черный список, работы не найдешь! — Мы знали, что он несколько лет страдал именно по этой причине.

— Приезжай, Гена, насовсем, а? — с вызовом сказал Вася. — Ты помнишь? — Хотел что-то добавить, но привычно сник, наслаждаясь своей подчиненностью. Боря осуждал его взглядом, как всегда во время выпивки.

— Нет, братцы, опять под урками я жить не буду, что бы они ни пели!

Розе разговор был скучен, да и жизнь ее, как? Вася мне шепнул, не удалась: серая бытовуха, аборты, мужья-алкаши, а красота увядает от избытка крахмалов, да и за ними в очередях настоишься...

— Что значит "урки"? — Она наделила всех улыбкой, но глаза смотрели зло: — Мы, например, не урки. Преступность, конечно, растет, но она только на необитаемом острове не растет...

— Я говорил не о вас и не об обычном жулье, — начал было я.

— Все равно красиво ляпнула! — восхитился Боб. — Выпьем за Розу!

Выпили за Розу, и даже непьющая матушка пригубила, как на поминках, когда не хотят обидеть родственников покойника.

А меня понесло-потащило:

— Большевики ввали с первого дня революции, приспособливали утопическую схему для себя, а теперь, перед полным распадом всей системы, опять стали ловчить, заголосили: "Караул! Перестройка!" — Я заметил, что матушка прикрыла рот ладошкой при слове "заголосили", она зримо воспринимала мои слова. — И при этом советские вожди на Запад поглядывают и угрожающе похрюкивают: вам, мол, лучше не будет, если мы в дерьме утонем, оно и на вас растечется!

И Вася, и Боб хотели вставить слово, но я опасался, что не договорю:

— Советская система разложила целые поколения, превратила самую богатую в мире страну в "союз нерушимый" озлобленных колоний, но руководящие урки обижаются, если им не аплодируют, когда они не сажают и не убивают за правдивое слово!...

— Старичок, но тебя-то система не разложила, — улыбочиво заметил Боб, хотя в голосе его слышалась обида. — И мы, здешние, все тебе рады, не разложившемуся!

— Мы сгнили бы все, если бы не пили! — протрубил Вася, и матушка мягко ударила его скошенными от суставов пальцами по плечу, будто погладила.

— И эмигрантов она разложила! — Я тут же пожалел, что начал весь разговор: я-то уеду, а им под урками жить. — Чем больше наш брат отрешивается от прошлого, тем больше он в него погружается!

— Пример! — потребовал Вася. — Научный пример!

— Цитирую себя, — сказал я. — Зачем мне говорить вам то, что вы лучше меня знаете?

— Верно! — Боб воодушевился. — По Фрейду, ты подсознательно бичевал и себя, поскольку был в числе тех, кто допустил урок к власти! — Он отодвинул задом стул и с хрустом рухнул на колени, а матушка, глядя на него, приподнялась. — Все должны покаяться, встать на колени и покаяться! А вожди наши должны ползти в парадных костюмах к ближайшей церкви! — Боб закричал навзрыд: — Пролетарии всех стран, извините!

— Я такой пример не принимаю, это такая же утопия, как и сам марксизм... А ты, Боб, между прочим, елозишь по полу в моих брюках! — добродушно отметил Боря, радуясь застолью.

— Держи другой пример! — Я невольно отметил, что матушка принесла из холодильника еще две бутылки, чтобы народ не ожесточался. — В 60-х годах в Лондоне остался один московский журналист, бывший партийный активняк...

Боря знал всех, особенно по Дому журналистов, и активняк часто возникал у входа в этот Дом, плечом к плечу со швейцаром, хрипловатым тенорком объясняя не состоявшим в Союзе, что мест нет...

— Опиши его внешность, — попросил Боря, озабоченный: в былое время он давно бы догадался о ком идет речь.

— Круглая голова, залысины, острый носик, щекаст, туловище короткое, а ноги длинные, как у паука, ходит, приплясывая, судит буквально обо всем, и в разговоре снисходительно похихатывает...

— Гондон! — догадался Боря. — Сомнений нет!

Он был прав: это был суетливый пенсионер из Лондона, который при Сталине попал в лагерь за продажу заводских запчастей к автомашинам. Выдавая себя еще при Хрущеве за жертву культа, он, бежав на Запад, уже без оглядки рассказывал о себе, как о политзеке. Временами, правда, забывался, и как-то Ицкову — в прошлом известному советскому адвокату, радостно прокричал: "Помните, вы меня защищали?". Но проходивших по 58 статье при Сталине в судах не защищали.

— А почему "Гондон"? — спросила Роза, давая знать о своей интеллектуальной раскрепощенности.

— Кстати, как ты сама относишься к гондонам? — живо спросил Игорь, словно она напомнила ему о вопросе его жизни. Сам он их презирал, называя "баковскими галошами". Из-за этого страдал по венерической части, пока не завел спринцовку.

— Да что, Игорек, гондоны? — засмеялась Роза, уловив всеобщий интерес. — Меня интересует их содержание!

Выпили за прекрасный пол.

— А Гондон потому, — пояснил Боря, — что он, командуя районными дружинниками в Москве, расхаживал в пластиковом плаще, напоминая член с ушами.

— А зачем ему сотрудничать с милицией, если он задумал бежать на Запад? — Теперь уже Таня недоумевала, по-моему притворно: она и раньше разыгры-

вала блаженную, то ли вызывая к чувству юмора, то ли спасаясь от уродства жизни.

— Прямая связь, — Боря взмахнул наполненной рюмкой, ни капли не пролив. — Командир дружин — это билеты бесплатные в театры, в цирк, в Лужники. И ментовское удостоверение. А Запад, когда побеги туда были не часты, — это сытно. Отсутствие принципов! Главное, не лопнуть от восторга к заграничной жизни...

— Если лопнет, то будет штопанный Гондон, — не удержался Вася.

— И сейчас он вылизывает вышестоящие ягодицы, — мстительно продолжил я, — оправдывая уже западные власти во всем. Там он презирует коммунистов, хотя здесь был в их числе, клеймя и бичуя капиталистов.

— Дешевки те и другие, — сказал Боря, — но не ему разевать хлебало!

— Слишком нам много льют говна на голову! — поспешил Вася, боясь, что перебыют. — Пора открывать рот!

Выпили за старых друзей, которых сразу можно узнать по старым шуткам.

— А есть такие, кто вернулся бы сюда? — спросила Роза.

— Есть!

— Но ты таких не любишь? — усмехнулся Боб.

— Не суди, и не судим будешь, — напомнил Боря, глядя на потолок, как на церковный свод. Я вспомнил, как он когда-то шутил: "Я, слава Богу, неверующий!" Сейчас нашу поездку по Таганке мы начали с церкви, где он просветленно помолился.

— Не люблю, — ответил я. — Но человека русского понять можно, особенно если чужбина давит, от непонятного языка мутит, а тут у вас, вопреки всему, проблеск свободы... Но возвратившихся евреев или кого здесь считали евреями я понимать не хочу!

— Мы антисемитизма за этим столом не допустим! — строго объявил Боря.

Игорь — носитель фольклора пропел:

" За столом никто у нас не Лившиц, под столом никто не Ливенбук!"

Выпили за дружбу, которая с годами не ржавеет.

— Вы, братцы, евреев или полуевреев не торопитесь осуждать за отъезд, — сказал я.

— Какое осуждать! — возмутился Боря. — Я сам бы уехал! — Скосил глаза на свой костистый нос, из-за которого он в Суворовском училище не попал в секцию бокса, но стал прекрасным легкоатлетом, пересекая им воздух при забегах.

Все засмеялись, и матушка приветливо закивала, радуясь согласию.

— Здесь почти всем, конечно, тяжело, но кому все же с самого детства давали знать, что ты — чужак, что тебя лишь терпят, что ты должен стыдиться своих родителей? — Я продолжал давить на больную мозоль, вместо того чтобы рассказать какой-нибудь анекдот.

— Ты не сгущаешь? — спросила Таня. — Мы, наверное, все не совсем русские... Я — полуазербайджанка...

— Свободу Нагорному Карабаху, с назначением ему столицы в Соединенных Штатах! — После этого призыва долгоязыый Игорь, верный своей специальности, отправился за матушкой на кухню разводить спирт.

"Иссох больше матушки, — подумал я, — скоро от него одна арматура останется..."

— Ты только чтоб не крепко, Игорек! — причитала она.

Боб встал и, не моргая, уставился на матушкину вышивку в фанерном ободе на стене. И вдруг он запел, сипло и старательно:

" А где мне взять такую рожу, чтоб быть похожим на свиней,

И чтоб никто не догадался, что я по паспорту — еврей!"

Ему похлопали.

— Веришь? — Боря обалдело оглядывался. — Боб никогда не пел, жалел людей, гуманист! Сейчас еще матушка запляшет...

Игорь вернулся из кухни с бутылкой, а за ним матушка с тарелкой соленых огурцов.

— Попойте, ребятки, попойте! — обрадовалась она. — И попляшите, здесь пол крепкий, а соседи внизу уехали...

— Куда, матушка? — ласково спросил Вася.

— В Палестину! — Она все так же улыбалась.

— Спасибо, матушка! — Игорь, конечно, попробовался спирта на кухне, в глазах его стояли слезы: — Спасибо за все!

— Те евреи, кто вернулся сюда с контейнером вещей, — продолжал я свою тему, — обличая жадных и бездушных американцев... — Матушка подошла ко мне и погладила по голове, шевеля губами. — Те евреи, в большинстве, снова бежали отсюда, хотя здесь коммунистов, творцов народного счастья, уже прокатывают кое-где на выборах...

— Поэтому и бежали! — Боря движением головы призвал Васю разливать. — Хотели вмазаться в расписной социализм, с валютой, мол, везде жить можно, а оказалось, что нельзя!

— А мы-то живем, — с трудом выговорил Игорь, — живем без валюты, без надежды, и не всегда похмеляемся! — Он перевернул свою рюмку, чтобы ему, знавшему меру, еще не налили. — И сдохнем здесь!

— Поспи, Игорек, а? — Матушка протянула к нему обе руки, словно собираясь отнести его, засушенного Геракла, на кровать.

Он отрицательно замотал головой и, часто моргая, пропел: "Цыц, моя крошка, усни, в доме погасли огни..."

Не сумев привлечь внимания, он забасил громче, но уже на революционный мотив: "Варфоломеевские ночи и Волочаевские дни...".

— Отдохни, Игорек! — увещевала его матушка.

— Отдохну! — ответил он с вызовом. — Но спать не буду! — Попятился к кровати, опрокинулся на бок и уснул.

— У тебя в Англии трудностей нет? — спросил Боб почему-то шепотом. — Помочь не можем, но знать бы хотелось.

Захрапевший Игорь со всхлипом вскочил, словно вынырнул из-под воды:

— Гена, а что ты в жизни достиг? — Он смотрел поверх моей головы, но я уверен, что он меня видел. — Ленин в твои годы уже в Мавзолее лежал! — Игорь вновь завалился набок и уснул.

— Трудности есть, особенно если жизнь пересекается с жизнью Гондонов, — ответил я Бобу.

— Они, конечно, и в Англии — бугры? — радостно заблеял Вася, склонный к обобщениям. Меня же удручила справедливость его слов. — А англичане, как бывшие колонизаторы, умеют с выгодой для себя и поощрить и стравить, верно?

И здесь он был прав, кандидат-статистик, в отпуску забыться не дает!...

— Ты не прав, Вася! — сказал я. — Сообщи лучше, сколько душ приходится на 100 советских граждан?

— Мало! Мало! — возрадовался тот. — Урки столько лет выколачивали душу!

— Хватит о политике! — Боря установил выдержку на фотоаппарате. — Увековечиваю Гену и Розу!

— Я должна выйти! — Она, опираясь о стол, поспешно привстала и, пошатываясь, выскользнула из комнаты.

— Еще лучше! — буркнул Боря. — Пусть блюет подольше, а я тебя сниму одного, для рубрики "С приездом!"

Он фотографировал меня, как и перед моим отъездом из СССР. Тогда Боря запечатлел меня для визы, только за спиной у меня был не ковер, а простыня.

— С приездом! Улыбнись, Гена, и не пускай пьяную слезу!... Ведь и я не могу на фокус навести...

НОВЫЕ КНИГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ

ПОТУПА Александр. Контакт или Несколько мыслей и диалогов, подслушанных долгим зимним вечером XXI века. М., "Прометей", 1990. (Фантастика, приключения, детектив. Фантаkrim — Marco).

СЛЕДЫ УТЕРЯННОЙ ГАРМОНИИ



сореволюуюсь с кукушкой
в умении предсказывать
с улиткой —
в умении выжидать
с осенним листом —
в умении держаться
до последнего...



Рыбы
звери
и птицы
а также другие
небесные создания
живущие за гранью
объяснимых явлений
разгребающие мир
словно ворох
пожелтевших газет
в надежде обнаружить следы
утерянной гармонии
или хотя бы что-то успокоительное
в виде хорошего снотворного
но обнаруженные события
похожи скорее на разрозненные

**факты из биографии
водорослей**

листьев

и облаков...



**самые разные и многие
из пролетающих мимо по делам
или в поисках сердца
в котором можно было бы родиться
а также другие
с истекшим сроком годности
застрявшие в своих сновидениях
словно на незнакомой станции
в ожидании проходящего поезда
и наконец те
кто вообще не отсюда
а просто вышел покурить
и узнать не нужны ли кому крылья
по сходной цене...**



**Зимой
забираемся в одежды
точно медведи в берлогу**

**так трудно достучаться
друг до друга**

* *

*

Эй
сидящий на самой
высокой горе
скажи почем твой товар
эти сверкающие гроздья
спелых звезд?

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Прошлогоднее эхо
ищет хозяина

условий для содержания
не требуется

осень кончилась
друзья разъехались
детские игрушки раздарил...

ничего не осталось

* *

*

Отбрасываю тень...

отбрасываю подальше
чтобы не задеть
растущих следом
детей

ОРЛОВ Александр Михайлович родился в 1964 году в Москве, окончил Московский институт химического машиностроения. Пишет стихи и прозу, печатался в журнале "Смена". Работает в Московской ассоциации искусств.

НОВЫЕ КНИГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ

РЕЙН Евгений. Темнота зеркал. Стихотворения и поэмы. М., "Советский писатель", 1990.

РОСИН Вадим. Контрасты, как в "Сержанте". Стихи. Челябинск, Южно-Уральское кн.изд., 1990.

ФЕДОРОВ Владимир. Лилит. Стихи и поэмы. Ухта — Сыктывкар, Коми кн.изд., 1989.

ДВЕНАДЦАТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ ВИКИНГА И СЛАВЯНИНА

Вот падает с пальца кольцо, уходя
В железные лезвия вод.
Что же, память, прощай. Беспощадна ладья,
Которая строилась год.

Так, жизнь на печаль и забвенье дела,
Так, ночь проникая иглой,
Мы ринемся в бездну, где Винланд-земля
Лежит за снегами и мглой.

Пять рек, да три моря, да озеро с плеч —
Прошли же мы, видишь, Иван!
И вот нам осталось с тобой пересечь
Всего лишь один океан.

1986



Не гнушаясь моей виной, все равно любя,
Над прощальной ночной водой проходя с тобой,
Господь сжалится надо мной и пришлет тебя,
А ты будь со своей звездой, со своей трубой!

Он склоняется надо мной, все еще живой,
Завеща мне на земле до поры молчать,

Над печальной моей страной, над рекой Москвой.
И останется на челе от Него печать.

Потому что бегут ручьи, но лежат снега,
А певец не спешит, дружок, он споет в конце.
Не ужасны ему мечи, жизнь не дорога,
Только дорог ему ожог на его лице.

2 ноября 1987

* *

*

Пока собрание бушевало
И градом сыпались слова,
То в нем вдруг сердце уставало,
То уставала голова.

Но скоро кончится и это,
И газик, властью упоен,
Рванет в карьер от сельсовета
И с ревом ринется в район.

А председатель скинет китель
И за околицу пойдет,
Туда, где ангел-истребитель
По колокольчикам бредет.

Он ничего ему не скажет,
Уйдет по берегу реки,
А председатель тихо ляжет
На голубые васильки.

Всю эту рожь он скоро скосит
И соберет до колоска:

Ведь потребитель хлеба просит,
Он просит мяса, молока.

Везде война идет по свету,
Но тут убьют и без войны,
Убьют тем более, что нету
На председателе вины.

Он часто думает об этом,
Но удивляется и сам,
Что все равно перед портретом
Доверье чувствует к усам.

Так день свой судный председатель
Один проводит на траве,
Не возражая, что создатель
Там обитает в синеве,

Не сомневаясь, что созвездья
Во тьме показывают путь,
Не обижаясь, что возмездье
За все придет когда-нибудь.

апрель 1988

* *

*

Август, твое ночное
Имя черней воды.
Было ли что иное,
Кроме одной беды?

Памяти птиц пропавших
Траурный свет террас.

В нас, до утра не спавших,
Августа серый глаз.

И очертанье круга
Видишь в конце прямой.
И никакого друга,
Кроме себя самой.

Август, в твою дубраву,
В праведный холод фраз.
Ни по какому праву.
Просто в последний раз.

18 июля 1988

* *

*

Мы выбрали воду затем, что она, ладья,
У нас верховодит, она нам велит шутя.
Мы ей повинемся, словно она дитя,
А мы молодые, седые ее дядья.

Шустра она, мачты ее как мечты, но вот
Она обнажает какую-то злую суть.
Она зарывает свою молодую грудь
В холодное олово северных серых вод.

Стремленье нас жжет. Подождет нас страна полей.
Ведь там, за стеною идущей войной волны,
Есть небо синее, чем наши родные льны,
Лишь курс проложить в направлении журавлей.

И мы обращаемся в землю и в ил на дне
Ильменя и Ладоги и многоводных рек,

Мы таем во мгле, но скажите моей стране,
Что ей завещает ваш предок, варяг и грек:

Пусть строит суда, пусть спускает она челны
В холодные волны — мы люди воды и льда!
Лишь тронутся льды, отпускает, как боль, беда
И губы невольно, а вымолвят: — Мы вольны.

17 сентября 1988



Колеблются ветки. Еще мы не видим лика
За хлопьями снега туманного визави.
Но, будто с разбега, от мала и до велика
Мы станем на легкий, накатанный путь любви.

Полозья салазок скользящей в снегу элиты,
И мы, устремляясь вслед — молодые львы,
Мы станем на жуткий, на шаткий, на льдом облитый —
Мы ступим на лед, понимаете ль это вы?

Куда уж тут строже, когда что ни ночь, то стража
Проходит по городу в третьем часу утра.
И — страшная стужа. В четвертом часу утра же
С последнего слога снимается тень пера.

— Вам хочется века с лицом кавалера Глюка,
В облепленном снегом плаще из ветров и птиц,
Но в музыку рока вас всех одевает выюга,
И нет человека — лишь белые слепки лиц.

— Зато ведь навеки, мои молодые друзья,
Без вашей опеки, седые учителя.

За смертные сроки мы, музыки этой внуки,
Заходим, как строки тетрадные за поля.

10 декабря 1988



Он возвращается. Копья его дружин
Словно еловый лес, из огня и дыма.

Мимо встречающих. Взгляд его недвижим.
Верно, он видит гневного херувима.

Он возвращается, но не заводит речь.
Близкие не поймут, почему он плачет.

Рвет он кольчугу с плеч и срывает меч.
Пленный орел, его видя, в решетке скачет.

И, уходя во мглу, он швырнет шелом.
Что он? Был правый бой, он пришел со славой.

Долго в своем углу он сидит с орлом,
Страхивая свой сон с пеленой кровавой.

Им все прощается! Слезы его следя,
Руку ему на плечо не клади: ужели

Не все равно тебе, чистый в них вкус дождя,
Или же сок березы у этой ели.

апрель 1989
Париж



Когда налетает медлительный ветер свободы,
То кто их считает, твои соколиные годы?
— Кто их заедает, считает, глотая слезу. —
Да он уже тает, сокольничий тает внизу!

Мой меченый сокол, твое ли кольцо — обещанье?
Ужели в неволе с сокольничьим было венчанье?
Зачем возвращаться, когда уже ввысь занесло?
Пусть лечащий ветер овеет больное крыло!

И он это знает, но вдруг его взгляд стекленеет,
И он вспоминает, что поле под ним зеленеет.
Так судьбы решают — с презреньем, швыряньем
монет.
Он так же снижается. Так, словно выбора нет.

И жертву свою атакует, срывая досаду.
Ужели он тоже тоскует по дому и саду?
— А может быть, хлеб там? — А может быть, клетка
и плеть.
Зачем возвращается ловчая птица, ответь?

— А вы бы с огнем не играли. — А мы не играем.
Мы, раненый сокол, у вас на руках умираем.
За нами потянется честная, частная быль:
О чистое поле, твоя безучастная пыль.

6 марта 1988

* *

*

Из тех объятий вырваться не смею,
Хоть по наитью чувствую беду.
И как понять, на что Георгий змею,
Что змей ему? А я туда иду.

На пепелище запах иван-чая.
Потом падут высокие снега.
Прощай, я еду. Свидеться не чаю.
О реки жизни! Есть и берега.

1 июля 1989

* *

*

Причал и челн, мы гибнем всей семьей,
Где неприятель строится свиньей,
Ступив ногой на чуткий лед в апреле.

Что чудится над Чудской полыньей?
Что наплывает медленной ладьей?
Все лес и снег — они меня жалели.

Напрасно, лист, ты грезил жить один,
Летающий прочь над морем мертвых льдин,
А их упрек: зачем нам эти были?

Несчастный смерд! Мне родина был бор.
Зачем мне быть — и где мне быть с тех пор
Как нет его? Они его убили.

14 октября 1989



Память отшельников,
Вечно сгорающий кров
Стареньких пчельников
И соколиных дворов.

Рукоплескания —
И барабанная дробь:
Кровопускание
Кончилось! — Кончилась кровь.

Так обескровленно
Падают нынче снега
Ровно на кровли,
На кладбища, рощи, луга.

Снегом, слетающим
С неба, как пух с тополей,
Снегом нетающим,
Лесом со следом аллея,

Прямо по просеке
С призраком дома вдали.
Дальше, — вы спросите. —
Дожили! Еле дошли.

Словно солдатами
В страшный огонь погибать
Были когда-то мы
Брошены там постигать

Все, что не пройдено,
Прямо со школьной скамьи.

Бедная Родина!
Бедное лоно семьи.

январь 1990



А что с тем смельчаком, с тем молодцом?
Вот он в воде лежит к тебе лицом.
Его ручей струями покрывает,
И к телу рак и рыба приплывает.
А там, где за горами, за долами
Сестра и братья сели за столами, —
Не посылай гонца — она сама
В волшебном блюде все это увидит
И на крыльцо, пошатываясь, выйдет.
Осталось сесть, уткнувшись головой,
И ласточкой взлететь береговой.

26 сентября 1990

ПОГОЖЕВА Галина Юрьевна родилась в 1954 г. в Москве. Окончила Московский авиационный институт. Работала инженером, переводчицей. Опубликовала несколько переводов с французского (Сен-Жон Перс, Жак Брель, Франсуа Вийон, Франсуаза Малле-Жорис и др.). Несколько стихотворений напечатано в альманахах "Поэзия" и "Весть".

ИЗ ДЕТСТВА

Ходила кошка по двору.
Белье моталось на ветру.
Тянулся вечер не спеша.
Ничем не мучилась душа.

В беседке пятеро старух
в лото играли (стук стоял)
и ухохатывались...

Вдруг
трофейный заиграл баян
про расставанье.

И принес
чего хотел...

Запомнил я,
как в предвкушенье близких слез
вдохнула сладостно скамья
и обездоленных их всех
преобразила.

И лото,
и лопотание, и смех —
все это вылилось в одно:

посыпались рассказы с мест
про мужиков, про старину,
про недождавшихся невест,
да про детей, да про войну.

Потом затихли.

Ветер смолк...

Потом, отплакавши свое,
смеялись вновь, не видя толк
в минувшем...

Высохло белье.

Лишь два студента невдали
вели какой-то книжный спор
о смысле жизни и любви.
И тетки, слыша разговор,
не понимали, кто там прав,
но подмечали, как стремглав
юнцы судили о любви
и о непройденном пути,
как ничего не потеряв,
хотели все найти...

П Р О Р О К

"Перспектива ясна". —

И ученый,
реалист и материалист,
вывел формулу и обреченно
поглядел на исписанный лист.

По расчетам ученого мужа
человечество мчится к беде.

"Никому и нигде ты не нужен,
человек!

Никому и нигде!" —
так сказал,

и неявное что-то,
что главнее, чем правда сама,
пронеслось...

На мгновенье расчеты
завели его дальше ума.

И триумф его мысли научной,
и прогресс с коммунизмом вдали
показались густеющей тучей
над великою тайной Земли.

ПРОЩАНИЕ

Ты меня ни в чем не убеждай.
Если хочешь ехать — уезжай.

Мы с тобой почти что старики.
О любви трепаться не с руки.

А и то сказать: у нас в крови
нету генов жертвенной любви.

Так что, если можешь — уезжай.
Только ничего не утверждай.

Стрелка жизни — к перемене мест.
Бог не выдаст и свинья не съест!

Лишь душа, что ведьма на метле.
Ей, подруге, на любой земле
тесно в человеческой тюрьме.

...Вот такое, значит, резюме...



Под знаком Солнца и Луны,
По воле высших сил
Я видел радостные сны
И женщину любил.

И все.

А прочие года
Я принимал, как есть.
И думал: это никогда
Не может надоесть.

Но легкий, тихий, властный звук
Я услышал в крови,
Когда сегодня вспомнил вдруг
О прошлом, о любви.

Как будто бы земная твердь
Подала сердцу весть
О том, что есть на свете смерть...

И хорошо, что есть...



Когда он мечтал о свободе
в тиши отвлеченных минут,
она ему виделась вроде
метели, закрученной в жгут,
от пляски которой и дико,
и радостно в снежном дыму...
Любое безумие мига
казалось свободой ему.

.....

О нет, он совсем не напрасно
наматывал дни на года.
Слепая свобода опасна.
Он чувствует это, когда
в воскресное утро мякину

докучливых мыслей жует,
а после идет к магазину
и в очередь смиренно встает.

Там даже в ненастье и выюгу,
не зная вполне почему,
относится каждый друг к другу,
как к равному, как к своему.

Там можно вообще раствориться
в безликости равных своих.
Глядеть и не видеть их лица,
и слышать, не слушая их.

Там всяк со своею заботой,
но все в карусели одной,
достойной российской свободы,
а может, России самой.



А над гнездом вороньим,
чуть слева от гнезда
зажглась потусторонняя,
ничейная звезда.

Признаться, до рождения
звезды

я не просил
у неба снисхождения...

Хватало бранных сил
ходить своей пустынею,
латать свою судьбу,

а тут — сменил гордыню я
на тихую мольбу,
которая касалась
и друга, и врага...

А в небесах осталась
возвышенно-строга
светящаяся в кроне
ничейная звезда.

Там, над гнездом вороньим,
чуть слева от гнезда...



Здесь нет ни памяти, ни чуда,
ни миражей.
"При худе худо, а без худа
еще хуже". —
Так молвит и размытым взором
глядит окрест.
Старуха родом из поморов.
Из древних мест.

В избе на столбчатых опорах
одна живет.
Пред нею бурая Печора
стишает ход.
Она давно челнок старухи
прочь унесла...
Лишь тяжко скрещенные руки,
как два весла.

Хотя на грани погибання
весь белый свет,

здесь нет ни просьб, ни оправдания,
ни страха нет;
и ни воров — что брать отсюда? —
ни сторожей...
...При худе худо, а без худа
еще хуже...

НА ТВЕРСКОМ У МАКДОНАЛЬДА

Вот очередь, где все на равных,
а если кто-то есть из главных,
то надзирающий старлей
и два сержанта у барьера.

Напротив Пушкина у сквера...

Попробуй Запад одолей!
Змея толпы от самой Бронной
течет, и сервис бутербродный
венчает в отношениях сдвиг
по направлению к нам от них.
И выгода, и дело мира...

Здесь раньше находилась "Лира".
Мы приходили в то кафе
и уходили "под шафе",
когда там пиво продавалось...
Кафе, небось, проворовалось
или еще как...

Нынче дом
Макдональда...

Я не о том.
Я о тоске своей железной,
о горькой теме бесполезной,

о бедной родине моей,
где что ни делай, прав не будешь...

Однако тему не остудишь:
вздыхай и уходи скорей
от этой очереди бренной
в тот мир, вовек благословенный
и неустроенный в делах,
что в памяти, как на ладони.

Дай руку, старина, Макдональд!
Торгуй на славу!

Я не враг
американским бутербродам,
а просто я отсюда родом,
и раньше "Лира" здесь была,
и память душу обрела,
как будто вскинула крыла
над обескрыленным народом.



Кладбище. Ворона на сосне.
В каждой стороне — по тишине.
Нынче тихо, ну а как потом,
Никому неведомо о том.

Мертвые — те зрят наверняка
Сквозь кресты, сквозь небо, сквозь века.

Чу! Движенье с левой стороны!
Птичья тень срывается с сосны.

Мертвые — те вместе до конца...

А живые?...

Вновь лицо отца

Проступает из былых годин.

...В общем, слава Богу, не один...

ГРОЗОВСКИЙ Михаил Леонидович родился в 1947 г. в Москве. Начал работать с 16 лет в МГУ им.М.В.Ломоносова: препаратор, лаборант, механик, инженер, старший инженер. В 1965 г. поступил и в 1971 г. окончил вечернее отделение физфака МГУ, кафедру волновых процессов. В 1977 г. поступил в Литературный институт им.М.Горького на заочное отделение, закончил его в 1983 г. Автор двух книг документальной прозы. Член профкома литераторов. Две книжки стихов вышли в 1988 и 1989 гг.

НОВЫЕ КНИГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ

GARTON ASH Timothy. La chaudière. Europe centrale, 1980-1990. Traduit de l'anglais. < Paris>, Gallimard, <1990>.

KARPINSKI Jakub. Dziwna wojna. Paryż, Inst. Literacki, 1990. (Biblioteka "Kultury". Tom 466).

БУДУТ ЕЩЕ ПАРКИ И РЕСТОРАНЫ

Армейская служба Виктора Петухова прошла в болотистых лесах, по уходу за свиньями.

"Будут еще парки и качели, рестораны и карусели!" — часто вечерами в курилке под гитару пел Зыбин из ОПД, и эта песня вызывала у Петухова волнение и грезы.

Демобилизовался он летом. Родина встретила степным зноем и металлургическим дымом. Особых новостей, перемен дома не было. Мать за обедом изложила план ближайших домашних дел: ремонт крыши и забора, привоз угля и дров, работа в огороде... Она говорила, а он уныло смотрел в окно, в жаркий, с детства надоевший огород.

После обеда лег в затемненной газетам и одеялом комнате. Закрыв глаза и увидел леса и свиней.

Проснулся вечером. Мать на керогазе под навесом что-то жарила. Солнце спускалось за Шлаковую гору.

— Никуда не уходи, сейчас гости придут, — сказала мать.

Пришли дядя с тетей и соседи Полищуки. Виктор за столом чувствовал себя скованно, напряженно. Он с детства боялся гостей. При жизни отца в их доме часто бывали гости, и часто шумные застолья, песни и танцы переходили в рукопашные. Вот и сейчас быстро захмелевший дядя порывался петь и танцевать, а затем, набывшись, объявил, что набьет сейчас кому-нибудь морду. Кое-как его успокоили и отправили спать. Полищуки еще остались. Они хвастались своим огородом и дочерью Верой — она у них и по хозяйству все умеет, и в школе училась лучше всех, а сейчас вот готовится поступать в институт по газу, днями и ночами штудирует, никуда не ходит.

— Ну, а ты как, учиться не собираешься? — спросили у Виктора.

— Не знаю... все уже забыл, — ответил он.

— А ты к нам приходи — Вера поможет! — предложила соседка. — Приходи, не бойся, не укусим!

— Конечно, — поддержал сосед.

— Придет, — ответила мать.

Полищуки поблагодарили за стол, пожелали спокойной ночи и ушли.

Ночь была теплая, лунная, пахло фиалками и уборными.

"Ничего, будут еще парки и качели, рестораны и карусели", — подумал демобилизованный.

Утром он съездил в военкомат, после обеда спал, вечером собрался в город, вышел за калитку, постоял и вернулся в дом.

Разделся, лег, о чем-то думал...

Утром мать послала в Гортоп: ждать холодов нечего, нужно вывезти уголь сейчас, бери кокс и антрацит и больше червонца за привоз не давай.

Находился Гортоп за Шлаковой горой, между мазутной речкой и железной дорогой. Там уже было столпотворение. Виктор постоял в стороне под пыльной акацией и вернулся домой.

— Ну что? — спросила мать.

— Не привезли, — ответил он.

После обеда он спал, вечером с матерью поливал огород.

Утром мать снова послала в Гортоп, там уже было столпотворение, демобилизованный постоял под пыльной акацией и вернулся домой.

— Ну что?

— Не привезли...

После обеда занялись крышей. Мать с чердака проволокой указывала щели, Виктор сверху накладывал латки. Работал он невнимательно и все поглядывал в сторону огорода.

— Ну как, пойдешь к Полищукам? — спросила мать вечером.

— Не знаю, — ответил он.

— Иди! Живут они хорошо, дом у них хороший, деньги у них есть, Верка у них одна, по улицам не шляется — что тебе еще нужно?

Виктор надел новый костюм, купленный матерью в магазине уцененных товаров, и отправился к соседям, но до их калитки не дошел, а свернул к автобусной остановке и уехал в город.

Весь вечер он провел в парке, у колеса обозрения, и ему казалось, что весь мир кружится: и цветы, и деревья, и луна, и девушки...

На вопрос матери, был ли он у Полищук и как они его приняли, он ответил, что был и что приняли они его хорошо...

Колесо обозрения кружилось всю ночь, кружился весь мир: девушки, цветы, луна...

Мать разбудила еще раньше, чем в предыдущие два дня. Гортоповская картина оставалась без изменений: толпа у конторы, шум, угрозы, вереница машин, скрежет скрепера, ранняя жара, блеск угольной пыли, запахи креозота и мазута... Впрочем, демобилизованный, заняв очередь и уже потеряв ее, сидел на камне под пыльной акацией и видел совершенно другую картину: вечерний парк, колесо обозрения, звезды, цветы, девушки...

— Ну что? — спросила мать.

— Не привезли, — ответил он.

— А ты почему вчера не ходил к Полищукам? Где был?

Он не ответил, лег в темной комнате и, закрыв глаза, снова увидел колесо обозрения, однако мать довольно грубо растолкала его, сказала, что спать некогда, и послала на крышу. Солнце жгло, мать с чердака проволокой указывала щели, Виктор сверху накладывал латки. Работал он невнимательно, мать

злилась, а он все поглядывал туда, где в мареве покачивался город... Вечером он поехал в парк, где и простоял до закрытия у колеса обозрения, и снова все кружилось в душистых волнах летнего вечера: и колесо, и девушки, и цветы, и луна — весь мир...

Уже дома, в своем поселке, выйдя из автобуса, он увидел поселковых хулиганов, стоявших у забора подстанции. Они подозвали его к себе. Он подошел.

— Дембельнулся?

— Да.

— Что же молчишь? Когда угощать будешь?

Он молчал.

— Ты плохо слышишь? Тебе уши прочистить?

— Завтра, — ответил он.

— Смотри.

Пришел домой.

— Где был? Где шляешься? Может, ты в банду записался? — спросила мать.

Он не ответил и лег. Подумал о хулиганах: что делать? Где взять деньги на угощение? Из угольных? А уголь за что вывозить?

Три вечера, боясь встречи с хулиганами, он никуда не выходил, только стоял у калитки и с тоской думал о колесе обозрения.

Потом пошел к Полищукам.

Ольга Тимофеевна и Петр Иванович ужинали во дворе, приняли они его радушно, усадили за стол, пригласили к столу Веру. Виктор за столом чувствовал себя скованно, напряженно, на все вопросы отвечал односложно. Потом они с Верой пошли на веранду, где она обычно готовилась к экзаменам в институт по газу, и договорились, что и Виктор теперь может приходить сюда вечерами для подготовки к поступлению в этот же институт — Вера поможет ему вспомнить школьную программу...

И теперь он стал вечерами ходить к соседям на веранду. Вера вслух читала школьные учебники и по

ходу чтения объясняла материал, Виктор напряженно вслушивался, кивал головой и ничего не понимал. Он томился. Конечно, близость девушки не могла не волновать его, однако, приходя домой и ложась спать, он думал не о ней, а о колесе обозрения, на котором в волнах летней ночи кружились десятки, сотни, тысячи загадочных, незнакомых девушек, и вместе с ними кружился весь мир: и луна, и звезды, и деревья... Конечно, он не мог не догадываться, что Вера не похожа на своих родителей ни хвастливостью, ни лицемерием, ни цепкостью, что это, наверное, хорошая девушка, но что все это значит? Ничего все это не значит... Нет, не могла эта простая поселковая девушка соперничать с теми грезами о парках и ресторанах, которыми продолжал жить демобилизованный свинарь... Особенно его угнетало то, что когда Вера шла в уборную, которая располагалась рядом с верандой, то он слышал, что она там делала...

Однако он продолжал ходить к соседям. Ольга Тимофеевна не оставляла их долго наедине, она регулярно заходила на веранду: то тарелку с вишнями перед ними поставит, то графин с компотом, то еще что-нибудь.

Все свершилось через пару недель, на веранде, на полу, и Ольга Тимофеевна их застукала на горячем...

Началась подготовка к свадьбе. Виктор устроился слесарем в цех ширпотреба, работал он вяло и для бригады сдельщиков был обузой.

В институт по газу он уже не готовился.

Вечером, накануне свадьбы, он поехал в парк проститься с колесом обозрения. Стоял, смотрел, прощался. Одна из девушек уронила у кассы кошелек, он догнал ее и протянул ей кошелек. Девушка поблагодарила. Это была очень яркая девушка, девушка-цветок, одна из тех, за которых можно жизнь отдать... Виктор был на грани обморока, дрожь била его.

— Что с вами? Вам плохо? — спросила девушка.

— Нет, наоборот... ничего... не могли бы вы со мной сейчас пойти в ресторан? Да, в ресторан! Именно! Деньги у меня есть... угольные деньги... Я вас очень прошу! На один час, на полчаса... я ничего плохого не замышляю... я все объясню!

Девушка согласилась. Они пошли в ближайший ресторан. Кажется, это был "Спартак". Виктор продолжал находиться в полуобморочном состоянии. Неужели все это не во сне, а наяву, не в грезах, а в действительности? Неужели все сбывается: парки и качели, рестораны и карусели?

Вдруг за столик к ним подсел какой-то верзила и стал самыми последними словами поносить девушку. Виктор парализованно сидел, молчал. Девушка вскочила, убежала. Загрохотала музыка. Виктор вышел из ресторана. В ночном небе светилося: "При утечке газа звоните 04".

Он поехал домой. У забора стояли поселковые хулиганы. Он подошел к ним, опустил на колени и сказал:

— Убейте меня!

— И это все?

— Да.

— Но где же разработка? Ведь много лет назад ты составил подробный план, говорил, что все идет хорошо, что это будет большое, хорошо разработанное повествование, так где же все это?

— Не знаю... не получилось... убей меня! — воскликнул рассказчик, опускаясь на колени.

ГАВРИЛОВ Анатолий Николаевич родился в 1946 году. Окончил Литературный институт им.М.Горького. Работает на почте. Небольшим тиражом опубликовал книгу "В преддверии новой жизни". Живет во Владимире.

Дмитрий Веденяпин

ИЗ КНИГИ "ПОКРОВ.
СТИХОТВОРЕНИЯ 1981—1990 гг."

Д Е Т С Т В О

Шагнуть в окно, свалиться со стола,
Открыть сервант и своровать лекарство,
И понимать, что даже пастила
В сто раз важнее любого государства.

Любовь и смерть пока еще одно,
Конец еще не потерял начало,
И умереть не страшно — все равно,
Что с головой залезть под одеяло.

1982

В МЕТРО НА СТАНЦИИ "КУНЦЕВСКАЯ"

На "Кунцевской" на пустыре
Глушь — далека, даль — глуховата;
"Деревья в зимнем серебре",
Как Пушкин выдохнул когда-то,
Плывут вдоль рельс — к дуге дуга —
Словно олени рога...
Просторно, празднично, прозрачно!...
Волшебный мир, счастливый пир!...
В метро как бы в чертоге брачном
И злой, и добрый пассажир
Стоят на звездчатом перроне...
Промчится миг, и сквозь январь,

Сквозь жизнь в сверкающей короне
К ним выйдет милосердный Царь,
Страх превращающий в надежду
(Гудят такси, искрится снег),
В толпе о д и н лишь человек
Одет не в брачную одежду...
Один из всех, что значит "я".
Как жутко жить, любовь моя,
И как чудовищно беспечно
Мы все живем: привет!.. пока!..
Как наша радость коротка!..
Как наша дерзость бесконечна!

1985



Привстав на локте, засветить светильник —
Как сбросить с плеч разорванности бремя.
Два раза в день и сломанный будильник
Показывает правильное время.

Печальный мир вращается, как глобус;
В слепой кружок слипается неделя.
Но свет дает спасительное право:
Спокойно сесть в автобус,
Из портфеля
Достать тетрадь, потом, взглянув направо,
Окинуть перевернутые лица,
Открыть, не глядя, чистую страницу
И вывести, как бы ныряя в реку,
Пробившую бесцветную Тревогу:
Для счастья нужно заново родиться,

А это невозможно человеку,
Но правда в том, что все возможно Богу.

1985

Т О С Т

(Произносится слегка заплетающимся языком)

Пью за всех и каждого в отдельности,
Кто стремится к ясности и цельности.

Кто при повсеместной неуместности
Сохранил в себе остатки честности.

Кто, спасаясь от велеречивости,
Не попался в сети всесмешливости.

Для кого Священное Писание
Не простое словосочетание.

Кто, как воин, принявший сражение,
Превратил призвание в служение.

Кто в чугунном сумраке бездушности
Прозревает трепетность воздушности.

Кто в миражном мареве трехмерности
Различает остров достоверности.

1986



Мои друзья похожи на солдат,
Но только не на тех молодцеватых,
Подтянутых, немного хамоватых
Весельчаков, чей разудалый мат
Так бесподобно меток и богат;

А на таких, которые глядят
Растерянно и чуть подслеповато,
Пилотка им обычно маловата,
Штаны на них, как правило, висят.

На фронте, поднимаясь по приказу
В свой первый бой, они весьма жалки.
Как правило, их убивают сразу;

Чтоб после у подвернутой руки
Наткнулись — так поэт находит фразу —
На чудом уцелевшие очки.

1986



Можно фальшиво страдать, машинально молиться;
Можно подделывать деньги, картину, голос, лицо;
Нелюбимую можно назвать любимой, —
Но нельзя притвориться,
Что мяч опустился в кольцо,
Если он пролетел мимо.

Можно формально работать, случайно жениться;
Утверждать, что высокое — мнимо, низкое — высоко;
Приравнять бессмыслицу к смыслу, хаос —
к порядку, —

Но нельзя притвориться,
Что пуля, попавшая в "молоко",
Попала в десятку.

Можно быть самозванным царем, самочинным
провидцем;
Номинальным ученым без знаний, призванья и прав;
Представляться счастливым, уверенным, мудрым,
богатым,

Но нельзя притвориться,
Что ты чемпион, прибежав,
Семьдесят пятым.

1986



Как будто рай, а приглядишься — ад.
Вокзал, и тот похож на одиночку.
А, между тем, никто не виноват,
Что жизнь умеет съезживаться в точку.

Не можете служить двум господам...
Дремучий лес — не то же, что столица:
Роднит их лишь одно: и там, и там
При случае нетрудно заблудиться.

Метро гудит, как море-океан;
В прострации ты едешь на работу,
Уставившись в окно, как тот баран —
Вот именно — на новые ворота.

И можно на ходу перебирать
(Так в спешке ищут метку на постели):
Буфет, букет, браслет, портплед, кровать,
Отель, мотель, бордель, дуэль, качели,

Трофей, шалфей, хорей, пырей, плебей —
Перечисленье ни конца, ни края...
Продай сокращение дробей,
Увидишь, что внутри — одна вторая.

Идет война, и, сдерживая дрожь,
Солдат уходит в ночь походным шагом...
Так вот, пора понять, под чьим ты флагом,
Кому ты служишь и за что умрешь.

1986



Как повисает каратист в прыжке,
Застыв на моментальной фотографии;
Как замирает человек из мафии,
Прислушиваясь к шороху в замке —

Так цепенеет тот, кто слышит весть,
Порхающую, как ночная бабочка;
Он — в темноте, она горит, как лампочка;
Нет ничего, есть только то, что есть.

Метро, вокзалы, толпы без конца;
Он — в темноте, как в зале ожидания;
Гудение, кружение, сверкание
Земного полдня — ночь для мудреца.

1987

МЕЖДУ АНГАРОЙ И ПОДКАМЕННОЙ ТУНГУСКОЙ

В цилиндре тишины, в кольце колючих чаш,
Над треугольной выцветшей палаткой
Ночь выворачивалась как бы вверх подкладкой,
Как черный плащ.

В просветах ослабевшей темноты,
Приобретая плотность, цвет и вескость,
В зрачке окна, настроенном на резкость,
Обозначались листья и цветы.

Стояло время "слушать" и "молчать"
Под переплеск воды на перекате...,
Стояло время "строить" и "сшивать",
"Любить" и "уклоняться от объятий",

"Быть беглецом": под звездами Стрельца
На веслах уходить от непогоды...,
Стояло время жить внутри кольца
Непуганой свободы.

1989

ВЕДЕНЯПИН Дмитрий Юрьевич родился в 1959 г., живет в Москве, преподает английский язык. Регулярно публикует стихотворные переводы, опубликовано несколько стихотворений ("Новый мир", "Молодые голоса" и т.п.).

ТАМ ВДАЛИ ЗА РЕКОЙ

СЦЕНЫ ИЗ ЭМИГРАНТСКОЙ ЖИЗНИ

Пьеса

в двух актах

четырёх явлениях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Петр Говоруха	}	— сводные братья
Юрий Отрок		
Отец Отрока и отчим Говорухи		
Марианна		— дочь Петра Говорухи
Варфоломей Ананасов		
Бесо Хамелидзе		
Шалва Хамелидзе		— его отец
Лариса		— подруга Петра Говорухи

Примечание: все женские роли может играть одна актриса, а один актер две мужские: Юрия Отрока и Шалвы Хамелидзе.

АКТ ПЕРВЫЙ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Захламленный дворик на окраине Парижа. Справа застекленная терраса беспорядочного строения. От калитки к террасе тянется нечто похожее на заросший чертополохом цветник, посреди которого облезлый садовый стол с четырьмя того же сорта стульями. На веревке, протянутой вдоль дворика развешено разномастное тряпье. Над всем этим, во всю сцену возвышается глухая стена соседнего дома. По ней наискосок тянется размашистое графити по-русски: "Жизнь коротка и обосрана, как детская рубашка!" Откуда-то из глубины строения доносится утесовский голос: "Ночь коротка, спят облака и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука..." Медленно, с протяжным скрипом открывается калитка. Сначала во дворике появляется с трудом вдвигаемый чемодан, а за ним входит Марианна. Войдя, она в изнеможении опускается на чемодан, оглядывается.

Марианна. Париж, е-моё... Будто и не уезжала. Писал, у него ателье, а здесь как в Марьиной роще... *(Прислушивается)*. И музыка соответственная, в стиле "алкашный кайф". *(Встает, с трудом волоча за собой чемодан, пересекает дворик, заглядывает в распахнутую настежь дверь террасы)*. А-у, живой кто-нибудь есть?... А-у!

На покато́й крыше строения бесшумно поднимается фрамуга чердачного окошка. В его проеме высовывается голый до пояса Варфоломей с оркестровой трубой в руках.

Варфоломей *(прижимает трубу к губам, издает протяжный звук)*. Ку-ку, мадам.

Марианна *(несколько отступает вглубь дворика, отыскивая взглядом, откуда исходит голос и звук)*. Я спрашиваю, есть кто живой?

Варфоломей. Как видите.

Марианна. Здравствуйте. Мне Петра Алексеевича Говоруху. Я его дочь Марианна, из Москвы. Он дома?

Варфоломей. Отчасти.

Марианна. В каком смысле?

Варфоломей. В самом натуральном.

Марианна. А если без шуток?

Варфоломей. Какие шутки, мадам!

Марианна. И все же?

Варфоломей. Он в турне.

Марианна. Надолго?

Варфоломей (*помявшись*). Зависит.

Марианна. А если точнее?

Варфоломей. Игра судьбы.

Марианна. А еще точнее?

Варфоломей. У него цикл лекций по двум Америкам и Канаде, включая Фольклендские острова, не исключено, завернет и на Бермудский треугольник.

Марианна. О чем?

Варфоломей. Что "о чем"?

Марианна. Лекции.

Варфоломей. О доблестях, о подвигах, о славе.

Марианна (*устало опускается на садовый стул*). Так и будете дурачиться? Хоть бы поздоровались с дамой.

Варфоломей. Здравствуйте, мадам.

Марианна. Предпочитаете разговаривать сверху вниз?

Варфоломей. Я в ниглиже.

Марианна. Вам что, надеть нечего?

Варфоломей. Для джоггинга, увы, я припозднился, а для смокинга слишком рано.

Марианна. Спускайтесь в чем есть, я переживу.

Варфоломей. Надеюсь на вашу скромность, мадам.

Марианна. Что ж, Марианна Петровна, сбылась ваша голубая мечта, вы в Париже. Как говорится, пустили Дуньку в Европу, а дальше что? Где праздник, который всегда с тобой, где отец с цветами на перроне, где светский раут в честь дорогой гостии? По письмам, так у него здесь чуть не загородный дворец с челядью, а выходит, гнилой сарай с голым остряком в придачу. Стоило ради этого тащиться в такую даль!

После короткой паузы утесовский тенорок сменяется голосом Шульженко: "Синенький скромный платочек, падал с опущенных плеч..." На пороге террасы появляется Варфоломей. Он в офицерской шинели без погон, надетой прямо на голое тело, и в заломленной набекрень офицерской фуражке. В руках у него бутылка и два стакана. Весь следующий разговор происходит, в сопровождении шлягеров сталинских времен.

Варфоломей (*ставит посуду на стол*). Надеюсь, мадам, бокал бургундского вас несколько взбодрит. (*Разливает по стаканам*). Чин-чин, как говорят здешние бусурмане или по-нашему "Со свиданьем".

Марианна (*чокается с ним, пьет и тут же закашливается*). Боже мой, что это!

Варфоломей (*равнодушно*). В переводе на русский — подло-выгодное или, если откровеннее, французская бормотуха.

Марианна. Какая гадость.

Варфоломей. Зато дешево, двенадцать франчей литровый пузырек. К сожалению, мадам, в наших подвалах ничего лучшего мы не держим. Из принципа. Мы патриоты.

Марианна. Отец писал, что у него ателье в одном из престижных пригородов Парижа.

Варфоломей. Я тоже так считаю.

Марианна. Сюда даже таксисты отказывались ехать, еле уговорила.

Варфоломей. Мещанский снобизм.

Марианна. Но почему именно здесь? В этой трущобе? Неужели нельзя было найти что-нибудь попристойнее?

Варфоломей. Тоже из принципа. Ваш отец неисправимый романтик. Знаете, двадцатые годы, Ренэ Клер, "Набережная туманов", это у него в крови. Как всякий вполне состоятельный человек он может позволить себе роскошь выглядеть бедняком.

Марианна. И чем же он все-таки занимается?

Варфоломей. Я же вам сказал, мадам, разговорный жанр: разносторонний конференс, непринужденные шутки, обзор мировых событий, конфиденциальные встречи на высшем уровне, советы молодым хозяйкам.

Марианна. Не надоело?

Варфоломей. Давно и все.

Марианна. Тогда, может быть, поговорим всерьез?

Варфоломей (*задумчиво*). А зачем?

Марианна (*кивает на его одеяние*). Что это за маскарад?

Варфоломей. Это не маскарад, мадам, это — стиль.

Марианна. Так и ходите по Парижу?

Варфоломей. Пусть привыкают.

Марианна (*кивает в сторону террасы*). И музыкальное сопровождение?

Варфоломей. Вы угадали.

Марианна. Тоска по родине?

Варфоломей. По великой эпохе.

Марианна. Вы это серьезно?

Варфоломей. Более чем.

Марианна. Это после всего, что было?

Варфоломей (*отмахиваясь*). Только не рассказывайте мне, мадам, про лагеря и прочее, меня от этой политграмоты наизнанку давно тошнит. Величие не живет по законам морали, у него иные критерии. А вот от нашей с вами не только песен со сказками, анекдотов и тех не останется. (*Разливает по стаканам*). За что выпьем, мадам?

Марианна. Нет уж, продолжайте в одиночку.

Варфоломей. Я не алкаш, в одиночку не пью.

Марианна. Тем лучше. Потому что у меня к вам несколько неотложных вопросов: где я буду жить, как я буду жить, на что я буду жить. Отец писал...

Варфоломей. Мадам, Говоруха человек слова: жить вы будете здесь, как вам заблагорассудится, на жизнь вам оставлено, не то, чтобы состояние, но по миру не пойдете, на хлеб с бормотухой хватит.

Марианна (*кивает на чемодан*). Правда, я на всякий случай кое-что с собой привезла. На черный день пригодится.

Варфоломей. Других дней я вам не обещаю, мадам. (*Встает, с усилием поднимает чемодан*). Что это там у вас?

Марианна (*смущенно*). Мелочь разная, сувениры.

Варфоломей. В слитках?

Марианна. Хохлома, гжель, немного палеха.

Варфоломей. Господи, мадам, неужели вы всерьез полагаете, что Европа спит и видит запастись редкостями нашего народного творчества! Раздарите лучше этот хлам друзьям и знакомым.

Марианна. У меня здесь никого, кроме отца. Не только друзей, но даже случайных знакомых.

Варфоломей. Ну это дело наживное, было бы желание, хотя, честно признаться, удовольствие ниже среднего.

Марианна. Так и живете?

Варфоломей. Так и живем. (*Наливает себе*). Я все-таки выпью с вашего позволения, мадам.

(*Пьет*). Так и живем, если это вообще можно назвать жизнью. По-моему, это скорее времяпровождение в стереокино: все вокруг тебя, а ни за что не ухватишься. Вот и гоняемся за призраками: кто за славой, кто за деньгами, кто за смыслом жизни, тут уж не до кого и не до чего. Мы дети великой смуты, мадам, сорвались с места, как перекаати-поле и разносим эту смуту вместе с собой по всей земле, во все пределы.

Марианна. Обвалилась страна, вот и бегут.

Варфоломей. Не страна обвалилась, душа в нас обвалилась, мадам, таскаем брENNую плоть по свету, а зачем, сами не знаем. (*Пьет*). Не выношу!

Марианна. Кого же?

Варфоломей. Всех и себя в том числе.

Марианна. Этим долго не проживешь.

Варфоломей. Я и не стараюсь.

Марианна. Что, и отец также?

Варфоломей. Говоруха? (*Наливает, пьет, поднимается, говорит в пространство перед собой*). Говоруха не из другого племени, из другого измерения. Как сказал один вполне приличный поэт, его умишком не понять, аршином общим не измерить. Он просто не нашего рода, а еще проще — инопланетянин. Я бы не удивился, если бы он вдруг исчез ни с того ни с сего, вернее, воспарил от нас.

Марианна. По-моему, это уже слишком. Правда, когда он уехал, я была от горшка два вершка, но все же немного помню его, человек как человек, ни хуже, ни лучше других.

Варфоломей (*печально*). Значит, вы знаете совсем другого Говоруху.

Марианна. Вот и расскажите мне о нем.

Варфоломей (*еще печальнее*). Если бы я мог!

Марианна. Попробуйте.

Варфоломей. О чем же мне рассказать вам?

Марианна. Хотя бы о том, как он жил здесь все эти годы?

Варфоломей. Как больная птица.

Марианна (*требовательно*). И все же?

Варфоломей (*закрывает лицо руками*). Как он здесь жил?..

Вокруг них сгущается темнота. Свет вспыхивает теперь внутри террасы, стены которой раздвигаются в стороны. За столом, уставленным случайной снедью и бутылками, друг против друга сидят Говоруха и Отрок.

Говоруха. Ты спрашиваешь, как я жил здесь все эти годы? Честно говоря, как в тайге: чем дальше, тем страшнее.

Отрок. Занимаешься чем-нибудь?

Говоруха. Пью. Читаю. Думаю.

Отрок. Этим можно жить?

Говоруха. Свет не без добрых людей.

Отрок. Не обрыдло?

Говоруха. Можешь предложить другую планету?

Отрок. Я говорил о тебе в посольстве, за тобою грехов не числится, мог бы вернуться.

Говоруха. Зачем?

Отрок. Пить. Читать. Думать.

Говоруха. Овчинка выделки не стоит, этим я могу с таким же успехом заниматься и здесь. Если бы я от совесткой власти бежал, тогда другое дело. Но для меня, Юра, любая власть от Бога, одна чуть лучше, другая чуть хуже, а суть та же самая. Я бежал от тоски, а она меня и здесь нагнала. Незачем, оказывается, и бежать было. От самого себя, видно, не убежишь. Как говорится, все свое ношу с собой.

Отрок. С кем-нибудь водишься? Бываешь где? У нас с тобой, по-моему, тут и родственников полно.

Говоруха. С кем тут видется? Родственников не ищу, не интересно. А в остальном — диссидентская

шпана попеременно с комплексующими неудачниками. Два-три исключения, да и те заняты больше своим делом, им не до междусобойчиков. Был тут один мальчик, в шестьдесят восьмом на Красную площадь вышел, сначала сколько-то там оттянул, а потом сюда подался, не сопляжникам своим чета, голубиная душа, до конца не просыхал, привязался ко мне, вместе пили, тосковали вместе. Признался мне как-то, будто всей-то жизни его и было, что те две минуты на этой вонючей площади, будь она неладна. Однажды просто не проснулся. Хорошая смерть, мне бы такую. Теперь еще один прибился, тоже неприкаянный, может, приживется.

Отрок. Ты всегда жил химерами, старик, оттого и не находишь себе на земле места.

Говоруха. Зато ты нашел и, может быть, даже мое.

Отрок. Как прикажешь понимать?

Говоруха. А вот так и понимай, братец мой сводный, так и понимай. У нас одна мать, мы выросли под одной крышей, на набережной. У нас было общее детство. Только все остальное почему-то разное. Когда отчим мотанул в Греции из своих посольских апартаментов и вынырнул за океаном, я оказался на улице, а ты в Московском университете. Потом я годами таскался по колониям и пересылкам, а ты делал комсомольскую карьеру и пописывал конформистские повестушки, за что даже схлопотал Сталинскую премию. После этого я мыкался по провинциальным газетенкам, а тебя вознесло в литературные боссы. Не вибрируй, не вибрируй, братан, я добра не забываю, ты и вправду сделал мне московскую прописку и даже поспособствовал в столице на первых порах, только случилось это уже в травоядные времена, когда это тебе ничем не грозило.

Отрок (*возмущенно поднимается*). Послушай...

Говоруха. Нет уж, браток, я тебя давно наслушался, теперь ты меня послушай, а то, может быть, больше и говорить не придется. Ты вот в Париж, как к себе домой едешь, а для меня даже Монголия была за семью овировскими печатями.

Отрок. Когда это было!

Говоруха. Ну да, ну да, нынче же у вас свобода, разгул гласности, демократия без берегов. Только на коне опять ты и тебе подобные. Такие, как ты, всегда наверху, а такие, как я, снова у разбитого корыта. Теперь ты сочиняешь душещипательные поделки о комиссарах в пыльных шлемах.

Отрок. Подумай, что ты говоришь, это была трагедия целого поколения!

Говоруха. Трагедия! Это был кровавый фарс. (Горько.) Впрочем, с обеих сторон. Неужели собственная история нас так ничему и не научила! Опять вы толкаете страну в ту же ловушку. Вас хлебом не корми, дай только лишний раз перед толпой покрасоваться. А тебе не приходило в голову, что вы еще хуже прежних окажитесь? Те хотя бы наелись уже, нахапались, а вас накормить, легче похронить, и алчность вашу век не насытишь.

Отрок. Мы хотим народу глаза открыть.

Говоруха. Да он их и не закрывал никогда, оставьте вы его, наконец, в покое от ваших благодеяний, он как-нибудь сам, без вашей помощи разберется, что ему нужно. Все-то русским болтунам неймется народ осчастливить, занялись бы лучше чем-нибудь полезным.

Отрок. Ты хочешь сказать, что я даром ем свой хлеб?

Говоруха. Не даром, а в долг под проценты, которых уже никогда не сможешь уплатить. И если бы ты один! Сколько вас, куда вас гонят?

Отрок. Ты решил меня оскорбить, но это выше твоих возможностей. Ты плялся по свету и осел

наконец здесь не по моей вине, ты сам этого хотел. Я всю жизнь работал как вол, учился, писал, мучился, на мне живого места нет от номенклатурных шавок. Да, я лавировал до поры, с моей биографией мне в те времена надо было выжить, но ни в чьей беде, ни в чьей крови я не повинен!

Говоруха. Еще как! Под розовые байки твои и таких, как ты, людей превращали в крепостную нелюдь, ставили к стенке и гнали в лагеря.

Отрок. Один ты без греха? Посмотри на себя в зеркало.

Говоруха. В том-то я и отличаюсь от тебя и тебе подобных, что всегда помню об этом и не лезу в жертвы режима, в мученики и в отцы русской демократии. У меня хорошая память, дорогой, а хорошая память, разумеется, при наличии хотя бы остатков совести, безупречный палач.

Отрок. Конечно, я карьерист, конформист, а ты Святой Себастьян на российский манер. Увы, дорогой, ты просто заурядный неудачник. Ты никогда ничего не доводил до конца за что бы ни принимался — журналистику, литературу, живопись, ты все бросал на полдороге, потому что не хватало ни силы воли, ни таланта. Оттого ты и злобствуешь теперь.

Говоруха. Чтобы злобствовать, надо быть очень честолюбивым, а я давно излечился от этого. Я жалею тебя и всех вас жалею, тяжело вам будет умирать. Если же говорить обо мне, то моя удача в том, что я выбрался из вашего гнусного болота, иначе оно засосало бы меня вместе с вами. На это у меня силы воли хватило. И дай вам Бог любимым быть другим.

Отрок (с горечью). Это называется, встретились — поговорили.

Говоруха. Я тебя не звал.

Отрок. Зачем же согласился встретиться со мной?

Говоруха. Ты этого хотел.

Отрок (*тихо*). У меня кроме тебя никого не осталось.

Говоруха (*примирительно*). Ладно, хватит. Давай лучше выпьем, брательник.

Отрок. Чего нам теперь делить, жизнь-то уже на излет пошла, Пётро, пора на тот свет собираться.

Говоруха (*разливает по стаканам*). Не спеши, брательник, не спеши, глядишь, еще напоследок настоящий голосок прорежется.

Отрок (*пьет, придвигается к нему, обнимает*). Помнишь в юности, нашу любимую? (*Запевает*). "Там вдали за рекой зажигались огни, в небе ясном заря догорала. Сотня юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала..."

Два голоса сливаются в один, переплетаясь друг с другом. В наступающей темноте высвечены только лица поющих. За сценой, подхватывая песню, возникает набирающий силу хор, пока не заполняет окружающее пространство.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Обстановка первого явления. Слепящий солнечный день. Марианна в джинсах и майке возится в дворовом цветнике, пытаясь привести его в порядок. С террасы доносится стук пишущей машинки. Распахивается калитка. Появляется Бесо, несмотря на жару в костюме и при галстуке. Стремительно пересекает двор. Замечает Марианну, задерживается около нее.

Бесо (*учтиво*). Мадам.

Марианна (*разгибаясь*). Здравствуйте.

Бесо. С вашего позволения, Бесо Хамелидзе. Если хотите, просто Василий, Вася. А вы?

Марианна. А я Марианна Говоруха, дочь Петра Алексеевича. Только вчера из Москвы.

Бесо. Хороший город.

Марианна. Жить можно.

Бесо. Как там у вас в Москве?

Марианна. Жарко.

Бесо. Здесь тоже.

Марианна. Но жить тоже можно.

Бесо. В Париже всегда можно жить.

Марианна. А в Тбилиси?

Бесо. Я из Батуми.

Марианна. Красивый город.

Бесо (*загораясь*). Вы там были?

Марианна. Когда-то отдыхала — в Кобулет.

Бесо (*восторженно*). Мой отец из Кобулет. Мы с вами почти земляки. Какая встреча.

Марианна. В известном смысле все люди — земляки.

Бесо. В гости или насовсем?

Марианна. Вернется отец — решим.

Бесо (*явно смешавшись*). Вернется? (Замечает на пороге террасы Варфоломея в одних галифе, делающего ему предостерегающие жесты и прижимающего палец к губам). Конечно. Может быть... С Говорухой все может быть... Такой человек.

Марианна. Второй день жду, не позвонит даже.

Бесо (*грустно*). Наверное, там телефона нету.

Марианна. Ну телеграмму дал бы.

Бесо. Телеграф тоже не везде бывает.

Марианна. Не в тайге же он, не в пустыне. Может, вы просветите?

Бесо. Говоруха везде бывает... Такой человек.

Марианна. Какой же, наконец?

Бесо. Человек.

Варфоломей (*спешит на выручку*). Привет, старик!
С чем пожаловал?

Бесо. Сам знаешь.

Варфоломей. Не надоело?

Бесо (*вздыхает*). Дело есть дело.

Варфоломей (*Марианне*). Мариша, не в службу, а в дружбу, сослужите за хозяйку, достаньте нам из

запасника бутылец с подсобной посудой, легче будет разговаривать.

Марианна. С утра!

Пожимает плечами. Идет к дому, скрывается за дверями террасы.

Бесо (*восхищенно вслед ей*). Сказка!

Варфоломей. Не возникай, не обломится.

Бесо. Ты плохо знаешь Бесо Хамелидзе, дорогой.

Варфоломей. Зато я хорошо знаю себя.

Бесо. Что ты этим хочешь сказать?

Варфоломей. Буду бить долго и больно.

Бесо. У меня серьезные намерения.

Варфоломей. У меня тоже.

Бесо. Тогда давай по честному: кто — кого.

Варфоломей. Думаешь башлями одолеть?

Бесо. Зачем? Я — нежный.

Варфоломей. Почему нынче нежность?

Бесо. Обижаешь, дорогой, я не жадный. Три года я с Говорухи франка не получил, и ты сколько уж даром живешь, разве я гоню кого, в полицию жалуюсь? Совесть надо иметь, дорогой!

Варфоломей. О совести как-нибудь в другой раз. Давай сначала по делу: с чем пожаловал?

Бесо (*печально*). Будут сносить.

Варфоломей (*растерянно*). Скоро?

Бесо (*еще печальнее*). В мэрии сказали на днях. Хотят строить спортивный центр.

Варфоломей. Другого места не смогли найти?

Бесо. Считают, самый раз.

Варфоломей. Зажрались, один спорт на уме, никакой духовности, хотя бы театр что ли замастырили, не так обидно было бы.

Бесо. Что с них взять, дорогой: басурмане!

Варфоломей. Тебе что, ты богатый, тебе компенсация маячит, а я куда?

Бесо. Иди в мэрию, проси квартиру.

Варфоломей (*встает в позу*). Ананасов никого не просит, ему дают.

Бесо (*философски*). Тогда жди.

Во дворике появляется Марианна с подносом в руках, на котором бутылка и стаканы.

Марианна. Мальчики, за стол.

Бесо (*направляясь к столу*). Из рук такой женщины я готов пить даже бензин!

Варфоломей (*следуя за ним*). Не форсируй событий, чувак, это у тебя впереди.

Бесо (*отмахиваясь от него, разливает вино по стаканам*). Я поднимаю этот тост за прекрасную женщину, которая пригласила нас к этому праздничному столу и великодушно поделила с нами нашу холостяцкую компанию. У нас на Кавказе говорят..

Варфоломей. Кочумай, Бесо, ты не в "Арагви". Давай без тостов, быстрее напьемся. (*Пьет*). Как там теперь в совдепии говорят: с утра выпьешь — целый день свободен.

Марианна (*пригубив из своего стакана*). Господи, вот тебе и Европа, а похмеляются, как у нас, с ранья.

Варфоломей (*хмелея*). Европа, мадам, сама по себе, а мы сами по себе. Написано ведь: Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись.

Бесо (*разливает по стаканам*). Золотые слова! (*Берет руку Марианны в свою, целует*). Сегодня я пью только за вас! (*Пьет*). Богиня!

Марианна (*смеется*). И это только после второй, что же будет дальше, я чувствую, мне пора уходить.

Бесо (*встает перед ней на колени*). Вы хотите омрачить наш праздник?

Варфоломей (*опорожняет стакан*). Будем, как дети, господа, будем, как дети!

Марианна. Это в каком же смысле?

Варфоломей. В смысле второго пузырька, без него нам уже не обойтись. А может быть и без третьего.

Марианна. Только без меня, мальчики, только без меня.

Уходит в дом.

Бесо (*убито*). Обиделась.

Варфоломей. Не бери в голову, давай лучше опять вздрогнем, у меня в запасе еще одна завалялась, а потом я чего-нибудь соображу.

Бесо (*меланхолически*). Я плачу.

Варфоломей. Гуляешь? Не возражаю, хозяин — барин, ты это можешь себе позволить. (Пьет). Ты все можешь себе позволить.

Бесо (*в раздумье*). Все не могу.

Варфоломей. А вот можешь ты мне объяснить, почему я — восходящая звезда европейской мысли, надежда нации и даже, может быть, мировой культуры, в сто раз талантливее, умнее, значительнее тебя кукую в таком дерьме и завтра окажусь на улице, а ты никому не известный чучмек из вшивого Батуми, торгаш и барыга, живешь, как Крез, все на земле для тебя: бабы, рестораны, бо-монд. Где справедливость?

Бесо (*спокойно*). Мое — мое, а твое — твое, вот справедливость, другой не бывает, не ищи.

Варфоломей. Если бы! А на деле получается, что твое — твое и мое — твое, хороша справедливость!

Бесо. Мне твоего даром не надо.

Варфоломей. Как же я презираю тебя, везунчик!

Бесо. Это в тебе вино говорит, протрезвеешь, жалеть будешь. Не умеете вы — русские пить, оттого сами

не живете и другим не даете. Когда только поумнеете? Вот и Говоруха...

Варфоломей. Ты Говоруху не трожь.

Бесо. Зачем шумишь? Говоруха мне, как брат, я с него никогда копейки не взял, с тебя, между прочим, тоже.

Варфоломей. Но и забывать не даешь.

Бесо. Счет дружбы не портит. Мне тоже жить надо.

Варфоломей. Мало тебе.

Бесо. Одни долги.

Варфоломей. Мне бы твои заботы.

Бесо. Возьми, если хочешь.

Варфоломей. Мне своих хватает.

Бесо. Тогда не шуми. Шуметь я сам умею. Я после Афгана спать совсем не могу. Голова шумит, душа шумит, кругом один шум. (Возникая откуда-то издалека, пространство заполняет какофония пушечных, ружейных выстрелов, автоматных очередей, танкового скрежета, самолетного гула, криков, голосов. Сгущается тьма. В световом фокусе только лицо Бесо). Ты знаешь, как пахнет горелая человеческая плоть? Я от этого запаха уже никогда не отделаюсь, он тянется за мной по пятам. Помню, окружили мы душманский кишлак, никаких душманов там, конечно, не было, давно в горы ушли, одно бабье и старичье с ребятишками. Но приказы, сам знаешь, у нас не отменяются: снести с лица земли. И пошли мы на ватных ногах с огнеметами наперевес крушить этот муравейник штурмом. Палили все подряд, без разбора, разбирать было некогда, боялись, самим в тыл ударят, от нас бы тогда одна пыль осталась. Помню, ввалился в одну саклю, а там семья мал-мала меньше, сбились в кучу, смотрят на меня стеклянными глазами, будто уже и неживые совсем. Хотя бы шелохнулся кто или вскрикнул, у меня бы наверняка рука не дрогнула, я бы нажал на спуск. Но

тут, чувствую, не могу, пальцы не слушаются, не могу палить. Выскочил я оттуда и только снаружи для видимости прошелся струей по крыше. Не знаю, может и выбрались, уцелели. Но тот запах над кишлаком с тех пор будто в глотку мне въелся, дышать не дает. Думал, вернусь домой, забуду, а дома, оказалось, тоже жгут и режут друг друга... Скажи мне, брат мой Варфоломей, чего мы — люди, не поделим никак? Чего нам делить?

Варфоломей. Бутылку.

Бесо. Этим не шутят, Варфоломей.

Варфоломей. Тогда женщину.

Бесо. Женщину нельзя поделить.

Варфоломей. Что ты предлагаешь?

Бесо. Я полюбил ее, Варфоломей.

Варфоломей. Допустим. Что из этого следует?

Бесо. Отступись.

Варфоломей. Ты слишком многого ждешь от меня.

Бесо. Я — упорный.

Варфоломей. Не хвались, идучи на рать...

Бесо. С тобой она умрет с голоду.

Варфоломей. А с тобой со скуки.

Бесо. Я веселый.

Варфоломей. Этого для нее, по-моему, мало.

Бесо. Я буду стараться. Бесо Хамелидзе своего добьется.

Варфоломей. Благое намерение, если бы это зависело не от Бога, а от тебя.

Бесо. Если бы сейчас здесь был Говорука, он бы нас рассудил.

Варфоломей. Говорука уже рассудил.

Бесо. Ты говорил с ним об этом?

Варфоломей. Он со мной.

Бесо (*упавшим голосом*). Опять шутишь.

Варфоломей (*вынимает из кармана галифе сложенный вчетверо лист бумаги, разворачивает его, протягивает собеседнику*). На, читай...

Спускается тьма. Раздвигаются стены террасы. Перед нами в высоком кресле сидит Говоруха. Он в бухарском халате и тюбетейке.

Говоруха (*в пространство перед собой*). Что ж, старичок, пора подвести итоги или, как пелось в знаменитом шлягере моей юности: "Час пришел расстаться, все труды-заботы на тебя ложатся". И хотя мы с тобой далеко не два сокола ясных, мы славно прожили под одной крышей. В нашей с тобой дружбе, как у зебры, были и черные, и светлые полосы, но все же, в конечном счете, в ней было больше хорошего, чем плохого. Может быть, ты думаешь иначе, но это уже дело твоей совести. Мы вместе пили, вместе похмелялись, молчали и разговаривали, тосковали и радовались, а это, наверное, и называется общей судьбой. Я поверил тебе сразу, как только увидел тебя, ты нашего племени, племени гордых неудачников, из тех, кто идет наперекор обстоятельствам, поэтому для меня неважно, достигнешь ли ты чего-нибудь в жизни или нет, ты проживешь и умрешь человеком, а это гораздо важнее. Теперь по делу: скоро ко мне должна приехать дочь, я наверняка уже не дождусь ее. Ты скажешь, что это очередной делирий, сивушная блажь, но на этот раз, поверь мне, я действительно на исходе. Выражаясь высоким слогом, слишком уж корежит меня великая тоска и смертельное томление духа. Не знаю, вернется ли Марианна в Россию или захочет остаться здесь, чего бы я ей, честно говоря, не пожелал. Но если не вернется, не оставь ее, будь ей названным братом, а может быть, прости за расхожий штамп, еще сильнее. Во всяком случае, если бы это случилось, я был бы спокоен за ее судьбу. Я, конечно, почти не знаю ее, я запомнил ее совсем маленькой девочкой, но судя по письмам, она совсем не глупа, да ты и сам разберешься, чем и кем она стала. Будь счастлив,

старичок, не жалей ни о чем. На этом свете вообще не о чем жалеть. А на прощание опять две цитаты. Одна — абсолютно мудая: "Я любил тебя, будь бдителен". Вторая поумнее: "Прости, прощай и помни обо мне!" Но, если честнее, то забудь, так будет лучше и для меня, и для тебя. Твой Петр Говоруха. (*Стонет*). Боже мой, когда только все это кончится!

Появляется Лариса.

Лариса. Ты меня звал?

Говоруха. Нет, но ты кстати.

Лариса. Это так редко теперь бывает.

Говоруха (*подает ей конверт*). Вот... Отдайшь это Варфоломею... Только не сейчас... После.

Лариса. Что значит "после"?

Говоруха. Мы уже с тобой говорили об этом.

Лариса. Ты не говорил, я — не слышала. Я не хочу об этом слышать. Понимаешь, не хочу!

Говоруха. Старуха, научись смотреть правде в глаза, легче жить будет и еще легче умирать.

Лариса. Я не хочу легче!

Говоруха. Не надо обманывать ни себя, ни меня.

Лариса. Лучше обмани.

Говоруха. Тебе надо подготовиться.

Лариса. Неужели ты до сих пор не понял, что я никогда не буду готова к этому. Я твоя тень. Без тебя меня нет. До тебя у меня и жизни никакой не было: жила — не жила, дышала — не дышала, видела — не видела, слушала — не слышала, одно название — по земле ходила. Мне даже спать с тобой не обязательно, лишь бы рядом быть. Прислужой, сторожем, собакой. Все вынесу и ни о чем не пожалею. Только бы ты был.

Говоруха. Прости, мне трудно говорить об этих предметах, боюсь сказать какую-нибудь пошлость

или показаться смешным. Я, видно, слишком искренен жизнью, чтобы нормальными человеческими словами говорить о своем отношении к женщине. Но сегодня я позволю себе исключение, оно, думаю, окажется и моим последним исключением. То, что ты неожиданно оказалась рядом со мной, это мой единственный выигрышный билет в моей жизненной лотерее. Я тебе за многое благодарен и многим обязан, но, увы, мне нечем расплатиться с тобой за твой подарок. Живи, Лара, назло всем и на радость Говорухе, Господь оплатит тебе за это... А теперь налей-ка мне, что-то мутит.

Лариса (*поспешно протягивает ему стакан*). Выпьешь и все пройдет. Это у тебя нервы.

Говоруха (*пьет*). Может быть, ты права. Только нет... Холодеет, глохнет душа во мне... Вот сейчас уже лучше... Правда, голова кружится... По-моему, кто-то стучит?.. Кто бы это к нам среди ночи?.. Хотя я привык, все ходят, когда хотят, пойдешь открой.

Лариса (*не трогаясь с места*). Наверное, Варфоломей вернулся.

Говоруха (*уже явно в бреду*). Зачем столько света?.. Глаза режет.. (*Всматривается в Ларису*). Галина, какими судьбами?

Лариса (*подыгрывает ему*). Вот приехала посмотреть, как ты живешь, прямо скажем, не разбогател.

Говоруха. Как всегда, ни лучше, ни хуже.

Лариса. А я думала, ты остепенился, взялся за ум.

Говоруха. Зачем?

Лариса. Пора, мой друг, пора.

Говоруха. Я никуда не спешу.

Лариса. Ты никогда никуда не спешил, поэтому мы и не понимали друг друга. Что называется, без радости была любовь...

Говоруха. И слава Богу.

Лариса. Неужели ни капельки не жалеешь?

Говоруха. О чем? Ты всю жизнь меняла мужей и любовников, все искала, на чьем горбу тебе въехать в высший свет, но почему-то обязательно оставалась у разбитого корыта. Каждый раз ты нарывалась на неудачников. Я был только одним из них, не более того.

Лариса. Ты испортил мне жизнь.

Говоруха. Не говори банальностей.

Лариса. Ты бросил меня с ребенком.

Говоруха. У меня не было другого выхода.

Лариса. Хотя бы предупредил.

Говоруха. Чтобы ты тут же на меня настучала?

Лариса. За кого ты меня принимаешь?

Говоруха. За то, что ты есть на самом деле.

Лариса. Если бы ты знал, как я тебя ненавижу!

Говоруха. Знаю, но это ничего не меняет.

Лариса. Будь ты проклят!

Говоруха. Ты мне надоела... Сгинь... А теперь слишком темно... Прибавь огня, Лара... И еще — выпить.

Лариса (*наливает, подает*). Попробуй заснуть. Во сне все проходит. А я посижу возле тебя.

Говоруха (*пьет, откидывается на спинку кресла*). Попробую. А ты заведи мне чего-нибудь... Только никакого модерна!

Лариса выходит, и вскоре из глубины дома доносится мелодия танго "Аргентина". Свет на террасе гаснет. Снова слегка высвечивается дворик. Силуэты Бесо и Варфоломея переплетаются в экзотическом танце. В их ритмическом кружении чувствуется страсть, ревность, отчаянье. На пороге дома в световом пятне возникает фигура Ларисы.

Лариса (*почти кричит в темноту перед собой*).
Господи, я не могу, я не хочу без него жить!

Танго заглушает ее голос.

Занавес

АКТ ВТОРОЙ

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Обстановка первого явления. Только над крышей соседнего дома появляется башенный кран с "бабой", подвешенной на стреле. Во дворе Марианна развешивает белье. На пороге калитки появляется посыльный с огромной корзиной цветов. Ставит ее на землю и тут же исчезает. Марианна с любопытством направляется к выходу. Поднимает корзину, несет ее через дворик, ставит на стол. Вынимает из цветов сопроводительную записку, читает.

Марианна (*насмешливо*). Неплохое начало. Можно себе представить, что будет дальше. Марианна, лови свое счастье.

В проеме калитки возникает фигура Шалвы. Его будто вычленили из сельского пейзажа Грузии. Он в национальной одежде, с курдюками и зурной через плечо, в руках курджин со снедью.

Шалва (*торжественно*). Гамарджоба!.. Здравствуй-те, значит. (*Направляется к Марианне*). Я здесь у сына в гостях. Он прислал меня сюда с запасом для маленького стола в честь женщины, которую он полюбил.

Марианна. А она его?

Шалва. Об этом я тоже пришел узнать.

Марианна. Но я видела его всего один раз в жизни!

Шалва. Он страдает.

Марианна. Мне трудно ему помочь.

Шалва (*опускает на землю свою ношу, присаживается у стола*). Поверь мне, дочка, мой сын хороший мальчик. Он инженер по кораблям, умный, как сто мудрецов, красавец, мухи не обидит. Его в Аджарии все знали и все любили. Женщины по нему сходили с ума. Одна из-за него даже спичками травилась, врачи еле откачали. Из Москвы профессор прилетал. Он у меня единственный, утешение моей старости. Думал, наш род про-

должит, а он в тридцать лет без жены. Это у него после Афгана. Вернулся домой, другой человек совсем: по ночам не спит, днем пьет, молчит, слова из него клещами не вытянешь. Потом уехать задумал. Не отпустишь, говорит, сопьюсь. Сколько я шишек обошел с подарками, пока его евреем записали, чтобы визу получить. А что делать отцу, скажи мне, когда родное дитя на глазах гибнет. Я уговаривал его, плакал, на коленях стоял, не уговорил. Не могу, говорит, здесь больше жить, у меня земля под ногами горит, воздух душит. Ладно, поезжай, говорю, посмотри свет, может, успокоишься, обратно потянет. Как грузину без родины, никак нельзя, пусть, думаю, перебесится. Мне скрывать, дочка, нечего. Я всю жизнь тяжело и много работал. У меня в Кобулети сад, мандарины, скот, птица разная. Денег не копил, чего на эти бумажки сделаешь? Камушки покупал, десятки царские, побрякушки всякие. Все ему на дорогу отдал. В чужом краю без денег не проживешь. Вот приехал погостить, сердце разрывается. Накупил он тут халуп разных, своих же и поселил, а никто не платит. Кофейню открыл, всем в долг отпускает, один убыток. А пьет еще сильнее. Вот и скажи мне, дочка, как мне родного сына спасать? Хорошая жена ему нужна, достойная женщина, никак нельзя ему больше без женщины.

Марианна. Какое же продолжение рода, я — русская.

Шалва. Какая разница! Какое мне дело, еврейка, русская, китайка, француженка, лишь бы достойная женщина. Это там в Тбилиси ученые глупцы с ума сходят, а для нас — простых людей — любой народ такие же люди, как мы. Все на одной земле живем, а род через мужчину продолжается. Собери-ка, дочка, стол, посмотри, какая ты хозяйка.

Марианна. А гости?

Шалва. Был бы стол, гости будут.

Марианна. Попробую, хотя не обещаю.

Уходит в дом. На пороге террасы появляется Варфоломей.

Варфоломей. Здорово, дед! Откуда дровишки?

Шалва. Какие дрова, дорогой? Где ты видишь дрова?

Варфоломей. В смысле влаги и закуси.

Шалва. Все свое, со своего участка, покупного не держим. Заходи, первым гостем будешь.

Варфоломей. А ты откуда, дед?

Шалва. Из Кобулет. Слышал?

Варфоломей. А чего в Париже забыл?

Шалва. К сыну в гости приехал. Бесо Хамелидзе зовут. Слышал? Ты в его доме живешь.

Варфоломей. Улавливаю.

Шалва. Умный.

Варфоломей. По разному говорят.

Шалва. А ты не слушай. Ты меня слушай. Я человека сразу вижу.

Варфоломей. Экстрасенс что ли?

Шалва. Я ученых слов мало знаю. Я — человек простой, мое дело — земля. Понимаешь?

Варфоломей. Я, в общем-то, по той же части, только, так сказать, теоретически, в философском смысле.

Шалва. Ты со мной попроще, сынок.

Варфоломей. Ну, в смысле земли. Размышляю над ее будущим. Осмысля, делаю выводы.

Шалва. Тоже дело.

Варфоломей. Поздравляю тебя, мой друг, Варфоломей, это уже признание. Глас народа, глас Божий.

Шалва. Значит, тебя Варфоломеем зовут? Совсем грузинское имя. А меня Шалва. Шалва Хамелидзе.

Шалва Виссарионович. Для тебя — просто дядя

Шалва. Зови как хочешь.

Варфоломей. Вот уже у меня и дядя появился. Дальше — больше, глядишь, скоро большой родней обзаведусь.
Шалва. Не пожалеешь.
Варфоломей. Будем посмотреть.

В течение их разговора Марианна бежит из дома в дом, хлопоча вокруг стола. Во дворе появляется Бесо. Он ослепительно элегантен: клубный пиджак, белые брюки, шелковый шарф вокруг шеи. В руках букет роз.

Бесо. Мир честной компании! (*Пересекает двор, на ходу перехватывает Марианну, вручает ей букет и целует руку*). Я вижу, вы уже познакомились?

Шалва. Как родные.

Бесо. Это, отец, большой философ, скоро его узнает весь мир. Такой это человек.

Шалва. Вижу орла по полету.

Бесо (*с гордостью*). Он мой друг.

Шалва. Дай тебе Бог, сынок, таких друзей до конца жизни.

Бесо. Других не держу, отец.

Шалва. Правильно делаешь.

Выходит Марианна, уже принаряженная. Направляется к столу.

Марианна. Не обессудьте, накрыла как могла, на скорую руку.

Шалва. Чтоб мне так перед смертью накрыли.

Бесо (*восхищенно*). Натюрморт!

Варфоломей. Есть разгуляться где на воле.

Начинается священнодействие над столом: разливается по стаканам вино из бурдюков, разбираются по тарелкам закуски, позванивают ножи и вилки.

Шалва (*поднимается*). В этом доме я только гость, но по праву старшинства все же разрешил себе поднять первый тост. Я поднимаю его за ту, кото-

рая украсила сегодня наш скромный стол своим приятным для всех нас присутствием. Дай Бог тебе, дочка, счастья, богатства, здоровья и хорошего мужа, друга жизни и опоры семьи. У нас на Кавказе говорят... Варфоломей. Про Кавказ мы еще слушаем, питье стынет.

Шалва. Нехорошо, сынок, перебивать стариков, но если ты так спешишь, начинай с Богом.

Бесо (*глядя на Марианну все с тем же восхищением*). За вас!

Варфоломей. Хорошо сидим, господа, прямо замечательно сидим.

Бесо. А теперь я хочу выпить за этот дом. Этот дом всегда был для людей, для наших земляков добрым приютом в трудные моменты жизни. Итак, я пью за этот дом.

Шалва. Пусть всегда будет таким!

Бесо (*потупив глаза*). К сожалению, ему недолго осталось жить. Его скоро снесут.

Марианна. Как снесут?

Бесо (*разводит руками*). Мэрия решила. Мэрия — власть. Хочешь не хочешь все равно снесут.

Марианна (*растерянно*). А как же я?

Бесо. Не волнуйтесь, мадам, дочь Говорухи — моя сестра. Вам не о чем беспокоиться.

Шалва (*Марианне*). Я же говорил тебе, дочка, у него золотое сердце.

Варфоломей (*тихо, обескураженно*). Один ноль в твою пользу, чучмек, только еще не вечер.

Бесо. Пейте, друзья, веселитесь, не думайте о плохом, Бесо Хамелидзе все берет на себя.

Все пьют.

Шалва (*снова Марианне*). У него душа мягкая как воск и твердая как сталь, он будет тебе хорошим мужем, клянусь Богом.

Из дома слышен телефонный звонок.

Варфоломей (озабоченно). Вполне возможно, что это Говоруха. (Марианне). Если это он, я вас позову.

Скрывается в доме.

Шалва. Без музыки, дети мои, застолье — не застолье! *(Берет в руки зурну, принимается наигрывать старинную грузинскую мелодию)*. Танцуйте, дети мои, веселитесь!

Бесо галантно подает Марианне руку, и они затевают плавный танец под меланхолические звуки зурны.

Бесо *(в танце)*. Выходите за меня замуж, Марианна. Марианна. С места в карьер, буря и натиск, штурм Зимнего. Какой вы, однако, нетерпеливый, Бесо. Бесо. Смеетесь?

Марианна. А если я не собираюсь выходить замуж?

Бесо. Я буду любить вас, Марианна, сильно любить, Бесо Хамелидзе слов на ветер не бросает.

Марианна. Для этого не обязательно жениться.

Бесо. У меня много женщин, но мне нужны только вы. После вас я не желаю никаких женщин.

Марианна. Разве из других нельзя выбрать?

Бесо. Я уже выбрал.

Марианна. Без моего согласия?

Бесо. Я прошу вашей руки.

Марианна. Вот так сразу, даже почти не зная меня.

Бесо. Я не хочу ждать.

Марианна. Я не готова к этому.

Бесо. Но вы оставляете мне надежду?

Марианна. Зачем же так много?

Бесо. Я буду ждать, Марианна, я терпеливый.

Марианна. Вы смешной.

Бесо. Я буду таким, как вы хотите, я буду делать все, что вы хотите, я обещаю вам, что вы хотите.

Марианна. А что вы можете предложить конкретнее?

Бесо (смелея). Я покажу вам Париж.

Марианна. Вот это уже серьезнее.

Бесо. Поедемте.

Марианна. Прямо сейчас?

Бесо. А что вас задерживает?

Марианна. Вы.

Бесо (воодушевляясь). Тогда, вперед, сейчас же! Уверю вас, такого вы еще не видели!

Увлекает ее за собой. Они уходят, взявшись за руки, а вслед им продолжает звучать грузинская мелодия. Темнеет. Снова перед нами открывается терраса. Говоруха дремлет в кресле. Лариса сидит около него на корточках, прижимаясь щекой к его ладони, свисающей с подлокотника кресла. Входит Варфоломей.

Варфоломей. Спит?

Лариса (прикладывает палец к губам). Тсс...

Варфоломей (шепотом). Бредил?

Лариса. С родными разговаривет.

Варфоломей. Это горячка, Лара, его надо в больницу. Это может плохо кончиться, очень плохо.

Лариса. Он мне этого никогда не простил бы.

Варфоломей. Но ведь он в конце концов не выдержит, у любого организма есть предел сопротивления.

Лариса (с горячностью). Выдержит. Должен выдерживать. Ведь не в первый раз. Покорежит-покорежит и — отпустит.

Варфоломей (со вздохом). Решать тебе.

Лариса. Подожду, может, пронесет.

Говоруха (открывает глаза, в упор смотрит на Ларису). Что, мамочка, и тебя в Париж потянуло?

Лариса (сразу же втягиваясь в игру). Ты же знаешь, у меня здесь родная сестра.

Говоруха. Слетаетесь, коршуны, после долгой разлуки, вместе заморскую пададь клевать.

Лариса. Мы — дворяне, держимся друг друга, честь свою родовую всегда бережем. На том и выстояли.

Говоруха (*издевательски*). Это вы-то! Ни тебе, мамуся, говорить, ни мне слушать. Это так-то вы берегли дворянскую честь, что половина из вас к большевикам в услужение пошла, а такие, как ты, прямо в койки к чекистам. Эти байки про свою дворянскую честь вы командировочным мудозвоном рассказывайте. Послушать вас, одни жиды да чучмеки погубили Россию, а императора вместе с детишками к стенке поставили. А кто научил, помнить не хотите. А вы, белая кость, и научили: от Пестеля до Коллонтай и Ленина. На здешних из вашей шайки я тоже, кстати, насмотрелся: ни ума, ни сердца, одной спесью живут, а до страны отцов им никакого дела нет, ничего не видят, ничего не читают. Просрали Россию, теперь ждут, когда их на Белом коне, под колокольный звон править в Кремль позовут, да вшивой своей генеалогией занимаются, кто от кого пошел. А пошли вы все от крапивы, крапивное ваше семя! И во мне ваша порчь сидит.

Лариса. Твой отец был простой казак.

Говоруха. Это когда он два ромба надел, тебя в народ потянуло, но потом большой чекист показался тебе более надежной партией, правда, ты и тут обмисхурилась, сбежал от тебя чекист, променял советскую власть на американскую, видно, у нее пироги оказались слаще.

Лариса. Разве ты не знаешь, сколько мне пришлось пережить из-за этого. Ты мог хотя бы посочувствовать матери.

Говоруха. Ты, правда, никогда не интересовалась, сколько пришлось пережить твоему сыну. За все

свои тюремные годы я от тебя не только передачи, письма единого не получил.

Лариса. Я не знала, где ты.

Говоруха. Захотела, нашла бы, связей тебе не занимать. Весь московский бомонд у тебя на привязи.

Лариса. Я сама висела на волоске.

Говоруха. Видно, крепок был тот волосок, что тебя даже из правительственного дома не выселили.

Лариса. Наверное, я зря сюда пришла.

Говоруха. Не скрою, зря.

Лариса. Бог тебе судья, Петр.

Говоруха. Ты только Бога сюда не впутывай. Он здесь ни при чем. О душе подумай, помирать скоро.

Лариса. Прощай, Петр.

Говоруха. Прощаю. Но если уж уверовала, не за меня, за себя молись. Глядишь, легче станет...

Снова впадает в забытие.

Варфоломей. Не давай ему больше пить.

Лариса. Не могу смотреть, как он мучается.

Варфоломей. Еще хуже будет.

Лариса. И все равно не могу.

Варфоломей. Добиваешь его своими руками.

Лариса. Умом понимаю, глаза не выносят.

Варфоломей. Подумай, что ты без него будешь делать?

Лариса (*теряясь*). Без него?.. Ты же знаешь, что мне без него не жить. До него я и представить себе не могла, что так может быть. Чуть не со школы шла через мужиков, как сквозь строй, только в голове гудело. Были у меня всякие: хорошие и плохие или ни то ни се, но чтобы привязаться к кому и полюбить, того и в мыслях не держала. Жила по присказке: день да мой. У "Метрополя"

тоже покружилась, да и у трех вокзалов не брезговала, и не ради денег, деньги могла бы и по-другому заработать, внешность у меня заметная, просто из спортивного интереса: каков будет следующий. Когда дуриком за француза выскочила, думала, все — завязываю, начинаю новую жизнь: семья, дети, работа. И француз, слава Богу, стоящий попался: не жадный, ласковый, трудяга. Но вот встретила я Говоруху в попутной компании и все прахом пошло. Даже не знаю, чем он меня околдовал, вроде и двух слов толком другу другу не сказали, но в тот вечер пошла за ним прямо из этой компании, пошла, как слепая, наугад, но до сих пор ни о чем не жалею. Да что там жалею — судьбу благодарю...

Говоруха открывает глаза. Пристально всматривается в Варфоломея.

Говоруха. А это кто? Ба, Господи, кого я вижу, сам не рад. Напоследок дорогого отчима увидеть сподобило! Вы что, на мои похороны что ли съезжаетесь? Так это, прямо скажем, много чести. Даже слишком много. Сидели бы дома, старость свою холили.

Варфоломей (*за гостя*). Я прилетел, Петр, для серьезного разговора. Скорее не разговора — предложения.

Говоруха. Еще не легче.

Варфоломей. Я знаю, ты в полном ауте, я хочу помочь тебе.

Говоруха. По-моему, ты несколько припоздал.

Варфоломей. Лучше поздно, чем никогда. У меня есть для тебя работа. Если ты согласишься, ты спасен.

Говоруха. Я уже ни на что не способен.

Варфоломей. Возьми себя в руки, Петр.

Говоруха. Чем же ты решил признаться мне?

Варфоломей. Пойдешь на русское радио? Будешь иметь хорошие деньги и обеспеченное будущее.

Говоруха. Занятно.

Варфоломей. Решай.

Говоруха. И это в твоих силах?

Варфоломей. В моих силах многое.

Говоруха. Чудны дела твои, Господи! Оказывается, чтобы иметь влияние в сферах свободного Запада, мне надо было работать в Чека или в Цека! Выходит, вы везде свои, а я везде чужой, потому что не полез в ваши паучьи игры? *

Варфоломей. У нас и большая степень риска.

Говоруха. Резонно. Но я не хочу вместе с вами ни там ни тут. Это не по моей части. Чума на оба ваших дома!

Варфоломей. Это твое последнее слово?

Говоруха. Ты угадал. Если вообще не самое последнее. *(Почти в исступлении)*. Неужели ты не видишь, что я умираю! Понимаешь ты, чекистский шакал, умираю! *(Откидывается на спинку кресла)*. Кружится голова... Не держит меня земля... Дайте выпить!

Лариса *(стоя перед ним на коленях, протягивает ему стакан)*. Ты выберешься, Говоруха, ты выберешься и на этот раз, я уверена... Пей, моя радость, облегчи сердце.

Варфоломей. Такого еще с ним не было.

Говоруха *(пьет)*. Вот так... Странно... Холодеют ноги... И руки тоже... И там, внутри, холодно... Только страха нет... Нет страха... Если это конец, то это не так уже страшно... Только холодно... Очень холодно... Накройте меня чем-нибудь... Темно... Очень темно... Совсем темно...

Подбородок его резко утыкается в грудь, голова откидывается к плечу.

Лариса. Заснул.

Варфоломей (*берет руку Говорухи в свою, некоторое время молчит*). Нет, Лариса, он просто умер.

Лариса (*как бы вслушивается в сказанное, потом встает, обходит Говоруху сзади, берет его голову в руки, прижимает к груди*). Баю-баюшки-баю, баю-баюшки-баю...

Занавес.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Обстановка первого явления. Только "баба", подвешенная на стреле башенного крана, уже почти касается крыши соседнего дома. Во дворик входит Марианна, несколько поблекшая и явно навеселе. Лениво направляется к дому. На пороге террасы возникает Варфоломей.

Варфоломей. Ты с ним была?

Марианна. Что за тон, месье?

Варфоломей. Когда спрашивают, отвечай. Была?

Марианна. Не имеет значения.

Варфоломей. Для тебя, может быть, но я хочу знать.

Марианна. Не кажется ли вам, месье, что это несколько слишком, вмешиваться в личную жизнь малознакомой женщины?

Варфоломей. И тем не менее.

Марианна. С какой стати?

Варфоломей (*замахивается на нее, но ударить не решается*). Потаскуха! Панельная падаль!

Марианна (*разглядывает его, как бы впервые по-настоящему узнавая*). По какому праву?

Варфоломей. У меня есть право.

Марианна. Вы мне не муж и не отец.

Варфоломей. Я буду твоим мужем.

Марианна *(со вздохом)*. Еще один. Вы сумасшедший.

Варфоломей. Тоже мне открытие!

Марианна. Вы все здесь сумасшедшие. Вас будто нарочно выпускают, чтобы мир дурачить.

Варфоломей. Сумасшедшие все: и те, кого выпускают, и те, кто выпускает. Уверяю тебя, ты сама не составляешь исключения.

Марианна. Нет уж, благодарю покорно! Мне бы только с отцом встретиться, увидеть и услышать. Дня лишнего не останусь. И домой, чтобы забыть обо всех вас, как о страшном сне.

Варфоломей. Отца еще надо дожидаться.

Марианна. Не дождусь, тоже невелика потеря, не больно-то он меня вниманием баловал.

Варфоломей. Не говори так о Говорухе.

Марианна. У вас здесь прямо культ какой-то вокруг него.

Варфоломей. Он сделал нас людьми.

Марианна. Интересно, кем вы были до этого?

Варфоломей. Как и ты, существами.

Марианна. Обо мне прошу не беспокоиться, но что будете вы делать без него?

Варфоломей. Мне это еще трудно представить, но прежними мы уже никогда не станем.

Марианна. Ну, это уже ваши проблемы, а я здесь ни при чем. живите как знаете, а меня оставьте в покое.

Варфоломей. А если тебе придется жить среди нас?

Марианна. Никогда, ни за какие самые сладкие коврижки. Захотела посмотреть Париж — посмотрела. *(Усмехается)*. Как говорится, в полном объеме, если не больше, чем нужно.

Варфоломей *(упавшим голосом)*. Так, значит, ты все-таки была с ним?

Марианна. Париж — так уж до конца.

Варфоломей *(печально и просто)*. Я люблю тебя, Марианна.

Марианна. Час от часу не легче. *(Отстраняет его к двери)*. Ладно, у нас еще будет время об этом поговорить, а сейчас я устала и валюсь с ног. Разрешите мне пройти, я хочу спать.

Варфоломей покорно уступает ей дорогу. Она скрывается в доме. Варфоломей остается один, идет к столу, садится, обхватывает голову руками.

Варфоломей. Вот и пришел твой черед, Варфоломей. Считал, что тебе сам черт не брат. Весь русский Париж перепробовал, французский тоже частично не упустил, уверен был, не родилась еще такая, чтобы тебя — Варфоломея Ананасова, заарканить, но выходит, случайной пробы не выдержал, потек, а она с первым же чучмеком спуталась, и ей до тебя дела, как до любого прохожего. Вой теперь, чувак, на луну да завивай горе веревочкой.

Во дворе появляется Лариса. Она сомнамбулически пересекает пространство, будто плывет над землей — отстраненно и зыбко.

Лариса. Наверное, спит... Или работает... Вдруг я не во время... Не любит он, когда мешают.

Варфоломей. Лара!

Лариса *(останавливается, всматривается в него, узнает)*. Варфоломеюшка, ты? Он дома?.. Не знаешь, чем-нибудь занят? Или спит? Знаю, знаю, не любит, когда мешают... Но я только посижу немножко тут во дворе, я тихо, я не помешаю.

Варфоломей. Очнись, Лара, не мучай себя. Нет больше Говорухи. Одни мы с тобой остались. Только вспомни, что он всегда говорил: никому не дано тяжести выше его сил, надо жить дальше.

Лариса. Зачем ты мне это говоришь?.. Ты хочешь обидеть меня?.. Не знаю, любит ли он меня или нет, пускай не любит, мне лишь бы видеть его иногда, прикоснуться к нему хотя бы...

Варфоломей. Зачем ты сюда ходишь, Лара? Только растравляешь себя. Забудь этот дом. Начни все заново. Тебе еще жить и жить.

Лариса. Я хожу к нему... Больше мне никто не нужен... Я жду, когда позовет... Я знаю, что нужна ему... Он сам мне говорил... Только, наверное, он занят сейчас... Я боюсь помешать... Или уехал?

Варфоломей (*словно про себя*). "Прости, поезда не приходят оттуда, прости, самолеты сюда не летают"... Он уехал, Лара, но уже не вернется.

Лариса. Уехал?...

Варфоломей. Давно.

Лариса. И ничего не сказал мне?.. Может быть, обиделся за что-нибудь на меня?

Варфоломей. Говоруха никогда ни на кого не обижался, а если обижался, то вычеркивал человека из памяти. Ты была для него многим.

Лариса. Была? Я — есть.

Варфоломей. Но его нет.

Лариса. Где же он?

Варфоломей. Там, откуда не возвращаются. И ты знаешь об этом.

Лариса. Я все же пойду туда, посмотрю... Приберу, может быть... Он любит порядок и чистоту. Вернется, останется доволен.

Идет к дому, боязливо переступая дверной порог, скрывается внутри.

Варфоломей (*вслед ей*). Что только с ней будет! Она окончательно поплыла. У нее теперь ни единой души в мире. Не дай мне Бог сойти с ума!

Во дворик стремительно влетает Бесо. Подступает к Варфоломею.

Бесо. Она вернулась?

Варфоломей. Я ей не сторож.

Бесо. Понимаешь, она сбежала от меня! Я искал ее по всему Парижу. Нигде не нашел.

Варфоломей. От стоящих мужиков не бегают.

Бесо. Но она была со мной, понимаешь, была!

Варфоломей. Чего тебе еще надо.

Бесо. Но я люблю ее, понимаешь, люблю!

Варфоломей. Один-один, чучмек, и перелом в игре не в твою пользу. Судью на мыло!

Бесо. Где она?

Варфоломей. Спит.

Бесо. Мне надо с ней поговорить.

Варфоломей. Жди.

Бесо. Но мне сейчас нужно, сейчас, понимаешь?

Варфоломей. Не понимаю.

Бесо. Ты же мне друг, Варфоломей. Я без нее уже не могу. Мне больше никто не нужен, только она.

Варфоломей. Не только тебе.

Бесо. Она уже моя.

Варфоломей. У тебя слишком много воображения.

Бесо. Я сам хочу спросить у нее.

Варфоломей. Если она вообще захочет с тобой разговаривать.

Бесо. Позови ее.

Варфоломей. Я тебе сводником не нанимался, чучмек.

Бесо (*угрожающе приближается к нему*). Повтори за чучмека!

Варфоломей (*жестко*). Чучмек.

Бесо. Я терпел от тебя, думал, маленький еще, думал, шутишь. (*Хватает его за грудки*). Ты только обещал мне, а чучмек будет бить тебя без балда очень долго и очень больно. (*Хорошо отработан-*

ным приемом самбо валит его на землю и заносит над ним кулак). Я сделаю из тебя клоуна, лыбиться будешь до конца дней своих...

В это время появляется Марианна.

Что здесь происходит? (*Варфоломею*). Там в комнате отца мечется какая-то дама.

Варфоломей (*с трудом поднимается*). Это подруга Говорухи — Лара.

Марианна. По-моему, она не совсем в себе, вы бы сходили, присмотрели за ней на всякий случай.

Варфоломей безропотно подчиняется, уходит в дом.

Бесо (*бросается к ней*). Что случилось, Марианна?

Куда ты исчезла. Я искал тебя по всему Парижу.

Марианна. Ты заснул и я ушла. Я не выношу, когда мужчины спят в это время.

Бесо. Мы слишком много выпили.

Марианна. Да, а я не заметила, если не умеешь — не пей, не будешь потом себя стыдиться.

Бесо. Я уже не могу без тебя, Марианна, ты должна стать моей женой, понимаешь, должна.

Марианна. Должна!

Бесо. Но ты же была со мной. Была!

Марианна. Это еще не повод для замужества.

Бесо. Отец сказал, что другой такой женщины мне не найти. Он всегда знает, что говорит.

Марианна. А мне мой отец еще ничего не сказал.

Бесо (*борется с собою, но наконец не выдерживает*). Ты все еще ничего не знаешь. Твоего отца давно нет... Он умер, понимаешь, умер!

Марианна (*ошеломленная, она замирает, потом со все нарастающей страстью*). Умер... Вот так, просто умер... Выходит, не к кому мне было ехать и некого здесь ждать... Что ж, примем к све-

дению... Умер. (К Бесо). Уходи отсюда! Я не хочу тебя видеть... Уходи же, наконец!

Гаснет свет. Постепенно из темноты высвечивается распахнутая настежь терраса. В кресле Говоруки в том же халате и тюбетейке сидит Варфоломей. Рядом с ним Марианна, она подает ему наполненный вином стакан.

Варфоломей (*берет у нее стакан*). Вот так он обычно сидел, думал и пил стакан за стаканом, будто нарочно сжигал себя. Никто не знал, что творилось у него в душе. Нам не дано было это понять. Видно, какой-то неподъемный для простого смертного груз нес он в себе, а перекладывать, хотя бы часть этого груза на других было не в его правилах.

Марианна. Он никогда не вспоминал обо мне?

Варфоломей. В последнем письме.

Марианна. А если подробнее.

Варфоломей. Он любил меня, он хотел, чтобы ты осталась со мной. Он даже написал мне об этом.

Марианна (*почти с нежностью*). Милый Варфоломей, вы, по-моему, очень хороший, славный мальчик, только притворяетесь циником, это у вас от беззащитности. Сложись моя судьба по-другому, я бы, наверное, не задумалась долго, пошла за вами, но в России у меня остался человек, которого я люблю, и с этим уже ничего не поделаешь.

Варфоломей. Хотел бы я оказаться на его месте.

Марианна. Все бы мы хотели оказаться на чьем-либо месте, а кто-то, наверное, и на нашем. Но никому не дано занять чужого места, а значит, надо успокоиться и жить, как тебе на роду написано.

Варфоломей. Теперь я останусь совсем один, Лара не в счет, она окончательно поплыла.

Марианна. А если обратно в Россию?

Варфоломей (*в сердцах*). Нету ее больше, Марианна, никакой России. Осталась территория со случайным населением. Не страна — черная дыра.

Марианна. Есть, Варфоломей, есть. И еще будет. Рано вы ее здесь все хороните, стоять ей еще и стоять.

Варфоломей. Чужой я там окажусь.

Марианна. А здесь?

Варфоломей. И здесь тоже.

Марианна. Так уж лучше быть чужим среди своих, чем чужим среди чужих. Страшно ведь.

Варфоломей. Не взойду я уже. Поздно. Свыкся. Другой жизни не вынесу, не приживусь.

Марианна. А здесь, что вас ждет? Вроде отца моего будете сидеть в какой-нибудь трущобе и спиваться.

Варфоломей. Может, еще выберусь.

Марианна. На что вы надеетесь, Варфоломей, ну какая вы восходящая звезда европейской мысли, какой философ, вы просто начинающий алкаш, не надо быть пророком, чтобы предсказать, чем это кончится.

Варфоломей. Варфоломей Ананасов еще не сказал своего последнего слова, у меня еще есть время.

Марианна. Кстати, откуда у вас эта странная фамилия. В России никогда не встречала.

Варфоломей. Конечно, я никакой не Ананасов. И не Варфоломей. Мое полное имя: Лев Георгиевич Разумовский. Варфоломей Ананасов это мой творческий псевдоним.

Марианна. Из тех Разумовских?

Варфоломей. Возможно, хотя мой отец по профессии брючник. В Харькове брюки шил.

Марианна. Чем же вам не нравится собственная фамилия? Согласитесь, что даже для псевдонима Ананасов это слишком.

Варфоломей. А я назло.

Марианна. Кому именно?

Варфоломей. Всем.

Марианна. А если конкретнее?

Варфоломей. Интеллектуальному истеблишменту и нашему, и здешнему. Пусть хавают после все своих Стендалей, Белых, Горьких, Скитальцев. Морщатся, но хавают. Не захотят — заставлю.

Марианна. Только разобьете себе лоб о каменную стену.

Варфоломей. Это мы еще посмотрим.

Марианна. Живите проще, Варфоломей.

Варфоломей. Научите — как?

Марианна. Как живется, без претензий.

Варфоломей. У меня цели.

Марианна. Плюньте.

Варфоломей. Значит, по течению?

Марианна. А чем плохо.

Варфоломей. Это не для меня.

Марианна. Трудно вам будет жить, Варфоломей.

Варфоломей. Зато интересно.

Марианна. Если бы вы знали, как мне вас жалко, Варфоломей, по-матерински, по-сестрински жалко, уж больно вы беззащитны. Словами хотите от жизни отбиться, а слова, к сожалению, от нее не спасают.

Варфоломей (*вдруг по-детски жалобно*). Так спасите меня, Марианна...

Марианна подходит к нему, обвивает его шею руками, прикасается к нему. Тела их судорожно переплетаются. Идет затемнение.

Марианна. Эх, ты, бунтаришка мой...

Варфоломей. Не бросай меня, Мариша, не бросай...

Марианна. Если бы я могла, если бы я только могла...

Варфоломей. Останься со мной...

Марианна. Рада бы в рай...

Неожиданно из темноты со стороны калитки раздается стонущий голос Бесо.

Бесо. Выйди, Марианна!.. Поговорить хочу... Я люблю тебя, Марианна... Выйди только, прошу тебя!.. Варфоломей. Вот козел батумский, убить мало! Марианна. Молчи... Он сейчас уйдет. Варфоломей. Убью. Марианна. Говорю молчи, дуралей... Бесо (*истерически из темноты*). Шлюха-а-а!

Два голоса сливаются в облегченном вздохе. Зажигается свет. Марианна оправляет на себе платье. Варфоломей запахивает халат.

Марианна. Светает. Мне пора на аэродром. Варфоломей. У тебя еще три часа в запасе. Марианна. Пока доберешься, пока оформят. Варфоломей. Посидим еще на прощанье, Мариша. Марианна (*ерошит ему волосы*). Времени нет, чудачок. Варфоломей. Я провожу тебя. Марианна. А вот это ни к чему, только растравлять друг друга. Варфоломей (*покорно*). Как хочешь. Марианна (*приникает к нему*). Давай поцелую тебя на прощанье, и не печалься, все еще у тебя впереди. Варфоломей (*прижимает ее ладони к губам*). Как я тебе благодарен, Мариша, поверь, я еще не упал, я поднимусь. Марианна (*берет в руки чемодан*). Поднимешься и пойдешь, Варфоломей, еще как пойдешь! Я верю в тебя. Прощай!

Идет к выходу. То и дело оглядываясь, пересекает дворик. Но когда она приближается к калитке, навстречу ей выбегает Бесо. Останавливается перед ней и, выхватив из кармана пиджака револьвер, стреляет в нее несколько раз в упор.

Бесо. За что ты меня так, за что?

Марианна падает. Он наклоняется над ней. Долго смотрит ей в лицо. Затем бережно поднимает ее на руки и выносит из дворика. Калитка за ним с тихим скрипом закрывается. За всей этой сценой с порога террасы наблюдает Варфоломей.

Варфоломей (*в небо над собой*). Прости нас, Господи, за все! И за то, что люди еще живут на земле, прости!

Уходит в дом. Вскоре фрамуга на крыше дома открывается. В ее проеме возникает Варфоломей в тех же халате и тюбетейке, с тою же, что и вначале, трубой в руках. Он прижимает трубу к губам и протяжно выводит на ней уже знакомую нам мелодию: "Там вдали за рекой зажигались огни..." Ее подхватывает мощный хор, в который вплетается все нарастающий цокот копыт. Вскоре начинает казаться, что на нас накатывается огромная лавина конницы. "Баба" на стреле башенного крана принимается раскачиваться и крушить крышу дома по соседству.

Конец

Россия и действительность

Лев Наврозов

СЕМЬ СОВЕТСКО-ЗАПАДНЫХ МИФОВ

На 8 апреля 1991 г., когда пишутся эти строки, семь перечисленных далее мифов исходят одновременно из трех различных источников. Один источник — это официальная пропаганда Кремля, другой — "советская независимая печать", а третий — западный политико-культурный истеблишмент. Поскольку у большинства населения советской империи и Запада никаких других источников нет*, а мифы, исходящие из этих трех источников, совпадают почти буквально, то эти мифы — поистине "мифы XX столетия", которые большинство советского и западного населения принимают за неоспоримые истины, отражающие действительность настолько верно и полно, насколько это вообще возможно.

Под "советской независимой печатью" я имею в виду многотиражные издания советской интеллигенции, вроде известного еженедельника "Московские новости". Я не имею в виду независимых мыслителей на советской территории, ибо таковые не видны и не слышны нигде в мире. В настоящее время на Западе нет поэта, который бы жил исключительно на свою поэзию в том смысле, в каком жили на нее признанные поэты в России начала века. В этом смысле можно сказать, что на Западе нет ни одного признанного поэта. А, возможно, скоро и во всем мире не будет ни одного признанного поэта. Почему же должен быть хотя бы один признанный мыслитель? Видны и слышны ныне не властители дум, а лишь массы, классы

* У русскоязычных эмигрантов на Западе есть еще русскоязычная эмигрантская печать, но она в основном лишь пересказывает мифы, исходящие из вышеупомянутых трех источников.

и нации, чиновники различных ведомств и учреждений, фабрики массовых клише или скоропортящиеся продукты их сенсаций — фарсовые знаменитости, забываемые, как только проходят сенсации, вызвавшие к ним внимание.

Именно в силу отсутствия признанных мыслителей, те же самые мифы распространяются повсеместно. Распространители этих мифов не мыслят. Они лишь повторяют клише, которые становятся международными. Таким образом, "все" говорят то, что говорят "все".

Как заметил признанный мыслитель Джон Стюарт Милль уже свыше 130 лет назад, свобода печати в условиях отсутствия признанных мыслителей будет бесполезной, ибо печать в этом случае станет единообразной, лишенной мыслей и лживой независимо от того, есть ли у нее свобода или нет. У советской печати нет свободы в том смысле, как понимает это слово английская Великая хартия вольностей 1215 г., а есть лишь временное позволение, например, дерзить Горбачеву, подобно тому как у нее было некогда временное позволение дерзить Ленину, а затем и Сталину, когда его диктатура была все еще зыбкой. Вплоть до потери Лениным власти "Правда" дерзила ему не меньше, чем "Столица" дерзит в 1991 г. Горбачеву, а "Комсомольская правда" дерзила Сталину до 1929 г. С другой стороны, у газеты "Нью-Йорк Таймс" — свобода печати. Но это отнюдь не мешает ей быть еще более единообразной, лишенной мыслей и лживой, чем "Правда". Ведь свобода печати — это и свобода газеты "Нью-Йорк Таймс" быть единообразной, лишенной мыслей и лживой.

Ну а "Правда"? В 1918 г. она была пролетарской, в духе подпольных газет, несущих правду пролетариату, ибо Кремль в своем стремлении к мировому господству делал ставку на западный пролетариат. Ныне же "Правда" буржуазна, ибо Кремль в своем стремлении к мировому господству делает ставку на западную буржуазию, которая должна дать Кремлю науку и технику всех западных стран, а также капитал. Например, "Правда" поместила фотографию практически голый школьницы со спины и такого старорежимного соавратора гимназисток из "Доктора Живаго", с подписью "Эх, мне бы мои семнадцать лет!" Пастернак считал подобную пошлость проклятием

старого мира. Еще столь недавно "Правда" проклинала Пастернака за недостаточное разоблачение в его романе проклятого старого мира. А теперь это проклятие в "Правде". Так или иначе, своей фотографией "Правда" переплонула в смысле буржуазности (или пошлости) не только серьезные российские старорежимные газеты вроде "Биржевых ведомостей", но и все так называемые серьезные западные газеты сегодняшнего дня. Но этот абсолютный рекорд "Правды" в состязании на звание самой буржуазной газеты в мире не мешает ей распространять мифы, не менее далекие от действительности, чем были ее пролетарские мифы 1918 г. о грядущем рае на земле после искоренения буржуазности-пошлости путем истребления буржуазии.

Мотивы, по которым три вышеупомянутые источника или три группы источников распространяют те же самые мифы, — различны.

Например, официальная пропаганда Горбачева (в частности, "Правда") создает с 1988 г. миф о том, что советская империя оказалась (по вине предшественников Горбачева) на краю гибели. Спасти же страну от гибели может, по мнению "Правды", лишь "сильный лидер" ("Правда", разумеется, избегает слово "диктатор" и даже "вождь"). Этим "сильным лидером" способен быть — опять же по мнению "Правды" — лишь Горбачев. Кроме того, находясь на краю гибели, советская страна (внушает "Правда") никак не может угрожать Западу, а, наоборот, нуждается для предотвращения своей гибели в его науке, технике и капитале. Гибель же советской державы поведет (угрожает "Правда") к гибели Запада, поскольку советское глобальное ядерное оружие может оказаться в руках у кого угодно, включая уголовников, террористов и психически больных. С другой стороны, в настоящее время его надежно охраняет КГБ, который выглядит на страницах "Правды" рыцарским орденом, созданным по своему образу и подобию, рыцарем без страха и упрека*. К тому же

* Изучение первоисточников показывает, что Дзержинский был не изувер-аскет Торквемада, а веселый, покладистый, жизнелюбивый приспособленец-прохвост, создавший высокопрофессиональный институт пыток, какового не было и при Сталине, и прикрывавший присвоение ценностей, изъятых у жертв.

этот рыцарский орден подчиняется самому Горбачеву, лауреату Нобелевской премии мира, которого в марте этого года "директор советских исследований Принстонского университета" Стивен Коэн назвал Горбачева Великим* — в дополнение к более ранним наименованиям вроде Сократа Горбачева и Иисуса Горбачева.

В то время как Горбачев создает с 1988 г. миф о советской империи на краю гибели, в частности, ради стратегического обмана Запада, западный политико-культурный истеблишмент создает этот же миф ради приятного самообмана. Ведь у Запада нет хозяина-властелина, для которого мировое господство или защита от него была бы его делом. И слава Богу! Но это означает, что, скажем, п₁ виденты США — временные чиновники, а временные чиновники, будь то директора советских сельмагов или президенты США, не радеют о вверенном им деле так, как радеет о нем хозяин, а, как говорят американцы, больше греют стулья, на которых сидят в своих кабинетах. Кроме того, в отличие от поста директора сельпо, пост президента США доставляет лицу, его занимающему, огромное удовольствие. Когда советская империя была бессильной ввиду американской монополии на ядерную бомбардировку территории противника, то какое же это было удовольствие для президента США Кеннеди возглашать, что Кремль "стремится к мировому господству, но нет такой цены, которую мы не заплатим за свободу". А после того как у Кремля появилась возможность подвергнуть противника ядерному уничтожению, а гонка вооружений стала обходиться в копейку (то есть в триллионы долларов каждое десятилетие), до чего же стало приятно дружить с кремлевскими властителями. Как президент Никсон обнимал Брежнева, а президент Картер его целовал! И посмотрите на антикоммуниста Рональда Рейгана и Сократа-Иисуса Горбачева Великого. Шерочка с маперочкой! А какое это было удовольствие сражаться с Ираком! Помните детский стишок о тигренке, который решил сражаться не с быком, а с воробьем: "Эй, держись, покуда цел!" Пока 26 стран пушили воробья (Ирак), у быка (советской империи) сошла со стапелей подводная

* "Нью-Йорк Таймс", 11 марта 1991 г.

лодка глубокого погружения "Пантера" со 150 ядерными боеголовками на борту. Одна такая "Пантера" опаснее для США, чем 150 Ираков, поскольку она может уничтожить США за десять минут. Но западные средства массовой информации даже не сообщили о "Пантере", хотя спуск был виден со спутников. Я их вполне понимаю. "Пантера" — это так неприятно! Зато до чего же было приятно пушить Ирак. Какова была цель? Восстановить неограниченную власть эмира в Кувейте, с его дворцами, гаремами и застенками? Но причем же тут цель? Все дело в удовольствии.

Но если есть что на свете приятнее сражения с воробьем-Ираком, так это миф о том, что советский глобальный бык — на краю гибели. Подумайте только: советское глобальное вооружение росло с каждым десятилетием — уж совсем президенты США не знали, что делать и как бы еще Кремль ублажить. Как вдруг оказалось... Э-ге-ге! Да ведь советская империя на краю гибели! Спасите ее! Помощи просит! Поэтому Горбачева не надо даже обнимать-целовать. Он проситель, нищий, издивенец западного социального обеспечения. Ему бы только западную науку, технику и капитал. Он ведь на краю гибели.

И, наконец, тот же самый миф о советской империи на краю гибели создает и "советская независимая печать", чтобы побудить диктатора Горбачева расстаться со своей диктатурой и таким образом избежать гибели, двинувшись по пути кипучего, могучего и никем не побежденного (даже воробьем) Запада или российской полуконституционной монархии Николая II*. Да и вообще, начиная с эпохи Брежнева, советская интеллигенция "как класс" не любит правящее сословие "как класс", а ныне и сам Сократ-Иисус Горбачев Великий не более ей мил, чем был Брежнев. Повторяя вслед за Горбачевым, что советская империя — на краю гибели, советская интеллигенция, как ей представляется, выносит тем самым беспощадный приго-

* Легко сказать. У конституционного монарха Англии десять миллиардов долларов личной собственности (помимо дворцов и прочего), любовь населения и пост главы государства (отнодь не чисто номинальный). А что же "будет иметь" Горбачев или его восприимчик Пупкин при конституционной республике?

вор правящему классу, включая ныне и самого Горбачева, и таким образом готовит его ниспровержение, ибо чего же иного заслуживает правящий класс, который довел страну чуть ли не до гибели (бездны, катастрофы, голода)?

А помимо всего прочего, до середины 80-гг. правящий класс и вовсе заставлял интеллигенцию (с целью роста пролетарских партий за рубежом) притворяться, что на советской территории создается рай на земле, а на Западе — ад. "Ах, у нас рай на земле? — говорит ныне интеллигенция. — Так вот же вам: не рай на земле у нас, а ад, гибель, даже хлеба нет, все сдохнем с голоду этой весной 1991 г.! На Западе же не ад, а рай. Что, съели?"

У новой советской интеллигенции конца 20-х — начала 30-х гг. был старый мир и был новый мир (в журнале "Новый мир", например). У советской интеллигенции конца 80-х — начала 90-х гг. тоже есть старый мир и есть новый мир (например, в том же журнале "Новый мир"). В конце 20-х — начале 30-х гг. старый мир — это старорежимная Россия, капитализм, совратители гимназисток, НЭП с его пошлостью, а новый мир — это конец власти денег, даль социализма, глобус в руках пастуха, пятилетка. В конце же 80-х — начале 90-х гг. новый мир — это старый мир конца 20-х — начала 30-х гг., а старый мир — это новый мир тех лет. Но не в этом дело. А дело в том, что ведь "независимая советская печать" лишь повторяет вслед за Горбачевым и его "Правдой", что страна погибнет, если новый мир не придет на смену старому. И тем не менее, "Московские новости", "Огонек" или "Литературная газета" опьянены своим вольнодумством, своей великой исторической миссией в смене эпох и чувством новизны, ибо при Сталине им, знаете, сколько бы лет за это дали? Примерно таким же образом новая советская интеллигенция конца 20-х — начала 30-х гг. боролась за новый (ныне старый) мир против мира старого (ныне нового), ибо при Николае I, хотя и не при Николае II, их бы, знаете, в какую глубину сибирских руд за это сослали?

Словом, мотивы у трех перечисленных групп источников различные, а мифы те же самые. Перейдем теперь к самим этим советско-западным мифам по состоянию на начало апреля 1991 г.

МИФ I. *Движение человечества вперед — неотвратимо: слово "прогрессус" означает по латыни "движение вперед". Наука и техника неминуемо развиваются (движутся вперед) в каждой стране (ибо они необходимы и для любого диктатора). А, следовательно, развивается (движется вперед) и все остальное. Прогресс (движение вперед) остановить нельзя: можно лишь его приостановить. Таким образом, в общем и целом, человечество движется вперед — к общему оптимальному состоянию. Сталин повернул историю вспять. Но после смерти Сталина в 1953 г. неизбежно ее движение вперед, которое особенно ускорилось в конце 80-х гг.*

Математик эпохи Просвещения Лейбниц говорил, что кривая движется к минимуму или максимуму. "А к чему движется Вселенная?" — спросил себя Лейбниц. Для ответа он выдумал особое слово "оптимум". Она стремится к нему, как всякое математическое построение или машина. Вольтер высмеял это новое вероучение в своей книге "Кандид или оптимизм". Отчего же само слово "оптимизм" вызывало смех? Лейбниц был в хорошем настроении, и это прекрасно, ибо Вольтер и сам был весельчак. Но это еще не значит, что Вселенная тоже в хорошем настроении или двигается в направлении этого настроения. Оптимизм в смысле хорошего настроения? Вольтер и сам был "оптимист" в этом смысле. Но оптимизм в смысле изма, постулирующего, что в самой Вселенной заключена оптимизация, движение к оптимуму, к оптимальному состоянию человеческого общества, — это, согласно Вольтеру, величайшая глупость, опасная для человечества, и XX век показал, как прав был Вольтер. Тем не менее смехотворный, с точки зрения Вольтера, оптимизм Кандида (то есть Простодушного) и стал новой религией христианских стран, оттеснив христианство с его стоическим взглядом на земную жизнь как личную трагедию, которая движется к смерти. Когда сэр Томас Мор (причисленный к лику католических святых) придумал для обозначения оптимума слово "коммунизм", а Огюст Конт — слово "социализм", и Карл Маркс подхватил оба слова, то это было лишь разновидностью оптимизма Кандида. Этот же оптимизм Кандида исповедует на свой лад и, например, антикоммунист Рональд Рейган, причем с таким же простоду-

пием, с каким его исповедовали Мор, Конт и Маркс. "Правда" и газета "Нью-Йорк Таймс" — лишь разные вероисповедания этой новой религии.

Вот произошла Русская революция (семьдесят с лишним лет оказываются недостаточным сроком, чтобы вбить в голову американцам, что на самом деле российская империя двигалась при Николае II к конституционной монархии, затем произошло отречение Николая II, а затем уничтожение российской демократии). Какой рывок прогресса к оптимуму! А Сталин 20-х и 30-х гг. в изображении газеты "Нью-Йорк Таймс"? Да это сам бог прогресса — прогресс во плоти. К XXI веку ведет он некогда отсталую, реакционную, сплошь неграмотную, азиатскую средневековую страну самодержавия, крепостного права и антисемитизма (корреспондент газеты "Нью-Йорк Таймс" создавал у читателей впечатление, что царь бил крепостных кнутом, а евреев нагайкой вплоть до 7 ноября 1917 г. по новому стилю). Какой феноменальный прогресс! Какие головокружительные достижения во всех областях! И Запад двинется и уже движется по пути социализма, проложенному этой некогда захолустной, забитой, нищей, темной страной!

Затем бог прогресса оказался дьяволом реакции. Но не беда! Вот он и умер! Все к лучшему! А посмотрите на Хрущева! Ведь он Сталина разоблачил! Какой феноменальный прогресс! Взгляните теперь на Брежнева! Да ведь он осуществил разрядку международной напряженности! А о Горбачеве и говорить нечего! Ведь у него образ жизни начинает походить на Россию 1913 г.! Кому такой прогресс и во сне снился? Это ж оптимум! Тут и капитализм, и Пасха чуть ли не у Горбачевых, и школьница почти голая со спины в "Правде"! Все, как у нас в Нью-Йорке! А уж нью-йоркское значит лучшее, за исключением тех случаев, когда газета "Нью-Йорк Таймс" считает это худшим.

Когда началась гласность и перестройка в Китае в 1978 г., западно-советские Кандиды возликовали: "Ага! История движется вперед! Никто остановить прогресс не в силах!" А когда в 1989 г. жителей Китая стали карать смертью за показ или просмотр недозволенной видеопленки, то есть Китай ушел вспять во всем, кроме науки и

техники, к 1977 г., то есть к III веку до нашей эры*, то Кандиды все это почти не замечают вот уж скоро два года. "Правда" и вовсе выражает по поводу Китая лишь телячий восторг. В западной же печати иногда проскальзывают уверения, что ведь олигархи в Китае преклонного возраста. Значит, они скоро умрут. А уж молодежь — это и есть сам прогресс! Молодость мира, весна, возрождение, утро! Опять же все только к лучшему в этом лучшем из всех возможных миров.

Я не собираюсь писать в объеме этой статьи продолжение книги Вольтера "Кандид или оптимизм", а упомяну лишь одно событие XX века. Родина Лейбница достигла к 1933 г. необыкновенного прогресса в области науки и техники, а также образования и цивилизованности. Но если бы Гитлер претворил в жизнь свое стремление к мировому господству, то по общему мнению вне нацистских партий все человечество двинулось бы вспять — к временам до V века до нашей эры в Афинах. Массовые истребления людей стали бы такой же морально-правовой нормой, как истребление вредителей сельского хозяйства. Два обстоятельства предотвратили этот поворот истории. Первое: поскольку Англия была все еще мировой Британской Империей, она развивала свои морские и воздушные силы применительно к масштабу глобальной империи, а не крошечной Англии. Второе: Гитлер был талантливым или гениальным полководцем в масштабе отдельных операций, но никудышным стратегом в масштабе мира или даже континента.

Увы, эти два обстоятельства — историческая случайность, и Кандидам предстоит еще (в который раз!) жестоко разочароваться, осознав задним умом, что глобальные стратеги Кремля куда осторожнее, хитрее и искуснее, чем был прямолинейный рубаха-парень (рубаха-парень) Гитлер.

Кандиды любят вещать о том, что США и Кремль могут взаимно уничтожить друг друга 100, 200 или 500 раз. Но это создает у них лишь уверенность, что в случае

* Поскольку Россия Сталина и Германия Гитлера были в прошлом христианскими государствами, Сталин и Гитлер скрывали свои убийства как нечто постыдное. Китай же и мусульманский Восток свободны от подобных предрассудков.

войны обе стороны взаимно уничтожат друг друга, а потому войны между ними не будет и, следовательно, обе стороны стремятся к миру и разоружению, чтобы жить, поживать, да добра наживать. Ну, а что если Кремль и ныне стремится к мировому господству путем создания такой стратегической ситуации, при которой Кремль сможет всего лишь единожды уничтожить США, но не США Кремль, а посему США мирно, молча и приятно сдадутся? Это предположение настолько противоречит оптимизму Кандидов, что в последнюю четверть века они изъяли из языка даже само это выражение "стремление к мировому господству": в печати США, видимо, только я его и употребляю, к ужасу, изумлению и негодованию простодушных западного политико-культурного истеблишмента.

МИФ 2 (безраздельно господствовавший до 13 января 1991 г.)

С 1988 г. Горбачев осуществляет в стране демократию в купе с частным предпринимательством за счет своей собственной власти. В итоге ему, видимо, придется уйти в отставку, ибо в условиях созданной им демократии население отдельных суверенных республик, а затем, возможно, и всей страны изберет другого главу правительства и главу государства. Отсюда можно лишь заключить, что у Горбачева обнаружилась на 58-м году жизни необоримая страсть к демократии, которая выше всех его личных интересов и сильнее даже его инстинкта самосохранения, ибо в условиях создаваемой им демократии не исключена и возможность суда над ним. Сам Горбачев открыто, ясно и убедительнее, чем кто-либо, опроверг "всякие намеки на диктаторство", в стремлении к которому он обвинялся Сахаровым с 1988 г. Так, Горбачев сказал работникам культуры: "Но я-то надеюсь, дорогие товарищи, что хоть вам-то не надо говорить, что это абсурд, что если бы в лице Горбачева вы имели человека, который тяготел бы именно к такому режиму правления, то зачем бы он расставался с ним? Ведь такой режим уже был у меня в руках! Генеральный секретарь ЦК КПСС — это диктатор — по тем временам, — какого больше не было в мире. Большей властью никто не располагал. Никто, понимаете? (Ап-

лодисменты). Зачем тогда мне надо было все затевать? Уж как-нибудь пять-десять лет продержался бы в том качестве".*

В действительности, например, хотя бы тот же Ленин не имел никакой власти, не зависимой от других олигархов и прежде всего Троцкого и (в то время мало кому известного вне ЦК) Сталина. Став генсеком ЦК в 1922 г., Сталин тоже не имел никакой власти, не зависимой от олигархов и прежде всего Ленина и Троцкого, а затем Каменева, Зиновьева и Бухарина. Только через пять лет, в 1927 г., Сталин стал диктатором, подобно Горбачеву, который стал диктатором лишь в 1990 г., то есть тоже только через пять лет после того, как он стал генсеком. Но диктатура Сталина в 1928 г. была такой же зыбкой, какой является диктатура Горбачева на апрель 1991 г. Через десять лет, к 1938 г., Сталин стал в пределах советской территории богом.** Если бог пожелал бы прихлопнуть одну, отдельно взятую человекообразную муху по имени Киров, то разговор бога с майором Прониным можно вообразить себе, скажем в 1948 г., следующим образом. Майор Пронин: "Явился по вашему приказанию". То есть ничтожная пылинка мироздания предстала перед твоими очами, о Боже. Бог: "Этого, как его, Сережку Кирова..." Прихлопывает воображаемую муху. Пронин (красиво сверкнув молодецким глазом): "Есть, товарищ Сталин! Когда приступить к выполнению задания?" Бог (ворчливо): "Чего там приступать? Езжайте в Ленинград, привезите его на Лубянку, положите в цементный раствор, а цементный блок утопите. Тебя, что, учить надо?"

Но как далека была диктатура Сталина 1928 г. от этой богоподобной власти! Вожаки комсомола в "Комсомольской правде" хамили диктатору, и с большим трудом удалось их спровадить в красную профессию. А Киров, угрожавший диктатуре Сталина из самого Политбюро, все еще сердцевина власти, был убит лишь в 1934 г. окольным, медленным и запутанным путем, причем не майором госбезопасности, красиво сверкающим молодецким глазом, а одиночкой-мстителем по его собственному умыслу (в то

* "Правда", 1 декабря 1990 г. стр.4

** А по моим данным, и Богом православного христианства.

время говорили, что Киров соблазнил-изнасиловал его жену).

Горбачев стал диктатором в 1990 г., но еще лет десять, возможно, пройдет прежде, чем он станет богом. Чтобы убрать олигархов Политбюро, главное препятствие на пути к диктатуре, Горбачев "развел демократию". Все соперники-олигархи Политбюро, наконец, убраны. Но появились строптивцы в созданных им "органах демократии". Прихлопнуть их как мух физически ничего не стоит. Но, во-первых, это преждевременно: не прихлопнул же Сталин Троцкого в 1928 г., а уж как надоел за десять-то лет! Ан нет! Еще двенадцать лет ждал! Когда друга нашей семьи, "троцкистку Зину", высылали, то наша семья тоже пришла ее проводить, и было даже неясно, что ее высылают. Все было до того мило, что сопровождавшего Зину скромного чекиста пассажиры поезда принимали за ее мужа, и сам он подыгрывал для общего веселья.

"Все же, что там ни говорите, — заключили провожавшие, — а эти чекисты никак уж не — ха-ха-ха! — старорежимные уса́тые жандармы-держиморды на конях и с саблями. А твой Троцкий, Зина, хорош гусь: мировая революция! Надоело! Помните, как у Вольтера? Пора свой садик возделывать. Не Сталин все это придумал, а Вольтер! Впрочем, ведь Сталин был за дружбу с меньшевиками и против разгона Временного правительства. Это Ленин с твоим Троцким, Зина, его попутали. А с кулаками сладу нет: опять они хлеб прячут. Тут Бухарин тоже мудрствует лукаво. Не спорь, Зина, ты молодая и горячая, молодо-зелено, все мы были идеалистами. А вот поедешь, остепенишься, одумаешься. Перемелется, мука будет. Хватит вам вашу комсомольскую бузу устраивать. Да и Лев Давыдыч твой, Зина, свет повидаёт. Глядишь, и пройдет у него весь этот мировой пожар в крови, приедет обратно и за дело возьмется. Так что все к лучшему."

В графике движения от генсека к диктатору, а затем к богу, Горбачев старше Сталина на десять лет. Успеет ли? Сдюжит ли? Не поспешит ли прихлопнуть муху и лишь весь мир насмешит? Не даст ли промашку? Не сорвется ли в пропасть безвластия? Никто не может ответить на эти вопросы в начале апреля 1991 г., как

никто не мог ответить на подобные вопросы вплоть до 1934 г. Недаром говорил мой московский друг накануне снятия Хрущева: "Вот мы тут рассуждаем, а возможно нами правит уже не Хрущев, а Пупкин." Но будь то Сталин, Горбачев или Пупкин, нет никаких оснований полагать, что Пупкин возлюбит демократию больше самого себя, как ее якобы возлюбил Сталин в 1936 г., а Горбачев в 1988 г., причем оба в возрасте 58 лет.

МИФ 3. Диктатура несовместима с высказываниями подданными своих мыслей, ибо она жаждет всеобщего поклонения и не терпит ничего иного. Кроме того, вольнодумство ведет к всеобщему неповиновению, а затем и ниспровержению или ограничению абсолютной власти. Во всяком случае оно означает бессилие власти даже внутри страны, а, следовательно, и полную ее неспособность двигаться, да и хотя бы стремиться к власти глобальной.

Представитель сталинской диктатуры 1937 г. в виде следователя органов безопасности не испытывал ничего, кроме радости, слушая, как подследственный признается в своей ненависти к власти и всем ее представителям, вплоть до намерения их всех убить. Отчего же следователь лишь ликовал? Оттого, что власть следователя над подследственным была так велика, что подследственный мог унижить его не более, чем жужжание мух голодного паука. В основе унижения лежит страх унижаемого. Оскорбление — это лишь знак власти над оскорбляемым. И наоборот, бессильный всеильного никогда не оскорбит и не унизит.

Борьба Новодворской, Ландсбергиса и других "безоружных повстанцев" с Горбачевым поэтому напоминает нападение двухгодовалого ребенка на развлекающегося верзилу-гостя, который на потеху окружающим увертывается от ударов, вскрикивает якобы от боли, а затем убегает или якобы смертельно оскорбляется: "А ты еще и плевать? Ну, погоди, бандит ты этакий." То, что говорит Горбачев, он говорит, чтобы скрыть свои мысли. Но иногда проскальзывает ирония. В США Горбачев слушал, как ему объясняют, что его страна на краю гибели. Наконец, он решил, что американец перебарщивает (тут нужно чувство меры!) и сказал: "Ну, вы уж нас так не пугайте."

А то мы и сами испугаемся." Замечание, достойное дяди-верзилы, играющего с двухгодовалым.

Совестливый христианин Достоевский-Раскольников вспоминает, как бессовестный Наполеон расстрелял из пушек повстанцев на соседней улице. То были пушки конца XVIII века. У Сталина имелись орудия середины XX века. Но по сравнению с космическим могуществом Горбачева орудия Сталина мало отличаются от пушек Наполеона. Одна подводная лодка Горбачева — скажем уже упомянутая мной "Пантера" — может расстрелять США, как пушки Наполеона соседнюю улицу. Что же такое Новодворская или Литва по сравнению с США? Мне скажут, что у США и, следовательно, их союзников по НАТО (из которого Франция вышла в 60-х гг., а Германия, возможно, выйдет в 90-х) еще есть достаточные средства возмездия. Но какие же средства возмездия есть у Новодворской? Или у Литвы, Грузии, Молдовы, Финляндии, Австрии, Венгрии, Швеции, Швейцарии или Индии? Все эти территории, вместе взятые, столь же беззащитны, как Новодворская, хотя они считают, что Кремль на краю гибели и даже нищая Индия подает несчастному милостыню.

Как сказал бы на моем месте москвич без высшего образования: "А может, я чего недопонимаю? Может, у музыковеда Ландсбергиса припасена в нотах или в футляре от скрипки так-а-а-я ядерная боеголовка в так-о-ой крылатой ракете, что от самого глубокого в мире подземного убежища самого Горбачева одно мокрое место останется! Не лезь к Литве, а то Ландсбергис т-а-а-к жажнет, что в миг очоуришься."

На самом деле, как торжественно сообщила на первой странице "Правда" (19 марта с.г.), в кармане у "генерального директора департамента по охране края Литовской республики" Буткявичюса (не Ландсбергиса!) омовцы обнаружили пистолет довоенного образца, а в его машине — охотничье ружье. Грозно "Правда" сообщила, что "откуда оружие — покажет следствие".

Года три назад я выступал на конференции журнала "Континент" в Париже вместе с литовским поэтом-эмигрантом. Я говорил примерно то же, что я пишу сейчас, а он высказался против моего неверия в... Я не знаю, как

кончить фразу. Может быть: "...в силу литовского народа"? Но какая может быть сила в конце 20-го века, если у страны был на вооружении пистолет довоенного образца и охотничья винтовка, но и те торжественно отобрали? Ясно, что слово "сила" тут не подходит — тут надо говорить о торжестве вольнолюбивой мысли, воли, духа над вооруженной властью. Тут необходимы выражения вроде: "Да разве есть на свете такая сила, которая могла бы сломить..." Или: "Все как один умрем в борьбе за это!" Или: "Ход истории остановить нельзя!" Прошу простить меня за убогие заимствования из старых школьных хрестоматий. Литовский поэт, возможно, написал гениальное стихотворение по этому поводу (вроде этюда Шопена на взятие Варшавы). Но только ведь все это не имеет значения для истории конца XX века, учитывая глобальную мощь оружия Горбачева.

Что произошло 13 января сего года? Горбачев не причинил Литве большого физического вреда, говоря статистически, в процентах к населению Литвы и ее национальному богатству. Он лишь нанес ей безнаказанное оскорбление, чтобы показать, кто всесилен, а кто бессилен. У следователя Гестапо таким оскорблением была пощечина. Никакого вреда. Но подсудный понимал, что если безнаказанна пощечина, то безнаказанно и все на свете. Он — бессилён, а следователь — всесилен.

Допустим, Литва получила бы в 1988 г. или получит в 1991 г. статус Финляндии. В обмен на соответствующую толику западной науки, техники и вложений в "советскую экономику", то бишь глобальную мощь Кремля. Ликование в Литве можно себе представить. Но не означает ли такой обмен, что весь Запад стал бессильнее, а Кремль всесильнее? Один раз уже Литва "получила независимость". Что из этого вышло через двадцать лет? Какая может быть у Литвы независимость, если ее не будет у Запада? Да и она уже постепенно исчезает с 60-х гг. Разве решимость всех западных правительств не признавать Литву не говорит об этом?

Горбачеву ничего не стоит прихлопнуть Новодворскую, Литву и всех прочих. Но, во-первых, как я сказал ранее, это преждевременно. Горбачев еще не бог, а 1991 г. — лишь первый год его диктатуры. Во-вторых, достижение не-

обратимого глобального военного превосходства Кремля зависит от науки, техники и капитала всех западных стран, а западная общественность может, наперекор западным правительствам, поднять шум даже из-за одной прихлопнутой Новодворской, не говоря уж о прихлопнутой Литве. В-третьих, массовое истребление мух, возможно, никогда и не понадобится, ибо подчинение богу-диктатору будет обеспечено всей перестроенной советской цивилизацией, где советский подданный будет дрожать за свой клочок земли или за свою тележку с яблоками и будет опутан "как собственник" бесконечными горабчевскими указами-законами, как муха паутиной. Страх потери клочка земли или тележки с яблоками будет побуждать подданных боготворить Горбачева, как они боготворили Сталина от страха ареста. Изгоем будет не зек, а нищий, просящий милостыню в Москве или Нью-Йорке.

Миф о торжестве вольной мысли, воли, духа над вооруженной властью-силой — старый миф. Один из бесчисленных его вариантов — издание присяжным поверенным Лениным газеты "Искра", из которой якобы возгорелось пламя. Но как это можно было установить и при Сталине, никакого пламени к 1913 г. не возгорелось. Что же произошло в 1917 г.? Государственные мужи Западной Европы и России (включая Керенского) 1914—1917 гг. не понимали, что такое страх смерти или увечья на фронте, ибо большинство смертных не понимают ничего, кроме того, что они сами пережили. Отравленный же газом, а до этого раненный Гитлер пережил этот страх и поэтому написал в "Майн Кампф", что каждый солдат должен знать: если он уклонится от фронта, его ожидает неминуемая и худшая смерть, чем возможная смерть на фронте. Смерть смерти рознь. Поддержка солдатом присяжного поверенного Керенского означала вероятную смерть солдата или увечье на фронте, а поддержка им присяжного поверенного Ленина — жизнь и никакого тебе увечья, ни даже раны небольшой. Кого из двух присяжных поверенных поддержали солдаты? Но только при чем же здесь "Искра" или любое другое вольнодумство? Западно-российский истеблишмент сам погубил себя своим непониманием того, что, как и цыплята, солдаты "тоже хотят жить". Ленин оказался умнее западно-российского

истеблишмента, включая Керенского, ибо тот, кто жил в политическом, уголовном или уголовно-политическом подполье, оказывается, как правило, умнее законопослушных государственных деятелей, проживших жизнь в уюте и холе. Как заметил еще Достоевский, преступники умны. Да и сам Достоевский немало вынес из своего пребывания в политическом подполье.

Надежда на то, что из множества искр разрешенного Горбачевым вольнодумства возгорится пожар и вольнодумцы ниспровергнут кремлевскую диктатуру, ибо войска КГБ, охраняющие ядерное оружие, тоже станут вольнодумцами вроде ген. Калугина и перейдут на сторону народа, — это миф, куда более далекий от действительности, чем миф о ленинской "Искре" и прочем российском вольнодумстве, которое якобы "ниспровергло существующий строй".

По сравнению с нынешней глобальной мощью Кремля советский подданный — это не двухгодовалое дитя по сравнению с верзилой-гостем, и даже не муха, а микроб. В то время как кремлевскую власть-силу микробы не могут ни "ниспровергнуть", ни даже оскорбить, дозволенное Кремлем вольнодумство лишает их единственной былой защиты: тайны их мыслей и действий при Сталине. В те времена Ландсбергис, возможно, ушел бы тайно в леса и стал бы партизанить, тайно получая оружие от Запада через ЦРУ. В конце концов его бы тайно поймали, возможно, благодаря агентуре КГБ в западных разведках, но, как в старой песне поется, дел наделал бы он немало. Ныне же он восседает в своем кабинете. Он уже пойман. Он — в тюрьме или даже в лаборатории КГБ. "Последственный-подопытный Ландсбергис, расскажите нам, как вы нас ненавидите. Не стесняйтесь в выражениях, раскройте душу, развяжитесь! У нас не газета "Нью-Йорк Таймс", а свобода не только слова, но и души, психики. Исповедь, прием у психиатра, божий суд. И не торопитесь: вы осуждены навечно, а Литва — это пешка в нашей мировой шахматной игре, где победивший выиграет все. Если мы решим, что вас надо уничтожить как болезнетворный микроб, мы успеем это сделать и лет через десять, когда Горбачев будет богом, причем, возможно, всего человечества".

МИФ 4. *Предшественники Горбачева построили марксистскую или социалистическую, то есть неправильную, никуда не годную, несовременную экономику. Горбачев начал ее перестройку на капиталистический лад потому, что еще до его избрания на пост генсека в этой неправильно построенной и потому никуда не годной экономике начался экономический кризис. Она почти развалилась. Полки магазинов опустели. Положение стало катастрофическим. Страна оказалась на краю гибели, и нелепо даже предполагать, что Кремль может двигаться или хотя бы даже только стремиться к мировому господству в то время, как сама страна накануне экономического краха.*

Западному или советскому конформисту ничего нельзя доказать в 1991 г., как ему ничего нельзя было доказать в 1935 г. В 1935 г. он видел на советской территории лишь бурный рост производства всего на свете от стали до ботинок, целесообразность, научность, планирование, хозяйственность, механизацию, рационализацию, зажиточность, превращающуюся на глазах в изобилие. На все возражения у него были готовые разухабистые ответы. Если, например, ему говорили, что зерна произведено меньше, чем в 1913 г., то он разухабисто заявлял, что зато зерно-то в 1913 г. было никуда не годным, да и сама цифра 1913 г. — дутая. Зерно негде было хранить и не на чем было перевозить. Оно сыпалось в дороге, гнило, не доходило до потребителя. Каждый второй год в стране был голод. А посмотрите, какие сейчас элеваторы, грузовики, всевозможная техника, электричество, кино на селе, клубы, радио, патефоны, больницы, ясли, детсады.

Точно так же: скажите конформисту в 1991 г., что в 1946 г. советский сбор зерна составлял менее 40 миллионов тонн, в то время как годовые цифры веса собранного советского зерна после доработки с 1982 по 1989 гг. составляют 186,8, 192,2, 172,6, 191,7, 193,8, 180,2 и 196,7 миллионов тонн соответственно. Что же касается 1990 г., то сбор превосходит все эти цифры. Кроме того, ввозится ежегодно от 30 до 40 миллионов тонн. Если советскому населению угрожал голод еще до прихода Горбачева, то почему оно не умерло с голоду в 1946 г.? И если это экономический кризис, возможный голод и

гибель, то как же назвать состояние в 30-е, 40-е и 50-е гг? Или советское население тогда вообще не существовало на земле, а пребывало лет тридцать на том свете?

Прежде всего, конформист скажет, что советской статистике нельзя доверять. Мой ответ: "И не надо! Но поскольку власти придерживающиеся во главе с Горбачевым уверяют с 1988 г., что страна в экономическом кризисе и нуждается в западной помощи, то, если советская статистика искажает данные, она должна их искажать в сторону преуменьшения, а не завышения. Во-вторых, наблюдение урожая с западных спутников подтверждает советские данные."

На это конформист скажет вам то же, что он говорил в 1935 г., но только наоборот. Он разъяснит вам, что зерно 1980-х гг. никуда не годно (зато в 1946 г. оно было, надо полагать, высшего качества). Да и все цифры сбора зерна 80-х гг. — дутые, потому что не хватает грузовиков и элеваторов (а в 1946 г. тех и других было, надо думать, вдоволь). А посему зерно ссыпалось в дороге, сгнило, не дошло до потребителя. Противоположное же утверждают сталинисты, еще не перешедшие на сторону народа работники КГБ, генералы и другие противники нового мира и приверженцы мира старого. Зерно 80-х гг. — это пережиток сталинизма, родимое пятно проклятого колхозно-совхозного прошлого, и ничего в нем хорошего быть не может.

Отложив пока в сторону весь этот советско-западный конформизм, вспомним прежде всего, что и поныне здравствующая военно-промышленная сверхмонополия Кремля первоначально называлась государственным капитализмом, а не марксизмом, социализмом или сталинизмом. Действительно, это как бы концерн Круппа при Гитлере*, но увеличенный во много раз. Этот государственно-капиталистический сверх-Крупп и Ко. сохранится при любой перестройке, как сам Горбачев неоднократно заявлял, называя, разумеется, его социализмом, а не сверх-Круппом и Ко.

Согласно открытому ежегоднику советской статистики "Народное хозяйство", эта сверхмонополия как бы не

* Между прочим, этот концерн, созданный в 1811 г., и ныне существует как "Крупп" и, возможно, будет работать не на Гитлера, а на Горбачева.

существует, а существует лишь ее придаток, производящий "ширпотреб", как некогда выражались. Когда советско-западные конформисты говорят о "советской экономике", то они имеют в виду придаток, в то время как сама сверхмонополия для них как бы тоже не существует, кроме как туманное мнение, что в силу командно-административной косности, а также интриг генералов и КГБ советское оружие все еще производится, а не только уничтожается, хотя, разумеется, это все еще производимое советское оружие заведомо такой же старый хлам, как и советские ботинки.

Посмотрим, так ли никуда не годен не видный и не слышный советский сверх-Крупп и Ко., якобы (все еще) производящий старый хлам. Прежде всего, качество им производимого. Советская постоянная космическая военная база "Мир" (ее название показывает, что сталинский юмор в Кремле отнюдь не утрачен) имеет такое же военное значение для XXI века, какое имел первый крупный кругосветный корабль для мирового господства Европы над миром, длившегося около четырех веков. Космический корабль "Мир"* у всех на виду, ибо он выдается за мирную науку. Дескать, интересуются советские люди звездами и планетами, хлебом их не корми, а дай полететь на Марс, и Сталин пошел им навстречу сразу же после Второй мировой войны, а Горбачеву тем паче не гоже на Марс не полететь. "Московские новости" писали, что, мол, до чего ж мы странные люди, если страна на краю гибели, полки в магазинах пустые, голод ожидается, а нам Марс подавай!

Советская постоянная космическая военная база "Мир" — пять лет в космосе. Запущена она была в 1986 г., а ее американский аналог, стоимость создания которого уже определена в 37 миллиардов долларов, будет запущен в 1996 г., да и то вряд ли. Оружие, которое отстает от противника на десять лет, является в сегодняшних условиях старым хламом. Но, разумеется, и "советская независимая печать", и средства западного политико-культурного истэблишмента описывают советскую постоянную

* Видимо, под названием "Мир" Кремль имеет в виду господство над миром, причем Запад мирно, без войны сочтет себя побежденным.

военную космическую базу, если не как старый хлам, то во всяком случае как никому не нужную, бессмысленную и не заслуживающую никакого внимания затею вроде советского казенного мероприятия для школьников по случаю дня рождения Циолковского или Гагарина.

В каждой стране есть множество обывателей, для которых наше значит самое лучшее, а возражающий — предатель, агент иностранной державы или в лучшем случае психически больной. Как эти обыватели в США восхищались бомбардировщиками Би-52 над Ираком! Победа над Ираком была повсеместно расценена на Западе как разгром советской техники западной техникой, находящейся на грани фантастики, как бы сказал советский журнал лет семьдесят назад. Конечно, если бы иракцы были вооружены лишь (советскими) дробовиками, то бомбардировщики Би-52 явились бы еще более сокрушительным доказательством заведомого превосходства западной техники. Но в 1988 г. началось советское серийное производство самых больших в мире бомбардировщиков (название их никому не известно, кроме "лиц с допуском"), чья скорость (как показывают наблюдения со спутников) превышает скорость Би-52 более чем вдвое, а скорость новейшего Би-1Би в 1,6 раза. Самолеты, чья скорость вдвое или даже в 1,6 раза меньше, чем скорость самолетов противника, — это старый хлам, который обречен, причем любой американский летчик знает это и не вылетит на бой с таким противником.

Теперь не о качестве, а о количестве производимого сверх-Крупном и Ко., ибо при высоком качестве, и количество имеет значение. Возьмем для примера глобальное оружие.

К 1963 г. США потеряли монополию на ядерное оружие, поражающее территорию противника. Началось соревнование глобального оружия. С 1964 по 1990 гг. советский сверх-Крупн и Ко. создал 35 новых типов наземных глобальных ракет и 10 новых типов подводных лодок с ядерными ракетами на борту. А цифры для США за тот же период: 7 и 1. Один новый тип подводной лодки ("Охайо") за четверть века! Обратите также внимание на то, что 9 новых типов советских глобальных ракет являются гигантами по сравнению со всеми типами таких ракет США.

Но если так обстоит дело, то какого же рожна Горбачеву было надо? Не затеял же он "перестройку советской экономики" в самом деле оттого, что монтер Вania в Сызрани мог купить лишь стандартные советские ботинки (которые в Москве никто, разумеется, не покупал), а электротехник Жан в Париже мог выбрать себе пару из 1.000 разных моделей по самой последней моде.

Советско-западные конформисты исходят из своей априорной веры в то, что "советская экономика" была неправильно построена и никуда не годилась, а потому Горбачев решил ее перестроить от страха и с отчаяния на краю гибели. В действительности же в последние четверть века советский сверх-Крупп и Ко. превосходил по качеству и количеству произведенного военно-промышленный комплекс США, а Горбачев пожелал превзойти Запад еще больше, добиваясь *необратимого* глобального военного превосходства, которое заставит Запад мирно сдаться. Если советский сверх-Крупп и Ко. начнет всасывать в себя западную науку и технику всех стран, включая науку и технику хотя бы того же германского концерна Крупп, то военно-промышленный комплекс США станет провинциальным, каким сейчас является военно-промышленный комплекс Англии, или Франции. Ведь никто же ныне не сравнивает военную мощь Англии или Франции с советской. А ведь не столь исторически давно они были самые передовые и могущественные военные державы мира, которые победили Россию в Крымской войне на ее же собственной территории. Теперь же без союза с США даже бывшая владычица морей Англия может противостоять глобальному оружию Кремля не более, чем Финляндия, или Литва, или, если хотите, Валерия Новодворская.

Посмотрим теперь на ширпотребовский придаток. С самого начала 30-х гг. у монтера Вани в Сызрани никогда не было такого выбора товаров и услуг, какой всегда был у электротехника Жана в Париже. Но позвольте одну оговорку. Советскому писателю, гостившему в Нью-Йорке, я рассказал, как я купил в Москве перед отъездом на Запад в 1971 г. советские ботинки за 11 рублей, в то время как французские и другие заграничные стоили от 40 до 50 рублей. Советские ботинки оказались куда более носкими, чем любые западные. Советский писатель был

так же уязвлен, как в 1935 г. он был бы, вероятно, уязвлен, если бы я сказал, что, наоборот, советские ботинки оказались куда менее носкими, чем парижские. "Простите, — оправдывался я, чувствуя, что я теперь могу вполне подозреваться в сотрудничестве с еще не перешедшим на сторону народа КГБ и вообще в защите старого мира. — Но ведь экономика Запада стремится к тому, чтобы мода на все товары и услуги менялась как можно чаще: хотя бы каждый сезон, а в идеале ежедневно. Советские же ботинки предназначаются для трех поколений носки в военно-полевых условиях. Мне же на моду наплевать, а потому они меня очень даже устраивали." Советский писатель утверждал, что мой рассказ — заведомый вымысел, а ему-то досконально известно, что советские ботинки разваливаются на руках у покупателя еще до того, как он надел их на ноги.

Ничего, видимо, не было горше для советского писателя, чем мое утверждение, что советское население отказывается покупать сотни миллионов пар затоваренной советской обуви потому, что она — не модная, не заграничная, не шикарная.

Нью-Йоркский негр-телетайпист пожаловался мне, что его зарплаты ни на что не хватает: "Вот приличные ботинки, например. Пятьсот долларов пара". Дело в том, что производство советских ботинок в 1971 г. было сверхмассовым — сотни миллионов одинаковых ботинок. Отсюда 11 рублей за пару ботинок, включая гигантский налог с оборота. Те же ботинки, которые негр-телетайпист считает приличными, изготавливаются чуть ли не в единственном экземпляре и чуть ли не вручную. Отсюда 500 долларов за пару приличных ботинок, то есть треть месячной зарплаты негра-телетайписта.

Большинство советского населения жило с начала 30-х и до середины 80-х гг. на единообразном биологическом минимуме, вроде солдатского довольствия, представляющего собой простейший набор предметов первой необходимости сверхмассового производства. Но в целом по стране этот минимум рос с каждым десятилетием с начала 30-х гг. и за вычетом военных лет. Этот минимум в начале 80-х гг. нельзя даже сравнивать с тем, чем он был в 30-х, 40-х или 50-х гг. Это видно и невооруженным

глазом. В начале 30-х гг. даже маститые члены Союза писателей СССР (а все они составляли тысячные доли 1% населения) жили в коммунальных квартирах. А уже в 60-х гг. московская журналистка ("еврейской национальности") говорила моей жене: "Зачем же мне эмигрировать, если у меня квартира в Москве лучше, чем у корреспондента "Нью-Йорк Таймс" его квартира в Нью-Йорке"? Миф Горбачева о том, что на страну накануне его прихода к власти надвигалось всеобщее обнищание и она оказалась на краю гибели, соответствует действительности не более, чем миф Сталина в 30-х гг. о том, что страна движется к невиданному изобилию — раю на земле.

Сталин создал миф о движении страны к всеобщему изобилию весьма просто: материальные ценности, собранные со всей страны, сыпались как из рога изобилия, на Москву и отчасти на несколько других образцово-показательных городов, где бывали иностранцы. Москва стала Версалем. Поэтому многие москвичи были убеждены в 30-х гг., что вся страна движется к всеобщему изобилию, а если вне Москвы был голод, то это касалось их не более, чем придворных Людовика XIV касалась жизнь вне Версаля. А Горбачев создал миф о движении страны к всеобщему обнищанию еще проще. Он "снял Москву с особого снабжения". Версаль опустили до среднего уровня по стране. Для многих москвичей это все равно, как для придворных Людовика XIV испытать жизнь француза-простолюдина того времени. Они уверены, что страна на краю гибели. Я сказал приехавшей в Нью-Йорк москвичке: "Вы просто не замечали, что вся страна жила с начала 30-х гг. так, как теперь живет Москва, да и куда хуже. Ведь в Москве и весной 1991 г. с голоду не мрут." Та — в слезы. До чего же я жесток! Не пожелал даже понять: перебои в Москве с продажей мяса в государственных магазинах с 1988 г. — это мировая трагедия, гибель, апокалипсис, а отсутствие мяса в продаже в государственных магазинах в Рыбинске в течение пяти десятилетий — это лишь местная этнографическая мелочь. Да и западные журналисты о ней никогда не сообщали, потому что и поныне они все обязаны жить в Москве.

Коллективизация Сталина была головокружительным успехом — для Сталина: она позволила ему перекачать

этак миллионов сорок рабочих рук из деревни в военно-промышленную сверхмонополию. А то, что в "переходный период" возник голод, погибло некоторое число миллионов жизней, то Сталину-то какое до них было дело? У него же своя жизнь, а не ихняя. Я никогда не сомневался, что "перестройка советской экономики" будет еще более головокружительным успехом — для Горбачева или Пупкина: она позволит им увеличить производительность (с помощью науки, техники и капитала всех западных стран) и самой сверхмонополии и ее ширпотребовского придатка, а 40 миллионов освободившихся таким образом рабочих рук закачать в сверхмонополию, увеличив ее таким образом до таких размеров, что всякое соревнование с ней западных военно-промышленных комплексов окажется невозможным. В "переходный период" может возникнуть и голод, невероятная дороговизна, безработица, невиданная организованная преступность, бурный рост числа нищих и что угодно. Жизнь большинства населения станет подобной не жизни большинства населения США, а жизни большинства населения Африки. Но все это будет следствием "перестройки советской экономики", а отнюдь не ее причинами. И если "перестройка советской экономики" приведет Горбачева или Пупкина к власти над миром, то жизнь и смерть рядового советского населения будет значить для них куда меньше, чем его жизнь и смерть значили для Сталина.

МИФ 5. Коммунизм умер, коммунистические партии по всему миру меняют свои названия, а КПСС потеряла свое прежнее значение и на советской территории, где бурно развивается капитализм, восстанавливаются церкви и образ жизни приобретает облик России до 1917 г. или современной страны, не имевшей никогда никакого отношения к коммунизму. О каком же стремлении Кремля к мировому господству может идти речь, если коммунизм умер даже на его собственной территории?

Этот миф особенно расцвел в США, где распространено представление об истории как о борьбе вероисповеданий. Почему Кремль стремился к мировому господству, по мнению Аллена Даллеса, создателя ЦРУ? Как почему? Коммунизм желает обратить христиан в свою веру. Неког-

да христиане завоевали чуть ли не весь мир вне Китая, Японии и Ближнего Востока для того, чтобы обратить язычников в христианство (а мусульмане сражались с ними четыре века и завоевали Ближний Восток, чтобы обратить неверных в магометанство). Теперь очередь коммунистов обращать мир в свою веру. Держись, христиане! Не дай нехристям осквернить наши храмы и погубить наши души!

К Даллесу это представление пришло от Черчилля, который обратил внимание на следующее обстоятельство: из трех кремлевских олигархов 1918 г. один (Троцкий) был еврей, а из четырех олигархов 1925 г. один (Зиновьев) был еврей, а другой (Каменев) полуеврей. Естественно, евреи хотят обратить мир в свою веру, для чего им необходимо сначала заменить христианство коммунизмом, то есть еврейско-марксистским атеизмом, а уж там до иудейства будет рукой подать.

И вдруг коммунизм — умер! Кремль теперь не может обратить христиан в свою еврейско-марксистскую веру, потому что она умерла (а Троцкий, Каменев и Зиновьев были убиты еще раньше). Наоборот, на территории Кремля расцветает капитализм, а капитализм и демократия, как известно, сосуществуют во всем мире, и капитализм на советской территории приведет к демократии.

Раз коммунизм умер, то зачем же антикоммунизм? Тем более, что капитализм приведет к демократии. Бывший антикоммунист Рейган так и сказал: "Горбачев создает свободно-рыночную демократию." Ряд антикоммунистов, проповедовавших антикоммунизм в духе покойного Даллеса, заявили, что поскольку они победили коммунизм (свели его в могилу), то они свертывают свою деятельность. Некоторые из них, в том числе Рейган, поехали в Москву обняться душами с коммунистом-антикоммунистом Горбачевым, а заодно и с монархистами, капиталистами и церковными иерархами. Множество изданий на Западе поэтому закрылись. Закрылась газета "Нью-Йорк Сити Трибюн", где я печатался около десяти лет, а журнал "Комментарии", где в 1978 г. я опубликовал статью, которая помогла Рейгану попасть в Белый дом, лишился дотации. Раз победили коммунизм, то чего ж деньгами швыряться?

Я говорю советско-западным конформистам: "А как же нацистская Германия? Там был и капитализм, и антикоммунизм, и никакого тебе еврейского марксизма, а на солдатских пряжках отштамповано "С нами Бог!" Никто мне на это не ответил ни слова, и только одна москвичка промурлыкала: "Зато нашей нищеты там не было!"

Но и тут она ошибается. На международной конференции в 1938г. в Швейцарии представители Германии вынули во время перерыва привезенные из Берлина бутерброды с маргарином вместо "бутер" и термосы с эрзац-кофе. У них не было валюты для местного кафетерия. Все плохое на производство вооружения. Москвичка ошибается, полагая, что в антикоммунистической кремлевской империи она будет богаче, чем она была бы в антикоммунистической Германии до начала ее завоеваний и реквизиции продовольствия в завоеванных странах. А антикоммунисты ошибаются, полагая, что солдатские пряжки, на которых отштамповано "С нами Бог!", а не пятиконечная звезда, означают конец стремления диктатора к мировому господству, мир во Христе и всемирное братство. Кстати, Сталина православные иерархи называли "новым Константином", ибо он их приблизил осенью 1943 г., чтобы сделать православие государственной религией. Так что, ничто не ново под советской луной.

МИФ 6. Если бы Кремль двигался или хотя бы лишь стремился к мировому господству, то наблюдалось бы территориальное расширение советской империи. Но наблюдается, наоборот, ее территориальное сжатие и даже распад. Кремль вышел из Восточной Европы и Афганистана, отдаст, возможно, четыре северных острова обратно Японии, и его интерес к установлению просоветских режимов вроде Кубы явно снизился. Кремль также спокойно взирал даже на усиление сепаратизма внутри советской империи. То есть, в конце 80-х гг. пошел процесс, прямо противоположный росту империи.*

* Согласно западному мифу и советскому стратегическому обману, Кремль потерпел в Афганистане невиданное поражение и его марионеточный режим должен был рухнуть, как только советские войска покинут Афганистан 15 февраля 1989 г.

Миф прекрасно согласуется с западными и советскими учебниками истории. Сколько раз мы это читали еще в школе: рост империи такой-то, затем отпадение завоеванных территорий, затем распад. Согласно западным и советским учебникам истории, а также Пентагону и ЦРУ, мировое господство Кремля должно было осуществляться следующим образом: сначала захват Восточной Европы (был осуществлен!), потом Западной Европы, потом Карибского бассейна, включая Мексику, и, наконец, Северной Америки. После этого, собрав весь арсенал завоеванных стран, нетрудно будет прикончить Азию, Африку и Южную Америку.

Чего западные и советские историки не знают, так это современности. А современность — то есть последняя четверть века — отличается от предыдущих тысячелетий тем, что она глобальна. Повторяя сказанное ранее, одна советская подводная лодка "Пантера" может уничтожить США за десять минут. Зачем же Кремлю Восточная Европа? В смысле культуры Польша — это единственное в своем роде явление: второго Шопена не было и нет нигде в мире. Но в смысле пригодной для производства оружия науки и техники Восточная Европа по сравнению с советской империей — старый хлам. Мировое господство решается качеством и количеством оружия, а не тем, чей флаг развевается над Варшавой или даже Гаваной. А для создания необратимого превосходства оружия доступ Кремля к науке и технике всех западных стран, и в частности Западной Германии, несопоставимо важнее, чем красный цвет флага над Восточным Берлином. При Горбачеве произошло завоевание западной науки и техники. Это — ключ к мировому господству. А западно-советские конформисты ликуют, что Горбачев больше не будет есть консервы гуляш с гербом Венгерской Народно-Демократической Республики на этикетке.

МИФ 7. Советская военная мощь — чисто оборонительная, и она будет уменьшаться в той степени, в какой Кремль будет чувствовать себя в безопасности. Советская империя уже и сейчас разоружается в одностороннем порядке, а в результате соглашений произойдет дальнейшее разоружение, и советская империя станет

мирной процветающей демократией, распадется или во всяком случае не будет больше представлять собой никакой глобальной угрозы.

Я говорил уже о советской разработке 35 новых типов глобальных ракет с 1964 по 1990 гг. против 7 в США. Но интересно их распределение в 1980-х гг. по годам. С 1980 по 1985 гг. был разработан лишь один новый тип глобальных ракет. Самое мирное советское пятилетие с 1960 г.! А с 1986 по 1990 гг. создано пять новых типов глобальных ракет, в то время как США создали всего лишь один их новый тип за десять лет.

Можно ли представить себе, что подобное возобновление разработки новых типов глобальных ракет при Горбачеве предназначено для обороны? Пентагон дрожал от страха, что, не дай Бог, в войне против Ирака потери американской стороны убитыми, ранеными и пропавшими без вести превысят 300 человек. Какая буря негодования поднимется в США! А тут США пойдут войной на Кремль с его самыми мощными в мире глобальными ядерными ракетами, самыми мощными в мире бомбардировщиками-ракетоносцами и самым большим в мире подводным флотом, оснащенным ядерными ракетами. И посему бедному Горбачеву необходимо для обороны еще пять новых типов глобальных ракет. Ну, и конечно, два новых типа бомбардировщиков-ракетоносцев.

В 1987 г. США построили лишь две подводные лодки, а Кремль при Горбачеве строит их по 9 в год. В 1988 г. США не произвели ни одной баллистической ракеты для подводных лодок. А Кремль при Горбачеве производит их по 100 в год. В 1989 г. США не произвели ни одного бомбардировщика. А Кремль при Горбачеве производит их по 40-45 единиц в год. У США нет ни мобильных глобальных ракет, ни глобальных ракет многократного заряжения. Но именно их и производит советский сверх-Крупш и Ко., работая на полную мощность, на пределе, но как часы — точно по графику.

Этот сверх-Крупш и Ко. выпускает и ширпотреб ("конверсия"). Но он выпускал его всегда. Определить, выпускает ли он его сейчас меньше или больше, не представляется возможным. Сама же "Правда" и "советская независимая печать" ежедневно жалуются на отсут-

ствие ширпотреба. Чего нельзя сказать о глобальном оружии, невидимом для "Правды" и "советской независимой печати". Какое смертельное для США оружие из всех наблюдаемых со спутников видов оружия в советском арсенале? Крылатые ракеты дальнего радиуса действия, запускаемые с подводных лодок. При Горбачеве их выпуск увеличился почти в 6 раз, и выпускается их 200 единиц ежегодно, с точностью часового механизма!

А помимо всего прочего, зная благодаря спутникам о том, что уже произведено, Запад не знает о том, что находится в процессе разработки в закрытых помещениях и под землей. Атомные бомбоубежища для всего, что стратегически важно, включая правящий класс, являются тому примером. Они строятся уже свыше сорока лет, а Пентагон и ЦРУ узнали об их существовании только от нас, эмиграции 70-х гг.

Что касается соглашений о разоружении, то знаменитое советско-американское Соглашение об ограничении стратегического оружия было заключено в 1972 г. Но посмотрим на цитируемый мной ранее список новых типов советского глобального оружия. С 1969 по 1972 гг. не произведено ни одного нового типа. Полный отдых! Видимо, Кремль боялся вспугнуть Соглашение. А с 1972 г. по 1980 г. было создано 20 новых типов глобальных ракет и 5 новых типов подводных лодок при полном отсутствии новых типов таковых у США за тот же период.

Нарушил ли Кремль Соглашение 1972 г.? Или оно было составлено с такими лазейками, что развитие советского глобального оружия пошло полным ходом, в то время как в США оно прекратилось полностью?

Но ведь подобное соглашение — это целая книга. Кто же будет ее читать на Западе? Когда заключается соглашение между двумя западными компаниями и одна из них обжигивает другую, скажем, на 1 миллиард долларов, то начинается длящийся часто годами судебный спор, ибо юристы либо получают комиссионные от этого 1 миллиарда долларов, либо им платят по 600.000 долларов в год, ибо вопрос идет о том, кому достанется этот 1 миллиард долларов.

Но кто же будет вести годами такой судебный спор в случае нарушения Кремлем Соглашения 1972 г.? Разве

одна сторона тут получит, а другая потеряет 1 миллиард долларов? Вопрос идет лишь о советском мировом господстве. Кого же это лично касается? Но даже в смысле общей исторической судьбы и буржуазия на Западе теперь уверена, что при советском мировом господстве она будет жить припеваючи: это вам не восемнадцатый годик. Все забыли это Соглашение 1972 г. — даже само название многими забыто. А уж читать его, таких дураков поискать надо.

Прочтя (вот дурак!) текст Соглашения об уничтожении ракет среднего и ближнего радиуса действия (которое было подписано в декабре 1987 г.), я обнаружил, что согласно этому Соглашению советская сторона может уничтожить (взорвать) лишь оболочки от ракет, а не сами ракеты. Позвонил (вот дурак!) соответствующим работникам правительства США и взял у них интервью: они согласились со мной. Случайно попал на прием, где были президенты американских национальных телевизионных компаний и прочие. Развеселил одного президента, а когда он хохотал во все горло, я ему (вот дурак!) в таком же духе о том, что вот бы телевизионную программу насчет Соглашения по ракетам среднего и ближнего радиуса действия. Как советские военные взрывают оболочки от них, а? То-то будет смеху! Да и привлечет внимание — прибыль для его компании.

У него было выражение лица, как если бы я ему вдруг сказал, что я тяжело болен и прошу у него 20 000 долларов на операцию. Так в обществе себя не ведут. Он, возможно, подумал: "Ну и нахал! Кого они приглашают? Всякий сброд! Возмутительно!" Предлагаемая мной передача противоречила мифам XX столетия, а, следовательно, и заикаться о ней было непристойно. Чего же я хочу? Падения Горбачева? Возврата холодной войны? Срыва новых соглашений по разоружению? Я что — сталинист или даже агент сталинского КГБ? Во что я пытаюсь вовлечь национальную телевизионную компанию? Разве мне неизвестно, что все к лучшему в этом лучшем из всех возможных миров?

ЕЩЕ лет десять назад я высказал следующее предположение (в виде гласа вопиющего в пустыне, разумеет-

ся). Допустим, правительство США узнало, что Кремль может уничтожить почти все западные средства доставки ядерных боеголовок на советскую территорию. Почти все, но не все. Все уничтожить невозможно. Некоторые случайно останутся. Но по каким советским целям эти уцелевшие западные средства будут бить? По советским глобальным ракетам? Запад не знает, где находятся советские мобильные глобальные ракеты, ибо они мобильные. По советскому населению? Но тогда советские мобильные глобальные ракеты начнут бить по населению США, которое никогда не допустит своего самоубийства ради убийства каких-то там русских.

Узнав это, что же правительство США? А — ничего. Ведь Горбачев или Пупкин еще более милы. Что же, правительству США признаваться, что все кончено — по вине правительства США? Оно ничего, и Кремль ничего. А население США ничего не знает. Никакого события. Никто ничего. Но начиная с этой неуловимой, неизвестной и никак не выражаемой точки отсчета, история покажется вспять. Оптимизм Кандида окажется ошибочным опять и, быть может, навсегда. А за жизнь вольнодумцев в советской империи, да и на Западе, никто больше не даст и полушки в базарный день.

Запад-Восток

Поль М. Вайрик, Уильям С. Линд

РОССИЯ И АМЕРИКА

Десятилетиями американцы и русские смотрели друг на друга с подозрением и даже враждебностью. Это было следствие коммунизма, заложившего основу бесконечной "классовой войны" и создавшего таким образом неизбежную вражду между нами. Вам говорили, что мы хотим притеснять вас, мы же слышали высказывания ваших руководителей о том, что они "похоронят нас". Коммунизм стоял между нами как обоюдоострое копьё, которое пронзало и насильственно разделяло нас.

Но коммунизм в России увядает, а копьё раскалывается. Сейчас, когда мы смотрим друг на друга, мы видим нечто иное. Американцы видят, что русские — это народ, борющийся за восстановление своей свободы и перестройку существующего общества, которое сможет накормить и одеть своих граждан, дать им жилище, позволит людям жить, а не просто существовать. Мы восхищены вашими начинаниями и хотим вам помочь.

Вы смотрите на нас как на народ, который смог сделать то, что вы пытаетесь сделать сейчас. В наших магазинах полным-полно любых продуктов, мы хорошо живем и хорошо одеваемся. Как сказал один русский, "Америка — страна красивых женщин, скоростных автомобилей и чистых туалетов". Кроме того, мы свободны. Мы можем говорить, писать и читать все, что хотим, жить там, где хотим, выбирать профессию или ремесло по нашему желанию, поклоняться или не поклоняться тому, что для нас наиболее приемлемо.

Оба эти взгляда практически верны, но оба поверхностны. Каждое общество обладает более глубоким уровнем, где и обнаруживается наше сходство. Хотя на поверхности мы кажемся совсем разными, но на более глубоком уровне мы сталкиваемся с некоторыми общими проблемами.

ми и трудностями. Наше общее будущее зависит от того, как мы, американцы и русские, осознаем эти трудности и будем вместе работать над их преодолением. Есть три такие трудности.

Первая заключается в том, что русские и американцы должны осознать, что на самом деле произошло в России. Большевизм не просто принес отрицание свободы и разрушение естественного экономического механизма, т.е. рынка. Он также предпринял широкое наступление на традиционную русскую культуру. При этом он развернул наступление не только на важные аспекты высокой культуры, подвергая цензуре литературу, искусство и музыку, но и на народную культуру: на ценности, дух, веру и привычки, которые руководят действиями простых людей в их повседневной жизни.

До Октябрьской революции Россия имела функциональную культуру. Люди слабы по самой природе человека, поэтому во всех странах и во все времена им часто не удавалось свершить то, что было необходимо. Но дореволюционная русская культура хотя бы указывала людям верные пути. Она прививала людям такие ценности, как честность, порядочность, взаимное уважение, разумное поведение в обществе, милосердие, готовность помочь друг другу. Она осуждала мошенничество, лживость, эгоизм и отказ от исполнения своих обязанностей. Во всем этом она отражала традиционные ценности и верования иудео-христианской культуры, т.е. той великой культуры, которая в последние три с лишним тысячи лет исходила из Иерусалима и Афин, Рима и Константинополя.

Большевизм отрекся от традиционных иудео-христианских добродетелей и вместо них активно насаждал зло. Тех, кто искал или говорил правду, наказывали. Большевизм требовал, чтобы люди принимали и провозглашали ложь о том, что коммунистическая партия служит народу, хотя на самом деле она отражала интересы малочисленной элиты. Он создал экономику, при которой обман и нечестность стали необходимостью, ибо без них человеку нечего было есть. Он сделал зависть добродетелью, так что человек, заслуживший вознаграждение в результате выпуска лучшей продукции или оказания лучшей услуги,

подвергался ненависти. Как сказал один человек из России: "большевизм — это политический СПИД. Он разрушает иммунитет общества, открывая путь многим другим болезням".

Как сильно это наступление разрушило традиционную культуру России, могут определить только сами русские. На основании того, что мы слышали от русских, можно предположить, что значительная часть традиционной культуры все еще жива в частной жизни людей. Но из услышанного также можно предположить, что произошел крах общественного духа. Нам стало ясно, что такое длительное, злобное наступление на культуру, которое большевизм предпринимал на протяжении 70 лет, не может остаться без последствий. В той или иной степени он должен был нанести культуре ущерб.

Мы, американцы, можем сказать, что если России опять суждено стать функциональной страной, то ее граждане должны осознать необходимость полноценного восстановления своей традиционной культуры. Как ни важны экономическая и политическая системы, основой любой нации остается ее культура. Демократия и свободный рынок не будут работать, если не будет серьезной культуры, а это означает в России и Америке, что люди живут исходя из ценностей и духа иудео-христианской культуры. Без этой культуры ни у России, ни у Америки не будет будущего, а лишь разложение и упадок.

Но если культуру удастся восстановить, то будущее России может снова стать ярким, как это было примерно в течение десятилетия до революции, во времена столыпинских реформ. Наша традиционная иудео-христианская культура действует. Во всем западном мире она создала общества, уникальные по своей истории, свободе и процветанию. Продуктом этой культуры являются демократия и свободный рынок. Перестройка русского общества, которое сможет функционировать, зависит от возможности восстановления русской культуры.

Вторая стоящая перед нами трудность заключается в осознании факта, что происшедшее в России, т.е. наступление на культуру, происходит и в Америке. Америка

теряет свою традиционную народную культуру, образ жизни и поведения, дух и ценности, которые привели к ее величию.

Это трудно осознать как американцам, так и русским. Вы смотрите на Америку и видите успех. Но вы не замечаете, что успех наш увядает. Вы не видите распада нашей системы образования, при которой выпускники высшей школы становятся неграмотными в функциональном и культурном смысле. Вы не замечаете растущей неспособности нашей экономики конкурировать с такими государствами, как Япония, которая обладает более твердой хваткой по отношению к функциональной культуре (китайская культура, разновидностью которой обладает Япония, — тоже функциональная). Вы не видите нашей преступности, людей низшего класса, элиту, которая хочет служить только самой себе, а не обществу. Многие американцы тоже не видят этих явлений, хотя все они нас окружают.

Частично ни русские, ни американцы не видят происходящего разложения американской культуры из-за различия ряда причин. Например, если ваш дух был подавлен бедностью, ожесточенной борьбой за то лишь, чтобы получить еду и кров, то наш дух был сдвинут с верного пути процветанием. Так легко стало жить в Америке в условиях умеренного комфорта (с точки зрения основных потребностей, даже американцы, живущие на социальные пособия, имеют лучшие условия жизни, чем большинство русских), что культура и ценности кажутся ненужными. Яркий пример того — вопрос об абортах. Если вы прерываете жизнь многих зародышей в утробе, потому что родители не в состоянии прокормить еще одного ребенка, то мы прерываем их жизнь, потому что ребенок может быть своим родителям помехой в их стремлении жить беззаботно. Причины разные, но результат тот же — растущая бессердечность по отношению к человеческой жизни.

То же можно сказать о многих русских, которые утратили свою религиозную веру из-за преследований. Верующих сажали в тюрьмы или убивали, в лучшем случае их лишали средств к существованию. Было закрыто так много церквей, что людям негде было участвовать

в богослужениях, а священникам не разрешали обучать Закону Божьему молодежь. Многие американцы тоже не участвуют в богослужениях — то потому, что в воскресенье утром приятней полежать в постели и почитать газету, то потому что слишком заняты своей карьерой, чтобы отрывать время на религиозные заботы, то потому, что хорошее питание и медикаменты как бы отдалили от них смерть. Причины разные, но результат тот же: люди теряют основной источник сильного духа и ценностей, самое основу нашей традиционной культуры — веру в Бога и Его законы.

Частично же мы не видим параллелей между путем России и путем Америки из-за того, что мы не замечаем сходства мотивов даже там, где оно есть. В России марксизм-ленинизм позволил бюрократии захватить все общество. Бюрократия — не просто способ организации, она превращается в культуру. Как в любой культуре, в ней есть своя система ценностей. Но почти все эти ценности отрицательные. Бюрократия вознаграждает человека, который сконцентрирован на себе, ставит свое благосостояние выше благосостояния других. Она вознаграждает человека, который угождает начальству за счет изготовления хорошей продукции или предоставления качественных услуг. Бюрократия вознаграждает тех, кто "смотрится хорошо" путем хитрости и лжи, а не тех, кто хорошо работает. Влияние ценностей бюрократии заключалось в разрушении традиционных ценностей по всей России.

В Америке происходит то же самое и по той же причине. Бюрократия и ее культура овладевают Америкой. Наше правительство, как и в России, бюрократическое. За последние 70 лет американское правительство, будучи сравнительно отдаленным от народа, а значит, более бюрократическим, взяло на себя многие функции и полномочия местных и штатных органов управления. Многие частные отрасли промышленности обюрократились (что и является главной причиной растущей неконкурентоспособности нашей экономики). Многие люди элиты стали преуспевающими бюрократами (наподобие вашей "номенклатуры"), ничего полезного не производящими, но обученными подхалимству и внешнему лоску. Почему американцы не могут заметить эту параллель с

Россией? Потому что мы просто приписываем все проблемы России "коммунизму", но не смотрим глубже, не смотрим на культуру, что с ней произошло и почему.

Вероятно, главной причиной, по которой американцы не замечают, что в настоящее время идут той же дорогой, что и Россия, является их неумение думать о культуре. Для большинства американцев наша свобода и процветание даются нам автоматически. Это как реки и горы, как дела Божьи, которые всегда существовали и будут существовать. Мы забыли, что свобода и процветание были созданы огромными усилиями наших предков, связанными с большими жертвами и вызвавшими множество страданий. Эти усилия были предприняты нашими предками во имя того, во что они верили, — во имя их веры, духа и ценностей, во имя их культуры. Именно сама эта культура смогла поддержать и сохранить их. Если культура потеряна, то, в конечном счете, будет потеряно все. Как Россия стала страной Третьего мира, так и мы станем такой страной.

Нам нужна помощь России, чтобы понять это. По мере того, как русские стали понимать, что их основная задача заключается в возрождении своей культуры, так как культура является базой для всего другого, им нужно поделиться этим пониманием с американцами. Часто человек не видит собственных опасных слабостей, пока на них ему не укажет друг. То же может относиться к народам. Нам нужен друг, русский народ, который предупредит Америку об опасности выбранного пути, проложенного по той же ужасной дороге, на которой Россия так сильно страдала и страдает. Различий в проложенном нашими странами курсе меньше, чем общностей. Но американцы не увидят этих общностей, пока вы им на это не укажете.

Третья стоящая перед нашими странами трудность заключается в осознании угрозы иудео-христианской цивилизации извне, т.е. со стороны других культур. Около 500 лет тому назад в рамках иудео-христианской культуры возникла наука и техника Нового времени. В результате, появились корабли, которые могли плавать по океанам и пересекать их, паровые двигатели и эффективные

медикаменты, электромоторы и средства быстрой связи, а также мощное оружие. Они, в свою очередь, создали господство нашей культуры над всем миром.

К началу нынешнего столетия любой вызов иудео-христианской цивилизации со стороны другой культуры казался невообразимым. Последним таким вызовом явилась осада Вены турками в 1683 г. Те части мира, которые не принадлежали непосредственно иудео-христианским государствам в качестве колоний, были, тем не менее, полностью подчинены их диктату — возьмите, к примеру, реакцию на боксерское восстание в Китае. Лишь одна нация, которая не была частью иудео-христианской цивилизации, но довольно успешно копировала ее элементы на пути к модернизации, — это японцы.

Русско-японская война и ее исход послужили нам предостережением, но мы не обратили на него внимания. Вместо этого иудео-христианские государства противостояли друг другу в трех ужасных гражданских войнах: 1-й Мировой войне, 2-й Мировой войне и "холодной войне". Ущерб был огромным, больше всех пострадала Россия. В 1917 г. Ленин был экспортирован в Россию имперской Германией как оружие войны, которое по степени нанесенного ущерба было мощнее атомной бомбы. Кажется, что сейчас гражданские войны уже окончены благодаря падению коммунизма в России (ведь коммунизм проповедовал нескончаемую гражданскую войну). Но мы обнаружили, что выходим из этого положения среди руин.

Это крушение огромно по своим последствиям. Господство иудео-христианской культуры над миром, завоеванное таким тяжелым трудом в течение 500 лет, исчезает. Сейчас эта культура является одной из соперничающих культур среди множества других, причем другие на подъеме, а мы стараемся тормозить наше падение. Конечно, мы надеемся, что конкуренция культур будет мирной, наподобие экономической конкуренции между Америкой и Японией. Мы не пытаемся нажить врагов или создать конфликт. Но человеческая природа предупреждает нас, что такие надежды, хоть и благородны, могут оказаться нереалистичными. Скорее всего, мы должны

рассматривать возможность возникновения межкультурных войн, серьезной угрозы со стороны других культур, с чем мы не сталкивались на протяжении столетий.

Все эти трудности, т.е. потребность для России возродить свою культуру, если она опять станет функциональным государством, потребность для Америки осознать, что она идет по тому же пути, которому следовала Россия, — по пути потери культуры, а также возможность угрозы нашей общей культуре извне, указывают на необходимость совместных действий, причем успеха в этих действиях мы сможем добиться только совместными усилиями. Мы должны возродить иудео-христианскую культуру у себя дома и быть готовыми к ее защите за рубежом, причем делать это мы должны как друзья и союзники.

Помощь, которую мы можем оказать друг другу, очевидна. Если Россия смотрит на Америку как на модель успеха, то она прислушается к тому, что мы говорим. Если в нашем послании говорится о важности культуры и невозможности создать функционирующую Россию без возрождения традиционной культуры, то к нему прислушаются многие русские, которые в противном случае не услышали бы его. Значительную силу этому посланию придает то, что оно исходит и от американцев, и от русских.

Защита иудео-христианской цивилизации от внешних угроз, от нападения других культур может быть успешной лишь в случае участия в ней как Америки, так и России. Если иудео-христианская культура в целом не увидит потенциальной угрозы межкультурных войн, то она не сможет защитить себя. Нужны русские и американские голоса, чтобы поднять тревогу и предупредить, что мы уже не живем в мире, где только иудео-христианские государства являются серьезными участниками состязания.

Вероятно, самым важным в этом отношении для русских и американцев является совместная работа по возмещению ущерба, нанесенного с 1914 года. Это ущерб физический, умственный и моральный. События, которые начались в тот ужасный год, принесли нам всем опустошение и отняли у сообщества наций, частью которого являются обе наши страны, чувство общности. Мы должны

опять осознать, что живем в общем доме. Огни, погасшие в тот год по всей Европе, наконец должны зажечься вновь.

И, наконец, самое важное с нашей, американской точки зрения: нам нужна помощь России. Нам нужна ваша помощь в борьбе за сохранение и возрождение нашей распадающейся культуры, прежде чем она будет потеряна и ее нельзя будет восстановить. Если Россия начнет борьбу за возрождение традиционной культуры, то это увидят и об этом услышат здесь. Это окажет огромную помощь тем из нас, кто пытается сражаться за остатки нашей традиционной культуры в Америке.

Пример того, где именно вы можете нам помочь, очевиден, если посмотреть на одного из великих разрушителей американской культуры — на телевидение. Американское телевидение не только неустанно проповедует зло — материализм, сладострастие, мгновенное удовлетворение, оно подрывает самую мысль. Так как телеэкран вечно движется, он не дает возможности размышлять, у зрителя нет ни нужды, ни возможности проявлять умственную активность. Зритель инертен, его мозг пассивен. В противном случае он пропустит то, что ему показывают.

Если Америка предалась видеокультуре, то Россия сохранила литературную культуру. Русские люди до сих пор читают книги и стихи. Они читают и знают великую литературу своего прошлого. Мысли, передаваемые через литературу, являются частью повседневных разговоров, а люди начинают понимать человеческую природу через литературу. Глядя на вас, мы сможем отчасти возродить то, что относится к нашей литературной культуре. Вы сможете помочь нам увидеть ее важность даже в современных условиях.

Таким же образом вы можете помочь нам возродить религию. Трудно представить, как Россия и Америка могут восстановить свою культуру без религиозного возрождения. Религия является источником культуры, а культура возникает из вероисповедания. В связи с тем, что вы опередили нас в потребности перестройки культуры и, возможно, в понимании важности культуры, такое религиозное возрождение может начаться в России. Если оно начнется, пожалуйста, не забудьте нас. Судьба может

распорядиться так, что возрождение веры придет к нам от вас. Может быть, наше собственное возрождение начнется тогда, когда первый самолет Аэрофлота приземлится в Нью-Йорке с "грузом" православных проповедников.

Описанные здесь трудности велики. В сравнении с ними трудности, связанные с тем, чтобы вернуть хлеб и мясо на полки магазинов в России, могут показаться незначительными. Но если мы не будем бороться с этими трудностями совместными усилиями, не будет мяса и хлеба ни в России, ни со временем в Америке. Наша культура — великая иудео-христианская культура — сделала Америку свободной и процветающей. Она также могла бы сделать Россию страной свободной и процветающей, если бы не бедствия, пришедшие к ней в 1914 г. Если эта культура исчезнет, а сейчас она исчезает, то мы будем лежать вместе и умирать в ее прахе. Если же нам удастся возродить ее, то мы сможем жить вместе в ее сиянии.

ВАЙРИК Поль М. — писатель, специалист по общественной политике и политический активист, президент "Фонда свободного конгресса", научно-исследовательского и учебного института. Под его руководством и при участии постоянных сотрудников и приглашаемых ученых Фонд проводил учебно-практические и образовательные мероприятия во множестве разных сфер: от обучения американцев методам успешного влияния избирателей на политику до обучения людей в Советском Союзе и Восточной Европе принципам и практике демократии и свободных выборов.

ЛИНД Уильям С. — директор Центра культурного консерватизма при "Фонде свободного конгресса". Будучи одним из вдохновителей движения за военную реформу в США, он является известным экспертом по делам армии и обороны. Автор "Учебника военных маневров" и соавтор, вместе с сенатором Гэри Хартом, книги "Америка может победить: вопрос военной реформы". Один из лидеров культурно-консервативного движения в США и один из авторов книг "Культурный консерватизм: к новой повестке дня" и "Культурный консерватизм — теория и практика".

КОНСОЛИДАЦИЯ: НА КАКОЙ ОСНОВЕ?

По материалам Римской встречи

На эту встречу собрались люди очень разных политических, социальных, экономических, не говоря уж об эстетических, взглядов. Более того — разных духовных, мировоззренческих ориентаций. Но люди, озабоченные одним: судьбой своей страны, своего народа. В этом нет и не должно быть у нас сегодня, если только мы и в самом деле хотим хоть сколько-нибудь успешно поработать, никаких сомнений и разночтений. Здесь нет людей, не любящих свое отечество, и нет никого, кто имел бы какие-либо основания присваивать себе или своим единомышленникам исключительное право именоваться патриотом. Вот презумпция нашей встречи, с которой ее необходимо, я уверен, начать и на основе которой она только и может состояться. Иначе нечего было, конечно, и в Рим ехать — за семь верст киселя хлебать. Тот кисель, который варится по другому рецепту, мы и дома хорошо варить умеем.

Конечно, всякое самообольщение вредно, и, я думаю, здесь нет никого, кто имел бы наивность придавать слишком преувеличенное значение таким, как наша, интеллигентским встречам и разговорам. Тем более в той ситуации, в какой находится сегодня наша страна. Приходится признать, что то страшное движение стихии, которое Александр Солженицын так выразительно и точно называл Красным Колесом, уже началось у нас, и на его ход и направление куда больше, чем интеллигенция, влияют сегодня, увы, те, кто выбрасывает сотни тонн колбасы в овраги Подмоскovie или останавливает на подъездах к столице крестьян, везущих мясо. Это, конечно, не вдохновляет и не увеличивает радости оттого, что вот мы собрались, наконец, все-таки вместе, да еще в самом Риме, да еще при таком стечении публики и внимании

прессы, и даже, говорят, самого Президента СССР. Вот какие мы важные...

Тем не менее, как бы смиренно ни оценивали мы сегодня свои реальные возможности, значение нашей встречи может быть все-таки достаточно весомым. Потому что даже если бы нам удалось здесь хотя бы в малой мере поспособствовать пусть даже не устранению, а просто смягчению той резкой конфронтации, которая увы, характерна для сегодняшней жизни нашей так называемой творческой интеллигенции и крайняя — скажем так — нежелательность которой в условиях нынешней жизни страны очевидна сегодня едва ли уже не всем, — если бы нам удалось здесь, на нынешнем нашем собрании, как-то продвинуться хотя бы в этом только направлении, уже и этого было бы, конечно же, совсем немало. Ведь, собственно, именно эта надежда, вдохновившая организаторов нынешней встречи, собрала сюда и всех нас, ибо кого же, кроме разве лишь последних горлохватов, политических дельцов и интриганов, у которых за душой нет ничего, кроме жажды власти, может оставить равнодушным такая возможность?

Тем не менее должен признаться, что я (и, думаю, не я лишь один) ехал на эту встречу с нелегким сердцем. С нелегким не только потому, что на фоне царящего в стране хаоса и разорения в нашей поездке сюда, в прекрасную солнечную Италию, чтобы вести здесь разговоры о положении в стране, есть все-таки, согласитесь, что-то неловкое, что-то как бы неуместное, хотя на это мероприятие и не затрачено ни копейки народных денег. Но еще неприятнее и беспокойнее то чувство гнетущей неясности и неопределенности, которые было и все еще не развеялось, во всяком случае, у меня — и в отношении главного в нашей встрече — в отношении того, в чем может состоять конкретная, реальная цель и задача нашей встречи, то есть о какой, собственно, консолидации может и должна идти сегодня речь, какая консолидация в среде столь яростно враждующей ныне интеллигенции возможна и возможна ли она вообще.

Вот эта-то давящая неясность и связанные с нею невеселые сомнения, а вовсе не наличие каких-то положительных конструктивных предложений и программ,

и есть та причина, по которой я принял предложение В.Е.Максимова выступить в начале нашей встречи. Мне именно и хотелось поделиться с вами этими своими сомнениями и размышлениями — в надежде, что, может быть, как раз такое начало и окажется небесполезным для уяснения реального смысла и задач нашей работы. А тем самым поможет ее как-то и структурировать.

Сложность нынешнего положения нашей творческой интеллигенции вообще и сложность нашего положения здесь, на этой встрече, я вижу, в частности, в характере того главного, решающего запроса, который обращает к нам сегодня духовная ситуация, сложившаяся в стране.

То, что это ситуация духовного кризиса, очевидно сегодня всем, об этом пишут и говорят ныне постоянно и повсеместно, указывая и на ужасающий рост преступности, и на очевидное падение общественных нравов, особенно у молодежи, и на общее снижение духовного уровня жизни, и на ожесточение межнациональных отношений, и т.д. и т.п. И я могу понять ту озабоченность, которую вызывают все эти процессы, например, у В.Распутина или В.Белова и которая и нашла свое выражение в их известных выступлениях на съезде народных депутатов.

Но всегда ли и вполне ли отдаем мы себе отчет в действительном существовании этого духовного кризиса?

Мне кажется, мы вряд ли сумеем разобраться в нем хоть сколько-нибудь основательно и верно, если не уясним себе его резко своеобразный, небывалый, поистине уникальный характер. И если не поймем, что истоки этой уникальности — в уникальности той исторической ситуации, которую мы пережили после 1917 года.

В самом деле, ведь в 1917 году у нас произошла не просто некая, пусть даже грандиозная, политическая и социальная революция, подобная тем, что происходили на Западе. И результатом ее была поэтому отнюдь не только перемена государственной власти, политической системы или отношений собственности. Эта революция обернулась последствиями куда более глубокими — она обернулась кардинальным изменением и всей структуры духовной жизни в стране.

В чем это кардинальное изменение заключалось? В том прежде всего, что уже само то место в душе человека, в душе каждого человека, которое предназначено, если можно так выразиться, для смыслообразующего ядра его личности и которое естественно заполняется либо религией, либо равномасштабными ей иными общемировоззренческими ориентациями, — это место едва ли не у подавляющего большинства населения страны после революции 17 года оказалось постепенно занято чем-то совершенно, типологически иным. Крушение религиозности в народе произошло, как мы знаем, довольно быстро и практически оно носило, к сожалению, почти всеобщий характер, — даже и тогда, когда внешние признаки какой-то религиозности и сохранялись. Другие общемировоззренческие ориентации в их собственном, действительно структурообразующем для личности человека значении тоже практически утратили свой смысл перед лицом и под тотальным прессом той социально-политической веры, которая стала насаждаться новой властью и постепенно заменила собою все иные формы верований, — даже и тогда, когда она принималась, казалось бы, чисто формально или даже вызывала сопротивление и политическое противостояние, потому что все равно оттягивала тем самым именно на себя ту духовную энергию, которая предназначалась совсем для другого. Парадоксальная уникальность сложившейся ситуации заключалась, таким образом, в том, что духовное пространство, предназначенное для того или иного, как говорили в старину, смысла жизни, невозможного без абсолютных, неуничтожимых целей и ценностей бытия, впервые, кажется, в истории у едва ли не подавляющего большинства населения целой страны заполнила собою полная, в сущности, бессмыслица некоего коллективного упования на сугубо социальное обустройство жизни (да еще в отдаленном "светлом будущем", требующем пока что лишь жертв и жертв!...).

Вот эта-то парадоксальная уникальность долгие десятилетия господствовавшей в стране ситуации и привела к тому, что столь же парадоксальная и столь же уникальная по своему характеру ситуация возникла в стране и сегодня, в годы перестройки, когда коллективная

гипнотическая замороченность "идеалами социализма" вдруг развеялась и тотальная долголетняя вера в них, в конце концов рухнула (а она уже рухнула, в этом нужно отдавать себе полный отчет). В результате то место в душах людей, которое предназначено для смыслообразующего ядра человеческой личности и которое эта бывшая социальная вера теперь освободила от себя, оказалось едва ли не у большинства населения нашей страны практически пусто.

Иными словами, парадоксальная уникальность переживаемой нами ситуации состоит в том, что наша далеко еще не свободная страна переживает сегодня состояние такой *духовной* свободы, какую не знает и не знала, пожалуй, ни одна страна, ни один народ в мире, шедший путем органического, эволюционного исторического развития. Это свобода *духовного вакуума* — свобода от всяких сколько-нибудь устойчивых и надежных высших духовных ориентиров, способных дать духовное обоснование человеческому бытию, выявить его смысл и обозначить систему нравственных ценностей, связанных с этим смыслом.

Да, как мы все сейчас наблюдаем, в широких слоях общества, особенно у молодежи, появился очевидный интерес к религии. Но, как показывают некоторые последние статистические исследования, среди тех, кто так или иначе считает себя связанным с русской, например, православной Церковью, действительно, по-настоящему верующих очень немного — всего 7—8%. Надо смотреть правде в глаза: подавляющее большинство населения страны и сегодня практически безрелигиозно.

С другой стороны, и какие-либо иные формы духовно-мировоззренческих верований в нашем обществе тоже еще не выработаны, во всяком случае, не имеют сколько-нибудь широкого, устойчивого и определенного бытования.

Вот эта-то ситуация духовного вакуума, переживаемая нами, и есть та духовная, вернее, бездуховная, почва, на которой пышным цветом начинает расцветать все то, свидетелями чего мы являемся. Именно здесь главная, глубинная причина небывалого роста преступности, наркомании, проституции, огромного распространения самых низкопробных форм так называемой "массовой культуры",

роста межнациональной вражды, насилия, ненависти и т.д. и т.п. И только уяснив эту крайне важную, а сегодня, просто *решающую* истину, и можно надеяться увидеть тот реальный путь, на котором мы, может быть, еще и сумеем более или менее успешно преодолеть все эти негативные грозные явления.

В самом деле, как со всем этим бороться? Как бороться с падением нравов, с катастрофическим снижением духовного уровня жизни общества, — со всем тем, что несет с собой переживаемый страной духовных кризис, смертельную опасность которого понимаем и чувствуем мы все?

Я не буду приводить факты, называть какие-то конкретные фамилии, — вы и сами знаете, сколько раздавалось по этому поводу всякого рода призывов, чуть ли не напрямую обращенных к властям предержащим и порожденных, несомненно, мощной инерцией столь привычного для нас, вкоренившегося в наше сознание и все еще не изжитого административно-командного мышления: запретить такие и такие-то молодежные программы, ввести закон о нравственности, покончить с распущенностью печати и т.д. и т.п. Я не говорю уже о той энергии, которая тратится на всякого рода гневные обличения нашей неиствующей на рок-концертах молодежи и прочего "бесовства" в политике, в быту, в искусстве, в печати.

Беда, однако, в том, что все это основано на полном непонимании той глубинной природы всех этих негативных явлений, которая и укоренена как раз именно в трагической уникальности переживаемого страной духовного кризиса и которая требует совсем другого к ним подхода. Потому что здесь нужно отдавать себе ясный отчет по крайней мере в двух важнейших моментах.

Во-первых, в том, что даже через самые крайние формы распада и выпадения в воинствующую асоциальность находит свое пусть извращенное, но несомненное выражение, особенно со стороны молодежи, яростный бунт против диктата той нашей общеобязательной социальной веры, которая насаждалась многими десятилетиями и которая хотя и рухнула ныне в обществе от собственной несостоятельности и лживости, однако продолжает еще оставаться официальной верой правящих верхов во главе

с самим Президентом. Это, если угодно, тот экзистенциальный бунт человеческой свободы против всякого над собой насилия, о котором в свое время говорил Достоевский. Христианнейший писатель, он тем не менее постоянно подчеркивал и напоминал, что человек — существо свободное и право свое на свое собственное вольное хотение, на свой собственный, хотя бы самый дикий каприз он будет всегда хоть своими боками, хоть троглодитством, — но — доказывать!... Вот эту-то стадию, когда человек, особенно молодой, только что вышедший из тоталитарного общества, доказывает свою человеческую свободу *троглодитством*, мы сейчас и переживаем.

Во-вторых же, еще более важно отдавать себе отчет в том, что и само "троглодитство" этих форм протеста тоже отнюдь не случайно. Более того, что даже при самом "троглодитском" характере этих форм они вовсе не являются зачастую "троглодитскими" *субъективно* — по сознательному намерению и даже по самосознанию их носителей. Иными словами, в них нельзя всегда и всюду видеть проявление всего лишь некоего откровенного и вменяемого *разврата*. В том-то и беда, что они уходят своими корнями в самую суть, в самую глубинную природу того духовного кризиса, который переживает ныне наша страна, освободившаяся от общеобязательной социальной веры, которая заменяла ей религию, но все еще не имеющая сколько-нибудь устойчивой духовной опоры ни в религии, поскольку подавляющее большинство ее населения практически безрелигиозно, ни в каких-либо иных мировоззренческих верованиях такого же духовного "масштаба". И вот эта-то ситуация и порождает все те формы безрелигиозного сознания с его отнюдь не абсолютными, а лишь относительными этическими критериями, когда вовсе не распадом, а вполне естественной нормой может казаться и отношение к сексу как к обычному удовольствию, вроде вкусного обеда или чашки кофе, и нравственный релятивизм, снимающий, например, понятие супружеской измены, верности или искренности, и занятие проституцией, и любой отказ от каких-либо социальных обязанностей и т.д. и т.п... Нужно понимать, иными словами, что все эти негативные явления есть чаще

всего не выражение какого-то *сознательного бесовства*, а следствие глубокой духовной *болезни*, которою поражено все наше общество и которую не одолеешь ни запретами, ни обличениями, способными вызвать в ответ только еще более ужасные формы троглодитства, на фоне которых аэробика, так напугавшая когда-то Вас.Белова, даже и ему покажется, наверное, уже верхом целомудрия и красоты. И нам нужно понять и приучить себя к мысли, что в гражданском открытом обществе, в демократическом правовом государстве, к которому мы как будто бы движемся и намерены двигаться, все эти формы современной так называемой "массовой" бытовой культуры, все эти порождения внерелигиозного этического релятивизма и бездуховного гедонистического потребительства не только не исчезнут в течение еще очень долгого времени, но обретут статус *легальности* и, скорее всего, на протяжении какого-то периода получают даже и более широкое распространение.

Эта опасность (и, в сущности, даже неизбежность) у многих вызывает, как известно, настороженность и даже неприязнь к формам демократического устройства общества, характерным для современной западной цивилизации, поскольку и на Западе они с неизбежностью связаны с легализацией и даже как бы своего рода торжеством бездуховной гедонистической псевдокультуры. Но эта настороженность так же нелепа и даже опасна, как и непонимание того, что вовсе не влияние "гнилого Запада", от которого лучше загородиться поэтому железным барьером, порождает у нас все эти формы "современной культуры", столь шокирующие нашу праведность. Увы, никакого влияния и в помине не было бы, если бы не было для него почвы, а уж почву-то эту мы подготовили, несомненно, сами. И как раз - идучи именно своим, "особым" путем. Поэтому-то среди многих парадоксов, с которыми нам приходится нынче сталкиваться в нашей исторической жизни, предстоит нам как следует разобраться и с таким, например: чем больше мы будем и впредь стараться идти своим традиционным, "особым" путем, ориентированным не на демократические формы организации общества ("Запад"), а на более привычный для нас авторитаризм и государственную "соборность",

невозможную без какой-то общей "веры", тем больше наше общество будет впитывать в себя именно *отрицательные* воздействия "гнилого Запада" — влияние именно *бездуховных* пластов его культуры (то есть, вернее, влияние именно его псевдокультуры, а не культуры). И наоборот, — чем решительнее мы будем ориентироваться именно на демократические ("западные") формы нашего граждански-государственного существования, тем больше у нас шансов избавиться постепенно от дурных западных влияний, изжить у себя все то, что вырастает на почве духовного распада, и стать на путь действительно своего, связанного с духовными традициями страны возрождения нашей культуры. Я сам считаю себя приверженцем именно тех духовных идеалов, в достижении которых видели когда-то единственно спасительный для России путь наши ранние славянофилы. Но парадокс сегодняшней ситуации именно в том и состоит, что в нынешних условиях осуществление славянофильского идеала, невозможное без религиозного возрождения России, возможно уже только на путях "западного" — демократического — развития и становления нашей общественной и государственной жизни. Только в условиях гражданских свобод, только действуя как свободная, а не как принудительная духовная сила, и наша Церковь, и наша религиозная интеллигенция могут рассчитывать на то, чтобы повести за собой страну и вывести ее постепенно на путь действительно духовного выздоровления и возрождения. Все другие способы духовного "вразумления" нам слишком хорошо знакомы, и память о них слишком жива в нашем обществе, чтобы можно было думать, будто еще возможен для нас какой-нибудь иной путь национального спасения, чем демократия. Сколь бы труден и опасен этот путь ни был и с какими бы негативными явлениями, неизбежными на этом пути, ни приходилось нам считаться, выбрав его. Все равно *другого* пути — просто нет.

Но все это значит, что в нынешней отчаянной ситуации единственная роль, которую может и должна сыграть интеллигенция, если только она действительно озабочена духовным выздоровлением нашего общества, — это роль не обвинителя и запретителя, не сторонника принудительных общегосударственных методов "вразум-

ления, но роль терпеливого, внимательного, милосердного врача-терапевта тех страшных духовных болезней, которые нас поразили. А такое врачевание предполагает в наших условиях отнюдь не только ту духовно-просветительную работу, которая всегда была призванием интеллигенции. Она крайне необходима, конечно, и сегодня, когда общество находится в состоянии отрицательного духовного вакуума и когда именно интеллигенция может и должна постепенно вывести его из этого вакуума, вырабатывая те общемировоззренческие типы духовной ориентации, отсутствие которых как раз и бросает потерянное и духовно растерянное население нашей страны во всякого рода жуткие крайности — от вражды и ненависти к "другим", чужим по крови и языку, до агрессивной-анархической асоциальности и нигилистического бунтарства.

Однако в нашей нынешней ситуации, пока такое заполнение духовного вакуума еще не произошло, а реальные навыки цивилизованного гражданского существования в обществе практически отсутствуют, едва ли не еще большее значение приобретает для общества и *непосредственный духовный пример* тех, кто на виду у всех, за чьим поведением общество пристально и пристрастно следит. Поэтому-то сегодня наша интеллигенция сможет исполнить ту единственную роль духовного врача-терапевта общества, которая объективно предложена ей нынешней ситуацией, лишь в том случае, если она будет действовать не только словом, убеждением, но и реальным, непосредственным духовным примером таких своих действий, общественных поступков и проявлений (включая и формы общения между собою), которые реально свидетельствовали бы о подлинной иерархии жизненных ценностей, о высшем достоинстве безусловных нравственных принципов, о красоте добра, милосердия, любви и человеческого уважения друг к другу.

Вот это и есть тот запрос, который требовательно и прежде всего обращает сегодня ко всем нам, интеллигентам, так или иначе выступающим на арене общественно-культурной жизни, несчастная наша страна. Это и есть то, в чем прежде всего состоит сегодня наш гражданский долг и призвание.

И вот перед неотклонимостью и требовательностью именно этого к нам обращения и ожидания я и спрашиваю себя: что же может дать нашей стране, особенно ее молодежи пример той жуткой практики тотальной подозрительности, всеобщего бдительного "чтения в сердцах" противников и непременно вычитывания в них самых нечистоплотных помыслов и устремлений (без всяких к тому же, как правило, реальных для этого оснований), которая столь характерна для нашего нынешнего "культурного общества"? Ведь стоит, скажем, какому-нибудь левому радикалу, например, придти к власти и начать пытаться делать что-то реальное, полезное для людей, как вместо помощи и желания поддержать, подсказать что-то конкретное, в противоположном общественно-политическом лагере непременно и сразу же поднимаются свист, улюлюканье, поношения, злобные обвинения непременно в самых неприглядных, грубо корыстных намерениях. С другой стороны, что бы ни сказал тот же Солженицын, хоть самое "западно-демократическое" и "либеральное", в изображении того же, например, А.Синявского (как, впрочем, и многих других) он все равно останется шовинистом, монархистом, антисемитом и т.п. Когда кончится эта постыдная, чуждая всему духу культуры практика голословного, демагогического, недобросовестного "разоблачительства", этот зуд утробной подозрительности, разжигаемый, увы, и самим нашим Президентом, с давних пор, едва ли не с самого начала перестройки, не устающим грозно предупреждать всех тех, кто "подбрасывает" ему и обществу всякого рода "идейки", которые почему-либо ему не нравятся и кажутся крамольными?..

Я спрашиваю себя — что может дать сегодня нашему обществу, нашей молодежи, в руках которой — наше будущее, тот поток злобы, ненависти и самой низкопробной ругани, для которого открыты ныне все шлюзы некоторых наших литературных и не только литературных изданий? И что может дать та распространившаяся, как в былые достопамятные годы, борьба с так называемым "космополитизмом", зараза "расшифровывания" разного рода "подозрительных" русских фамилий и выискивания врагов непременно в чужих по крови, в каких-нибудь жидо-ма-

сонах или русофобах, например, — зараза, которая куда как невинна и безболезненна в накаленной до предела обстановке наших межнациональных отношений? Я не говорю уже о том, что подобного рода расшифровывание и выискивание только отвлекает от необходимой борьбы с той же, например, *действительной* русофобией, которая, увы, тоже имеет место, ибо она была рождена реальной практикой нашей советской империи, и которую сегодня тоже нужно прежде всего именно *лечить* как болезнь?...

Наконец, я спрашиваю себя, какой духовный пример молодежи может дать даже и такая, не столь уж как будто бы "страшная" на первый взгляд, практика некоторых представителей высшего, так сказать, эшелона нашей культурной элиты, когда они, с одной стороны, вполне искренне (я не хочу сомневаться в этом) желают как будто бы стране полезных и нужных преобразований и даже и сами пытаются всячески способствовать ее культурному возрождению, а с другой стороны, почему-то стесняются сказать при этом и о своих собственных грехах перед нею в былые времена? Что — это уронит их авторитет?...

Упаси меня, Господи, призывать кого-то к покаянию и насильно тащить на исповедь, — тем более когда в душе нет, не вызрело еще соответствующей необходимой потребности. К тому же вполне понимаю и учитываю, что часто реальные дела красноречивее слов и что это может служить известным утешением, когда какие-то слова выговорить все-таки достаточно трудно.

Но ведь именно ответственность той роли, которую играют такие люди в сегодняшнем обществе как его духовные руководители, нравственно и обязывает их именно к полноте, отчетливости, недвусмысленности своего отношения ко всему, требующему осуждения, — осуждения, которое в такой необходимой полноте как раз и невозможно, если оно не выражено и вербально!... Как могла утвердиться у нас привычка к подобного рода духовной неточности, нещепетильности, а тем самым, в сущности, к духовному конформизму, одинаково присущему сегодня, увы, и многим "правым", и многим "левым"?...

И много, много других можно назвать в этом ряду характеристик, которые я просто не хочу перечислять, тем более называя какие-то фамилии. Не в этом ведь сейчас дело, а прежде всего в необходимости адекватного осознания самой проблемы — в необходимости осознания того, что все эти "характерности" *за пределами* культуры, не имеют к ней никакого отношения.

Не имеют, а между тем все эти и подобные им умонастроения, тенденции, позиции, привычки есть, повторяю, живая реальность как раз того самого обихода, который показателен именно для культурной сферы нашей общественной жизни. За всем этим реальные люди, органы печати, статьи, выступления и т.п. — живая практика нашей культурной жизни, персонифицированная в ее живых носителях...

И вот перед лицом всех этих "характерностей" я и задаю себе последний вопрос: что же в этих условиях может означать та *консолидация* интеллигенции, к которой нас призывают и необходимость которой в ситуации происходящего в стране распада и хаоса так нам, казалось бы, очевидна? Может ли она заключаться, например, в том, что представители разных враждующих лагерей — например, так называемые "русофобы" или "антисемиты", с одной стороны, и те, для кого всякий кичливый национализм — нечто низкое и недостойное человека, противоположное самому духу человеческой культуры, с другой, — просто протянут друг другу руки и заключат в целях желаемого "консенсуса" некое соглашение, договорятся, скажем, не касаться впредь в своей полемике таких-то и таких-то вопросов, объявляемых "запретными"?

Что ж, в нынешней накаленной обстановке даже и такого рода большая сдержанность в наших публичных литературных интеллигентских спорах друг с другом была бы уже благом. Но это был бы, конечно, чистый *компромисс*. А область компромисса — это область политики, которая, как нам недавно популярно разъяснили, есть искусство *возможного*. Потому-то в сфере политики возможен компромисс даже и с прямым злом, если оно обладает реальной силой и если конфронтация с ним грозит страданиями и кровью людей.

Однако трудность *нашего* сегодняшнего положения заключается именно в том, что мы не *политики*, а *люди культуры*. И от нас страна ждет поэтому не только политической мудрости, но и всей полноты того *собственно культурного действия*, о котором я говорил. Культура же — это область отнюдь не *относительных*, а *абсолютных* ценностей и смыслов, в которой *никакой компромисс со злом невозможен*. Протягивая руку злу, легализуя его в культурной сфере, она уничтожает самое себя, самоликвидируется.

И вот я спрашиваю себя и всех тех, кто приехал сюда: какие же цели мы должны перед собой поставить? Достижение всего лишь некоего *политического компромисса*, какой-то договоренности о большей сдержанности в наших спорах? Или мы должны все-таки попытаться сказать сегодня какое-то слово, которого ждут от нас именно как от *деятелей культуры*?...

Но если так, то я убежден, что начать мы должны с того, чтобы явно, твердо и громко заявить: ни тоталитарное и имперское мышление, ни межрелигиозная или национальная нетерпимость — от антисемитизма до русофобии или ненависти к *"инородцам"* вообще, ни формы полемики, способствующие разжиганию в обществе взаимной ненависти и злобы, *ничего общего с культурой не имеют и иметь не могут*. Ни со всем этим, ни с любой другой практикой, разрушающей подлинно культурный диалог и враждебной принципам добра, милосердия, человечности и правды, мы никогда не пойдем ни на какой компромисс, никогда не допустим со своей стороны какой-либо культурной ее легализации.

И вот тогда, когда мы объединимся на этой основе — если только мы способны это сделать, — уже никакие наши споры между собой не могут быть страшны ни нам, ни стране. Тогда, в пределах этой презумпции и, следовательно, доверия друг к другу, мы можем поговорить здесь и о том, что для страны сегодня лучше — социалистическая или частная собственность, и о том, совместимы ли так называемые *"модернизм"* и так называемый *"социалистический реализм"*, и о том, какие преимущества или недостатки у автономной или религиозной морали, и о том, по какому пути развития нашей стране лучше

всего идти, и даже о том, есть ли какое-то мессианское призвание у русского народа. Обо всем этом мы будем иметь возможность даже *поспорить*. Потому что культура диалогична по своей природе и вовсе не исключает плюрализма мнений и взглядов. Она исключает только плюрализм нравственности — тех нравственных ориентиров, что лежат в ее основании.

НОВЫЕ КНИГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ

ПОТУПА Александр. Ловушка в цейтноте. Минск, "Эридан", 1990. (Фантастика, приключения, детектив. Фантакрим — Extra).

ПОТУПА Александр. Фантакрим XXI. (Фантастические повести). М., "Прометей", 1989.

Восточноевропейский диалог

К 95-ЛЕТИЮ ЮЗЕФА (ИОСИФА) ЧАПСКОГО

Наталья Горбаневская

"ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ"

ПЕРЕЧИТЫВАЯ СТАТЬИ ЮЗЕФА ЧАПСКОГО

Десять лет назад он сделал мне такую надпись на книгу "Гул и видения" ("Tumult i widma"):

Наташе Горбаневской с надеждой, что она заглянет в те главы, где речь идет о России, которые я обозначил крестиками.

С уважением и дружбой

Иосиф Чапский

2/X 81

Я, конечно, не только "заглянула" в те главы — собственно, статьи, раньше печатавшиеся в основном в "Культуре", а теперь сложившиеся в удивительно цельную книгу. Кое-что (в частности, статью о Ремизове "Montagnes russes", поскольку как раз тогда выходила книга Ремизова "Учитель музыки") я сразу перевела и напечатала в "Русской мысли". Но к книге статей Чапского я возвращалась неоднократно, обнаружив, что

России касаются не только "главы, обозначенные крестиком". Русская (российская¹) тема возникает у Чапского на разных перекрестках личной судьбы автора (художника, писателя, офицера, публициста) и его размышлений, связанных с национальной польской судьбой. Не случайно так вышло, что еще один сборник статей Чапского, выпущенный в 1989 году в Варшаве (кстати, тем же издательством "Помост", которое потом печатало нам два номера "Континента"), получил название "Тайная свобода" ("Swoboda tajemna"): крылатое блоковское слово вылетело на обложку из заглавия статьи "Блок и тайная свобода", хотя и в этом сборнике лишь небольшую часть статей можно было бы смело "обозначить крестиками" как целиком посвященных России или русской литературе.

Самая знаменитая книга Юзефа Чапского — конечно, "На бесчеловечной земле" ("Na nieludzkiej ziemi"). (И вот еще задача для переводчика: достаточно ли точно переводится "нелюдская", "нечеловеческая" наиболее удобным "бесчеловечная"?) Я не знаю, но надеюсь, что эта книга уже поставлена в план какого-либо из российских издательств и переводится. Во всяком случае, тамошние эксперты по польской литературе наверняка объяснят, если не объяснили уже, что эта книга — один из капитальных пропусков советского подцензурного книгоиздательства и что с отменой цензуры (стучу по дереву!) ее надо выпустить безотлагательно. Это кусок и нашей истории.

Напомню, что главный предмет книги — розыски почти пятнадцати тысяч пропавших без вести польских офицеров из лагерей в Козельске, Старобельске и Осташкове. Эти розыски командующий формирующейся в СССР Польской армии генерал Владислав Андерс поручил ротмистру Юзефу Чапскому. Сам Чапский принадлежал к тем нескольким сотням офицеров, которые, по неясной

¹ В польском языке одно слово — *rosyjski* — означает и "русский", и "российский". Отсюда — сложности для переводчиков и определенная произвольность перевода: в каждом случае приходится выбирать.

игре судьбы, не стали жертвой массовых убийств: их вывезли не к месту уничтожения, а в другой лагерь.

Офицеры, которых держали в Козельском лагере (в Оптиной пустыни), "нашли" уже после вывода Польской армии с территории СССР — в замаскированных лесопосадкой братских могилах на территории Катынского леса. Сейчас, когда — 50 лет спустя после преступления! — советская сторона наконец-то сквозь зубы признала, что убийства совершены органами НКВД весной 1940 года (как было известно всем на свете — включая, смею заверить, и советских историков), а не гитлеровцами то ли летом, то ли осенью 41-го (как десятилетиями твердила коммунистическая пропаганда), обнаружено, кажется, и место захоронения товарищей ротмистра Чапского по Старобельскому лагерю. Я говорю "кажется", потому что до сих пор (я пишу это в начале 91-го года) не достигнуто соглашение о порядке проведения эксгумации и нет особых оснований доверять результатам вскрытия предполагаемых могил, если его будет проводить Харьковское УКГБ без участия польских экспертов, на котором настаивает прокуратура Польской Республики.

Книга на такую трагическую тему, написанная поляком, вполне могла бы остаться в рамках показа одной лишь "бесчеловечности" земли, где погибли эти тысячи польских офицеров — и еще сотни тысяч поляков, вывезенных в лагеря или на поселение. Но и в ней Чапский выходил за рамки только польской темы, показывая, как эта земля, эта страна бесчеловечна по отношению к своим гражданам. К их судьбе, судьбе людей, которых он встретил на "бесчеловечной земле", Юзеф Чапский возвращался неоднократно.

Православные люди сегодня либо рассеяны по всему свету, либо в России, в катакомбах. Я многого не мог написать об этом в моей книге. Я слишком боялся повредить случайно встреченным людям, но это факт. Не могу забыть и о плитах XVIII века, надгробных плитах русских монахов, на которых нам случалось сидеть в Грязовце, где под бледным вологодским небом стояли руины взорванной церкви и где

400 польских военнопленных пришли на место тысячи с лишним финских пленных, чтобы жить там два года за толстыми монастырскими стенами. Не смогу забыть ни ту девушку, которая таинственно показала мне крестик на шее, ни старушку, прятавшую обрывок бумаги с выведенными неумелой рукой словами предсмертной молитвы, которую православные там кладут на лицо в момент кончины вместо запрещенного отпевания. Не забуду и того полковника действующей армии, советского человека, который через десять минут после нашего знакомства говорил мне, как брату, о Русской Церкви в катакомбах, хотя знал, что мое неосторожное слово о том, что он рассказывал, было бы для него гибелью. В "Via del Fiofi" я описал судьбу нескольких русских монахинь, которые еще в 1941 или 1940 году страдали в лагерях, были судимы, а три из них приговорены к смерти, потому что ни одна, хоть всех морили голодом, не соглашалась работать на советскую власть, на "власть сатаны", как они говорили. Это было 24 года спустя после того, как власть в России захватила партия, которая всем, чем могла: убийствами и ссылкой, искусственно монтируемыми конкурентными "Церквами", — ликвидировала всякую религию — "опиум для народа". (*Прав ли был Маритен? — "Культура", 1949, N 3*)

...в сентябре 1941 года, когда я ехал по железной дороге из Вологды в приволжские степи, я второй раз наблюдал тот же феномен исчезновения магии, но уже советской, в каждом городе, в каждой деревне, через которые мы проезжали. Сталин тогда бросил на фронт большую часть НКВД. Советская армия миллионами сдавалась немцам. "Немец?! Пускай приходит! — кричали крестьянки. — Все наши деревенские, триста человек, пошли на фронт. Надели кресты на шею и все сдадутся". "Долой Сталина!" — слышал я повсюду. Еще сегодня у меня перед глазами стоит полный ужаса взгляд одного энкаведиста, кото-

рый в присутствии новобранцев не смел себе на станции кипятку для чая налить. Глаза у него были, как у удиравших от толпы полицейских в 1917 году <в феврале. — Н.Г.>. Надо было жить в России, чтобы знать, какой это был внезапный психический переворот. Эти люди ненавидели Сталина, но не знали, что их ждет: преступные, бессмысленные зверства, от которых погибнут миллионы людей, будут делом как раз тех, кого ожидали как избавителей. Только тогда Гитлер оказал свою величайшую услугу Сталину: он спас Сталина. *(В Берлине об объединении Европы. — "Культура", 1951, N 9).*

В вышецитированной статье "Прав ли был Маритен?", споря отчасти с Маритеном, а еще больше с польским публицистом Вацлавом Збышевским, который выступил с резкой критикой только что вышедшей "Бесчеловечной земли", Юзеф Чапский писал о своей книге:

Речь идет об отношении к России. Оно у меня вовсе не отношение "изысканного" путешественника, полу-Пруста, поехавшего в Россию с экскурсией, а выражение позиций человека и поляка, который прожил в России много лет, ненавидит то, что в России постыдно, восхищается тем, что достойно восхищения. Только такое отношение представляется мне достойным известной польской традиции, доминирующей в польской словесности традиции Мицкевича, Норвида, Бжозовского и тысячи меньших. Той традиции, от которой мы уклониться не можем, ибо она нас обязывает, или же нам придется открыто перечеркнуть ее и бороться против нее. И далее:

Не в том дело, люблю я Россию или ненавижу. Дело в том, что вычеркнуть ее из истории ни один поляк не сможет, что ее история, литература принадлежат мировой культуре, что она имела и по сей день

имеет огромное влияние на умственную формацию на Западе, вовсе не только негативное.

Утверждение: "Не в том дело, люблю я Россию или ненавижу", — и верно, и неверно. "Не в том", но и в том. Любовь ли заставляет познавать чужую страну и культуру, знание ли порождает любовь — во всяком случае, ненависть легко порождается агрессивным нежеланием знать, желанием отгородиться. Юзеф Чапский принадлежит к тому поколению поляков, которое не только родилось в границах Российской Империи, но и воспитывалось в России, на русской культуре. Дважды в разных статьях он вспоминает, как впервые в возрасте двадцати с лишним лет ощутил свою принадлежность к польской культуре. Приведу отрывок из статьи "О Бжозовском" ("Культура", 1963, N 1—2).

Я открыл Бжозовского только в 1919 году в Кракове, после инкубации в России. Еще на школьной скамье в Петербурге русская литература, российская действительность были моими первыми интеллектуальными переживаниями, которые навсегда оставили на мне свой отпечаток². В Бжозовском я с первой минуты обнаруживал ту же температуру мысли. В своих сочинениях он неоднократно пишет о том, скольким он обязан России; по его мнению, русская общественная мысль была глубже и даже восприятие Запада полнее и современной, чем в Польше.

² Приведу все-таки небольшую цитату из другой статьи: "Школы в Петербурге, первые мощные литературные впечатления, но выходящие за пределы литературы, — Толстой, Достоевский (отнюдь не Мицкевич или Словацкий), потом революция и магия ее универсализма, даже когда я был против нее, — все это создавало во мне комплекс неполноценности поляка. ... В тени Толстого, Достоевского, потом революции Польша для меня пахла какой-то провинциальностью в сравнении с Россией, титанической, жестокой, экстремистской и гениальной". — "Тот берег" и мои воспоминания ("Культура", 1961, N 5).

(Мицкевич писал то же самое о николаевской России в письмах к Одинцу).

Если я где-то ощущал, что к интеллектуальным вопросам относятся так, словно это вопросы жизни и смерти, то именно в России. <...>

Я приехал из России, пережив там две революции, первую из них, февральскую, — в Петрограде. Белые ночи того лета, в городе, полном головокружительных надежд и потрясений, где не было молока и сахара, но где площади до утра заполняли толпы людей всех сословий, которые часами, сгрудившись кучками, без криков, страстно-сосредоточенно спорили о том, есть Бог или нет, оправдана или нет какая бы то ни было собственность, о братстве людей, уничтожении всех границ, о новой справедливости. В том же Петербурге-Петрограде создавался первый Всероссийский совет рабочих и солдатских депутатов, а председатель его, социалист Церетели, только что выпущенный из царской тюрьмы, огласил призыв к солдатам всех воюющих держав, чтобы они сложили оружие и через горы трупов жуткой войны все побратались. Обрывок газеты с этим призывом я много месяцев носил с собой. Сегодня трудно понять, как тогда звучали эти слова братства, обращенные ко всему свету. Новая миллениарная надежда? Так случилось, что уже перед самой Октябрьской революцией я присутствовал при двухчасовом драматическом рассказе Церетели о распаде всей власти под натиском большевистской партии. Уже тогда судьба России выглядела решенной.

Потом я еще два раза с поддельными документами возвращался в Петроград, уже после победившей Октябрьской революции. Но это уже были две зимы террора, расстрелов, переполненных тюрем, голода. <...>

Идя в глубину этой книги, я с упоением открывал то, чего Россия никогда мне дать не могла: моя дорога к идее человечества, прельстившая меня на Востоке,

ведет через Польшу, ее развитием я не только не должен, но и не имею права пренебрегать. С помощью жестокого памфлета на Польшу, впадшую в детство, единственную, которую я до тех пор знал, я открывал другую Польшу. Мой комплекс неполноценности по отношению к великой родине Толстого, Достоевского и революции перестал существовать.

Через Бжозовского, вспоминает Юзеф Чапский, он иначе увидел Мицкевича. Сквозь то немногое, что написал Станислав Бжозовский о Норвиде, Чапский, совсем тогда не знавший этого великого поэта, "предопустил" его. Затем Циприан Камиль Норвид вошел в круг его постоянного чтения. Книгу писем Норвида ротмистр Чапский взял с собой, уходя на войну в сентябре 1939 года, она была с ним и в советском плену. Не знаю, с этим ли связано, только, обращаясь к письмам Норвида, Юзеф Чапский многократно подчеркивает нестандартность норвидовского подхода к России.

В разгар восстания в меморандуме Мерославскому и во многих письмах он <Норвид> призывает, чтобы мы помнили не только то, что отделяет нас от России, но и то, что нас с ней соединяет.

Он пишет, что "к словам москаль, к словам Москва привязывать отвращение — это разом и противоисторическая, и противопололитическая деятельность", так как и в России, считал Норвид, мы должны искать и найти друзей, не осуждая ее огулом, именно тогда, когда мы против нее боремся. Что сказали бы сегодня о человеке, который высказывал бы такие истины и столь же резкими словами? Но понятие Польши и борьбы за Польшу у Норвида всегда было связано с тем, что он называл чувством человечества, и поэтому он нам сегодня так нужен: как тогда, так и сегодня он был бы ярким противником всяческих узких национализмов — катастрофы нашей

эпохи. (*Торжественное заседание и Норвид. — "Культура", 1958, N 12*).

К Норvidу обращается Чапский и в статье, которая, пожалуй, наиболее полно выражает его кредо польско-русских отношений, — "Народность или исключительность?" (*"Культура", 1958, N 9*). Это одна из тех самых глав, "обозначенных крестиками", и я приведу ее здесь почти целиком.

...в разговорах со многими приезжими из Польши меня поражает жар, сила доведенной до крайнего раздражения травмированности Россией.

Милош в своей работе о Конраде показывает, как сходно было отношение Конрада к России и заурядное мнение шляхтича с восточных окраин Польши его времени. Как для этого английского писателя, давным-давно оторванного от Польши, так и для круга, откуда он был родом, Россия — это жестокий и злой мир, это, как писал еще отец Конрада Аполлон Коженевский, "государство, что посиживает, как домашний вор, на европейских правительствах".

И вот снова, после двадцати лет моей разлуки с Польшей, мне кажется, что антирусская настроенность сейчас даже сильнее, чем в те времена, когда ссылки и принесенные страдания выковывали мир чувств Конрада и формировали его мировоззрение. Сколько раз я слышу инстинктивный ответ на вопрос о России: "Я не знаю о ней ничего". Те же самые слова Конрад — автор "В глазах Запада", — который питал отвращение к Достоевскому (а все-таки однажды признал, что "Достоевский глубок как море"), который прожил детство в России, где в вологодской ссылке умерла его мать, написал Гарнетту: "Я не знаю о России ничего". Когда я слушаю рассказы людей, близкие которых погибли в России или из-за нее, когда они высказывают свое мнение о России, я чув-

ствую, будто каждый из них прикасается к какой-то магической границе, пересечь которую он не в силах или не в состоянии, к границе, за которой взгляд на Россию, образ России более сложен и более справедлив. Это отношение сквозь призму "слез своих свя-тых и проклятых" отрезает нас не только от России, но и от всего света, который видит Россию либо в цвете столь же упрощенном, т.е. розовом, либо же полной надежд и противоречий, глазами Достоевско-го.

Наш взгляд на страну, которая есть и будет нашим соседом, "ибо мы не окружены морем, как полуостров итальянский", встречно сталкивается со взглядом на Польшу, столь же упрощенным и наверное не менее враждебным. *Кичливый лях*³ Пушкина и разные *полячишки* Достоевского, гениальные карикатуры на польское лицемерие, польскую гордыню и патетическую фразеологию без покрытия, точно так же фальсифицируют и разрушают подлинный образ Польши в глазах миллионов русских.

Милош, цитируя самые антирусские высказы-вания Кюстина или Маркса, справедливо указывает, что то, что на Западе могло быть и было открытием, ибо так отличалось от принятых мнений о России, в польской литературе было банальностью (Милош го-ворит "стереотипом"), что такой взгляд на Россию шел еще от давней Речи Посполитой, где между Польшей и Россией нарастали комплексы "неполноценности — превосходства", и что все это не мешало шляхтичу с восточных окраин, который физически и душевно был Конраду близок, испытывать к русским симпатию; для него ведь не отдельные русские были виновны, а

³ Выделенное курсивом — по-русски в тексте. — Н.Г.

тип цивилизации, который всех и все поневоле опод-
ляет.

Этот стереотип, похоже, снова господствует в Польше, подкрепленный новыми — и какими — фак-
тами, аргументами.

Этот образ бесчеловечной России, которая несет и
может нести только гибель и зло, — мог ли он не
развиваться и не обретать популярность в Польше,
Венгрии и во всех странах, куда достигает ее господ-
ство? Для сегодняшнего поляка русские — это те, кто
вывез на восток полтора миллиона польских граждан,
обрекая огромную их часть на гибель, это они
уничтожили тысячи поляков в Катыни, это они обма-
ном вывезли шестнадцать⁴ и стояли на правом берегу
Вислы, глядя на гибель Варшавы, это они возглавляли
госбезопасность, которая пыталась людей, это они раз-
давили героическое венгерское восстание советскими
танками, это они сейчас, через полтора года после
подавления восстания, казнили Имре Надя и его со-
ратников. Значит, ничего, ничего не изменилось и
измениться не может, ибо это всегда та же самая
Россия, прав был и Мицкевич в третьей части "Дзя-
дов", и Конрад, и Кюстин, и Маркс, который писал,
что Москва воспитывалась "в школе подлости, какой
было ужасное монгольское иго, затем Петром, кото-
рый с политической ловкостью монгольского раба со-
единил гордые устремления властелина, от Чингисха-
на унаследовавшего задачу завоевания мира".

Значит, опять, как над шляхтой восточных
окраин в XIX веке, как над Конрадом, господствует
этот образ России из "Дзядов", из "Смотра войска":

⁴ Руководители Армии Крайовой и подпольных государственных
властей Польши, подсудимые на знаменитом "процессе шестнад-
цати" в 1945 году (см. статью Збигнева Стыпулковского "Поездка в
Москву" — "Континент", N 8).

...героизм <верного раба>, такая смерть — для пса заслуга, для человека грех⁵.

Но хранится ли в нашем сознании и другой аспект Мицкевича, друга русских?

Вы — помните ль меня? Когда о братьях кровных,
Тех, чей удел — погост, изгнание и темница,
Скорблю — тогда в моих видениях укромных,
В родимой череде встают и ваши лица⁶.

Каждый, кто хоть несколько лет прожил в России, — читая это стихотворение, подставляет под него лица своих друзей, свои собственные прекрасные воспоминания о России и русских.

Кто слышит сегодня одинокий голос Норвида, его замечания о России, затерянные в довоенном, сегодня уже ставшем книжной редкостью, издании его писем? А именно Норвид, враг "патриотического пуританства", восстает против односторонних оценок, и речь его звучит жестко для каждого, кто подвержен тому стереотипу, которому даже Конрад подчинился и которому Норвид настолько не поддавался, что не когда-нибудь, а в 1863—1864 годах нападал даже на Мицкевича, считая, что он писатель не национальный, а только исключительный.

— "...Критическая бессознательность в сфере мысли, — писал Норвид. — В сфере трудов духа, и, значит, то же самое встретить можно в исторической действительности. Как исключительность Мицкевича называли народностью и называют с воодушевлением,

⁵ Перевод дословный. Перевод В. Левики: "Такая смерть, терпение такое — Геройство пса, но, право, не людское", — не передает некоторого оттенка мысли Мицкевича, важного в контексте статьи Чапского.

⁶ Перевод Анатолия Якобсона (впервые опубликован в "Континенте", N 41).

горячке подобным, ибо дискуссий не переносят, так и в действительности примут исключительность за народность. Как Духинский им резанет мощно: "Москаль — китаец", — то они порадуются, а как кто остережет, что сегодня: НАРОД СКЛАДЫВАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ИЗ ДУХА, КОТОРЫМ РАЗНИТСЯ ОТ ДРУГИХ, НО И ИЗ ТОГО, ЧТО СОЕДИНЯЕТ и что нельзя вырубить под корень на 20 квадратных миль вокруг Польши, чтобы в ней был национальный поэт и национальный историк, то они на тебя плюнут — и тем впрямь поднимут сепаратизм врага, как уже сделали, и злобу врагов, пока до успешного исчезновения друзей не доведут. Всякий анахронизм всегда те же плоды приносит!"

"Только свободные люди, — пишет Норвид в другом письме, — только те, что не получили с колыбели железного клейма РАБЫ, знают, что, гранича с Россией, надобно в ней иметь СВОЮ ПАРТИЮ, ибо иначе всегда будут встречаться два МОНОЛИТА, ничего посредствующего не имеющие, а ежели два монолита столкнутся друг с другом, состоится уничтожение и разбиение сил окончательное".

Но мои пессимистические замечания о том, что мы окопались в польской *morgue clause*, о неспособности объективировать наши обиды, — может быть, тоже односторонни.

Я видел и знаю не одного поляка, который в отклике на эти вопросы ближе к Норvidу, чем к "стереотипу", я знаю людей, которые прошли мучения и пытки, но на русских обиды не затаили, более того, которые, покидая Россию, прощались с ней в слезах, ибо встретили со стороны русских столько братства, столько сочувствия, ибо узнали людей, которые так же, как они, страдали и так же, как они, пытались бороться с насилием. Много ли таких поляков — я не знаю.

Тут я хочу прервать цитирование, чтобы поделиться одним своим наблюдением. За пятнадцать лет, что я живу в Париже, я повстречалась с огромным количеством поляков. Среди них, особенно среди эмиграции, было немало прошедших советские лагеря или ссылку. Кроме того, за эти годы я прочла бесконечное множество воспоминаний тех поляков, которые (чаще всего — благодаря амнистии 41-го года) выжили в ГУЛАГе. Я не вела ни записей, ни статистики, но меня всегда поражало, насколько (чуть ли не на все сто процентов) отсутствуют антирусские чувства именно у этой категории поляков, пострадавших и, казалось бы, более других имевших право не отличать Россию от СССР, а винить всех чохом. Именно у них встречалась эта способность "пересечь магическую границу, за которой взгляд на Россию, образ России более сложен и более справедлив". Вероятно, срабатывало очень простое обстоятельство: они-то видели и в лагере, и на колхозной "воле", как страдают и погибают те, кто родился на "бесчеловечной земле". И для них, как для Чапского, она становилась "землей людей", землей этих, страдающих людей.

Вернемся снова к статье "Национальность и исключительность".

Людей с таким отношением к России я встречал и среди поклонников русской литературы. Враги любой России — царской, советской или "республиканской", — даже они не отказывают в величии и глубине русской литературе, но перечеркивают эти органические связи, а ведь русский кошмар и русский гений, жестокость и милосердие, высочайшая, как нельзя более европейская культура и варварство — все это соединяется в одну действительность, и тот, кто это целое перечеркивает, тот, будь он даже Конрад, мыслит категориями не действительности, а фикции. Русская литература, общечеловеческого вклада и величия которой, пожалуй, уже никто, кроме В.А.Збышевского, не отрицает, связана с российской действительностью. Это элементарная истина.

В "Дневнике" Толстого за 1903 год есть черновик рассказа "Божье и человеческое"; именно этот черновик всегда представлялся мне образцом суровой и полной прозы, "безошибочной верности правде", как, кажется, сказал о Толстом Пастернак. Всего на пяти страницах Толстой дает образы приговоренного к повешению врага всякого насилия, молодого Светлогуба, службиста-генерала, который приговаривает его к смерти, матери осужденного, террориста, который мечтает об уничтожении тысяч людей, и мужика-сектанта, который годами сидит по тюрьмам за то, что ищет правду. Весь вечный русский мир, ибо вечны конфликты этого рассказа: религия, свобода, насилие, фанатизм веры, любовь и самопожертвование. В одном московском издании Толстого есть описание того, как возник этот рассказ. Какая это, оказывается, абсолютная, едва-едва преображенная верность действительности. Герой рассказа, Светлогуб, — это повешенный в Одессе в семидесятые годы Лизогуб, сын русского дворянина и, вероятно, польки, урожденной Дунин-Борковской. Ткань этого рассказа так выросла в российскую действительность, что ее никоим образом не отделить. Это один из миллиона примеров того сплава литературы и действительности, которые можно было бы приводить и приводить.



Может ли такой образ России, исключительно жестокой и преступной, образ, который, пожалуй, нигде не получал такого всеобщего признания, как в странах, поглощенных Россией или Советским Союзом либо ему подчиненных, удивлять русских, хотя бы тех лучших среди них, что от сегодняшнего положения дел страдают не менее жестоко? Пропасть, вырытая между Россией и этими угнетенными странами, осо-

бенно Польшей и Венгрией, настолько глубока, что разрушить, преодолеть этот стократ более могущественный, чем прежде, стереотип, например в Польше, казалось бы прямо невозможным, если бы не одна мысль, одна истина, более чем когда-либо очевидная: свобода — одна, и террор, подавляющий всех, — один. Выход рабочих на улицы Берлина, познанские события, польский Октябрь, венгерское восстание, яростная, ожесточенная борьба внутри коммунистических партий всех стран после речи Хрущева на XX съезде — партий, "монолитных" только в речах их вождей, — все это останется трагическими, безнадежными жестами, если в эту борьбу не включится Россия, если не только польские, немецкие или венгерские рабочие, интеллигенты, крестьяне будут готовы бороться за этот старый, изодранный, переживший столько фальсификаций и злоупотреблений, но единственный лозунг свободы. Завеса "молчания страшнее, чем несчастье" покрывает Россию куда основательней, чем сто двадцать лет назад, когда Кюстин писал эти слова. Но мы знаем о бунте на Воркуте, знаем о бурлении в университетах и институтах, знаем о крайне антисоветских настроениях среди самого младшего из молодых поколений, политическое сознание которого формировалось в период XX съезда. Везде, хотя бы на самой узкой полоске, где появляется свобода мысли, свобода порождает свободу. Поэтому смотреть на Россию только как на страну, которая обладает "одним фанатизмом — послушанием", — взгляд, в силу своей односторонности ложный.

Толстой в "Воскресении" описывает молодую траву, которая по весне пытается пробиться даже среди тюремных камней. Без надежды, что и в России не угасла воля к борьбе, что и там можно добиться более свободной жизни, за которую погибло столько русских, все попытки либерализации, все

ревизионистские попытки в странах советского блока выглядят лишь жёсткими отчаяния утопающих.

Только тогда люди, которые знают Россию не только как школу подлости, но и как мир борьбы и любви к человеку, только тогда эти друзья русских смогут поднять голос и бороться с этим образом России, исключительно жестокой и исключительно бесчеловечной. Если удастся восстановить инстинкт утраченной солидарности с той дружкой Россией, которая никогда существовать не переставала, только тогда мы можем мечтать о будущем, которое не станет, как пишет Норвид, "столкновением двух монолитов, уничтожением и разбиейением сил окончательным".

Норвид, а за ним и Чапский говорят о том, что Польше нужно иметь в России "свою партию". Но и России в Польше. Не ставленников, которых там держал безнациональный "Кремль", а "друзей русских", что очень трудно без наличия соответственно "русских друзей".

Сегодня это выглядит проще: выросли — воспитанные на "Культуре" и, в частности, на книгах и статьях Юзефа Чапского — несколько поколений наших друзей в Польше: пример "Солидарности" дал Польше друзей вплоть до российской глубинки, до Кузбасса и той самой Воркуты. Но если Юзеф Чапский говорит о том, как шли вразрез со всеми стереотипами мысли Норвида в 1863—1864 гг., то не надо думать, что в первые послевоенные десятилетия линию "Культуры", которую в отношении России я охарактеризовала бы как прорусскую (антисоветскую), массово понимали и принимали как в польской эмиграции, так и на родине. Понадобилось время и труд, чтобы позиция, которая поначалу многим казалась в лучшем случае парадоксальной, привилась и стала выглядеть нормальной.

Как все друзья пана Юзефа, я испытываю к нему безграничное уважение, любовь и нежность. Но еще и гордость: "моя партия" — не кто-нибудь, "моя партия"

среди поляков (перечисляя от младшего к старшему) — Густав Герлинг—Грудзинский, Ежи Гедройц, Юзеф Чапский.

НОВЫЕ КНИГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ

MICINSKI Boleslaw. Diligence philosophique. <Essais>. Traduit du polonais. Préface d'Adam Michnik. <Montricher (Suisse)>, Les Editions Noir sur Blanc, <1991>.

RYLSKI Eustachy. Le colonel Stankiewicz. Traduit du polonais. <Montricher (Suisse)>, Les Editions Noir sur Blanc, <1991>.

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Давид Фельдман

ПРАВИЛА ИГРЫ

Вопрос о реабилитации Н.С.Гумилева обсуждается уже давно. Статьи С.П.Лукницкого "Дорога к Гумилеву" ("Московские новости", 1989, N 48) и С.Н.Хлебникова "Шагреневые переплеты" ("Огонек", 1990, N 18), казалось бы, подвели итог затянувшимся бесплодным дискуссиям.

Я говорю б е с п л о д н ы м, потому что отстаивать какое-либо решение можно лишь ознакомившись с материалами следствия. Но вот материалы дела Гумилева с разрешения КГБ СССР скопированы и частично опубликованы зав. отделом Советского фонда культуры С.П.Лукницким. Более полно они описаны и приведены в статье С.Н.Хлебникова. Выводы авторов примерно совпадают: следователю не удалось доказать виновность Гумилева, приговор был незаконным, а потому поэта надлежит реабилитировать. "И не стоит, по-моему, — пишет автор огоньковской статьи, — даже рассуждать о том — как это делает Г.А.Терехов, прокурор по надзору за КГБ, — что вина Гумилева заключалась в недонесении".

Рассуждать как Терехов ("Возвращаясь к делу Н.С.Гумилева", "Новый мир", 1987, N 12), конечно же, не стоит. Но и выводы Лукницкого и Хлебникова (хоть последний пошел несколько дальше) мне кажутся необоснованными. Ведь именно материалы дела подтверждают, что улики, коими располагало следствие, были вполне достаточны для признания Гумилева виновным — в соответствии с нормами права, действовавшими в 1921 году. И применение высшей меры наказания — расстрела — тем нормам не противоречило. Однако это вовсе не означает, что поэт и еще 60 казненных вместе с ним

действительно были "активными участниками заговора", как сообщали "Известия ВЦИК" 29 августа и "Петроградская правда" 1 сентября 1921 года. Есть основания предполагать, что данные о деятельности Петроградской боевой организации фальсифицированы. Причем к этой гипотезе приводит сопоставительный анализ сведений, публиковавшихся именно в советской, т.е. подцензурной периодике. Иными словами, версию о существовании "заговора Таганцева" невольно опровергают те, кто заинтересован в ее сохранении, что выявляется и в ходе полемики о "деле Гумилева".

Нетрудно заметить, что многолетние поиски причин для реабилитации поэта ничего общего с поисками истины не имели. Истина даже мешала, поскольку реабилитация сама по себе была только средством. Средством снятия цензурного запрета. Поэтому Гумилева пытались оправдать, не компрометируя "современников и соратников Дзержинского" — петроградских чекистов, которые — по определению — не ошибались. А иначе обсуждение в печати столь опасной темы было бы вообще запрещено. Так в 1960-е годы появилась версия "недонесения" — т.е. лишь причастности поэта к заговору, а вовсе не участия в нем. То был бы вполне приемлемый компромисс, однако и он никак не согласовывался с газетными сообщениями. Но за четверть века версия причастности, а не соучастия стала весьма популярной, к тому же "давление гласности" (даже "гласности по-советски") вынуждало официальные инстанции к диалогу. Вот тут-то и вмешался бывший старший помощник Генерального прокурора СССР государственный советник юстиции 2-го класса, заслуженный юрист РСФСР Г.А.Терехов. Приведенный перечень должностей и званий сделал это вмешательство достаточно авторитетным, к тому же юрист нашел остроумный способ утверждения новой версии. Он попросту исключил газеты из числа источников информации о "заговоре Таганцева", как будто б их вовсе не было. Что же касается сведений об отношениях поэта с заговорщиками и получении денег, то юрист объявил их досужим вымыслом советских литераторов, писавших о поэте, но не имевших доступа к архивным документам, с которыми он познакомился "по долгу службы" в свое время.

"По делу установлено, — сообщал юрист, — что Гумилев Н.С. действительно совершил преступление, но не контрреволюционное". Поэт "не донес органам совесткой власти, что ему предлагали вступить в заговорщицкую организацию, от чего он категорически отказался. Никаких других обвинительных материалов, которые изобличали бы Гумилева в участии в антисоветском заговоре, в деле, по материалам которого осужден Гумилев, нет". Разумеется, Терехов не стал объяснять к е м и к о г д а "по делу установлено". Потому что в этом случае пришлось бы объяснить, зачем "Петроградская правда" без всяких оснований оклеветала поэта или почему сам прокурор молчал столько лет. Но поскольку газетных публикаций как бы и не было, то не было и противоречий.

Так называемые "компетентные органы" не спешили опровергнуть юриста, и статья быстро получила всесоюзную известность. Казалось, именно его вмешательство вынудило цензуру снять запрет, но ... это лишь казалось. Стихи и так уже печатались, готовились к изданию книги, и знаменитая статья только избавляла авторов предисловий от "идеологических реверансов", тогда еще обязательных. Тем не менее, благодарные журналисты продолжали славить Терехова. А когда выяснилось, что он еще и принимал активное участие в реабилитации сталинских жертв, то снятие с поэта обвинения в контрреволюционности было воспринято как продолжение той давней борьбы за истину и справедливость. И версия причастности, а не соучастия утвердилась в качестве почти официальной.

Однако специалистам авторитетное свидетельство бывшего прокурора показалось недостаточно авторитетным. Они продолжали добиваться права на личное ознакомление с материалами следствия. Наконец, почти два года спустя появились соответствующие публикации. Тут же выяснилось, что вопреки заверениям Терехова в деле есть не только свидетельства, уличающие Гумилева, но и показания самого поэта, отчасти их подтверждающие. А ведь бывший прокурор сообщал читателям: "Мотивы поведения Гумилева зафиксированы в протоколе его допроса. Пытался его вовлечь в антисоветскую организацию его друг, с

которым он учился и был на фронте. Предвзвешенности дворянской чести, как он заявил, не позволили ему пойти "с доносом". Как известно, в документах, скопированных и описанных Лукницким, подобных сведений нет.

Впрочем, даже если б они были, то оценка Тереховым законности приговора все равно необоснована. "Совершенное Гумилевым преступление, — пишет юрист, — по советскому уголовному праву называется прикосновенностью к преступлению" и по Уголовному кодексу РСФСР ныне наказывается по ст. 88¹ УК РСФСР лишением свободы на срок от одного до трех лет или исправительными работами до двух лет. Соучастием недонесение по закону не является. "Трудно понять, о каком законе идет речь. Нет ныне такого термина — "прикосновенность к преступлению". И причем тут статья 88¹, если преступление совершено более чем за сорок лет до ее принятия? Ссылаясь на нее, Терехов противоречит повсеместно принятой основополагающей норме уголовного права, зафиксированной в ст.6 того же УК РСФСР: "Преступность и наказуемость деяния определяются законом, действующим во время совершения этого деяния". Принятие нового закона может, как известно, обусловить смягчение наказания, даже отмену его, но квалифицировать само деяние "по-новому" — нельзя. Это нонсенс. А вот о нормах права, действовавших в 1921 году, бывший прокурор просто умолчал.

Но — вполне вероятно возразит мне читатель — не может быть, чтобы страж законности, борец за справедливость умышленно вводил нас в заблуждение, чтобы он умышленно защищал беззаконие. Да почему ж не может? По крайней мере, со ст.6 у бывшего прокурора давние счеты. Как минимум, со времен знаменитого "дела валютчиков", или, как его принято называть, "дела Я.Т.Рокотова и В.П.Файбишенко". В течение 1961 года их судили дважды, изумляя весь мир, незаконно осуждали. Причем каждый раз — цинично игнорируя ст. 6, гласившую: "Закон, устанавливающий ответственность за деяние или усиливающий ответственность, обратной силы не имеет". Т.е. не может быть применен к преступлениям, совершенным до его принятия. После ареста валютчиков высшее руководство страны сочло недостаточно суровым

закон об ответственности за валютные преступления и во время следствия в него дважды вносились изменения. Предельный срок лишения свободы был увеличен почти вдвое — до 15 лет. Именно эту меру и применил суд первый раз. Однако руководство потребовало смертной казни, и соответствующие изменения были внесены в закон через две недели после завершения первого процесса. Генеральный прокурор СССР послушно опротестовал приговор, и после очередного судебного фарса Рокотова и Файбишенко расстреляли. Как сообщала "Правда", обвинителем на обоих процессах был "старший помощник Генерального прокурора СССР государственный советник юстиции 2-го класса Г.А.Терехов". Страж законности, борец за справедливость и т.п.

Полагаю, он и в 1987 году не случайно забыл о ст.6. Но зачем же понадобилось ему прибегать "к сочинительству", почему, анализируя следственные материалы, он "не нашел" в деле то, что там было, и "обнаружил" то, чего там не было? Почему не опасался публичного опровержения, ведь тот же КГБ СССР мог бы уличить его? Да потому и не опасался, что защищал не поэта, а репутацию ВЧК, не реабилитации добивался, а прилагал максимум усилий, дабы исключить такую возможность.

Реабилитация означает, в первую очередь, официальное признание того, что репрессированный был невиновен. Но тогда следует официально признать, что газетные сообщения — фальшивка, выяснить ее происхождение и ознакомить родственников поэта с материалами дела. Скандал! Ну а если огласка нежелательна, то версия, поддержанная бывшим прокурором, — вариант оптимальный. Поэт все-таки виновен: преступление (хоть и не контрреволюционное) совершено, а значит оснований для реабилитации нет. Соответственно нет нужды кому-то показывать материалы. О чем и сообщил юрист, утверждая, что никакие документы ("в том числе следственные и судебные"), кто б их ни обнаружил, не могут опровергнуть его версию. "Полагаю, — писал он, — что такие материалы (если они существуют) не могут быть сейчас, шестьдесят шесть лет спустя, направлены в обвинение Гумилева, а также использованы литературоведами". Тут уж и вовсе никакой логики: обвинять и расстреливать

вроде бы некого (за отсутствием, так сказать, субъекта преступления), но причем же тут литературоведы? Почему им-то нельзя использовать архивные материалы? А вот потому. По тому самому...

Теперь — о версии Лукницкого. Примечательно, что КГБ СССР ее не оспаривал, как не оспаривал версию бывшего прокурора. И у них действительно много общего. Во-первых, газетные статьи 1921 года по-прежнему игнорируются, будто их и не было. Во-вторых, существование "заговора Таганцева" по-прежнему сомнению не подвергается. Но, что самое главное, по-прежнему описываются и анализируются только материалы следствия по делу Гумилева, словно с другими казненными уже все ясно. Зато впервые назван конкретный (и главный) виновник гибели поэта — следователь-чекист Якобсон. По мнению Лукницкого, он ложно трактовал показания В.Н.Таганцева и Н.С.Гумилева, не установил, соответственно не допросил всех свидетелей и вопреки закону добивался расстрела поэта.

Интерпретировать показания можно различным образом, если, конечно, их подлинность установлена. Допустим же, вслед за Лукницким и Хлебниковым, что Гумилев действительно не знал о конкретных задачах ПБО, не писал прокламаций и не собирал группу сочувствующих, которая должна была присоединиться к восстанию. Но о том, что заговор антибольшевистский, он знал и примкнул к нему добровольно. Искать сочувствующих и писать прокламации он также согласился без принуждения. Если верить Таганцеву — сам же и предлагал. Кроме того, Гумилев признал получение им 200 тысяч рублей, а при аресте и обыске изъято лишь 16 тысяч. Понятно, что сумма, полученная поэтом, невелика. Но вручал ее эmissар ПБО. И независимо от того, брал ли Гумилев ее "на технические надобности" (как сказано в обвинительном заключении), "на хранение" (как пишет Лукницкий), "на всякий случай" (как объяснил сам поэт), сомнительно, чтобы "дворянин и русский офицер" и даже "невольник чести", как его называет Хлебников, тратил чужие деньги на булки, колбасу или раздавал знакомым. Стоит ли, защищая, унижать поэта? Тем более, что осно-

вываясь на подобных умозаклучениях, оспорить законность приговора нельзя.

Какими же нормами "революционного права" руководствовались (если руководствовались) чекисты? В соответствии с Постановлением о красном терроре, принятом СНК 5 сентября 1918 года, расстрелу, по решению ЧК (или ревтрибуналов) подлежали "лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам, мятежам". К "прикосновенным" (термин заимствован из дореволюционного уголовного права) относились не только помогавшие заговорщикам, но и так называемые недоносители. В 1921 году действия Гумилева могли быть квалифицированы как соучастие. "Руководящими началами по уголовному праву РСФСР" (глава "О соучастии"), принятыми Наркоматом юстиции 28 декабря 1919 года, предусматривалось: "За деяния, совершенные сообща группой, шайкой, бандой, наказываются как исполнители, так и подстрекатели и пособники. Мера наказания определяется не степенью участия, а степенью опасности преступника и совершенного им деяния". Пособниками считались те, "кто, не принимая непосредственного участия в выполнении преступного деяния, содействует выполнению его словом или делом, советами, указаниями, устранением препятствий или попустительством, т.е. непрепятствием совершению преступления". Таким образом, даже если поэт и не стал "исполнителем" или "подстрекателем", он был обречен. Теми же "Руководящими началами" (глава "Об уголовном правосудии") предусматривалось: "Стадия осуществления намерения совершающего преступление сама по себе не влияет на меру репрессии, которая определяется степенью опасности преступника". Преступник был, как известно, дворянином и офицером, к большевикам относился не восторженно, а контрреволюционный заговор считался (и считается) особо тяжким преступлением.

Впрочем, автор огоньковской статьи полагает, что чекисты все же превысили свои полномочия, и ссылается на "принятое в январе 1920 года постановление". Кем оно было принято, не указано, но, вероятно, имеется в виду постановление ВЦИК и СНК от 17 января 1920 года. Действительно, этим актом предусматривалось прекра-

щение красного террора и даже "отмена применения высшей меры наказания (расстрела)". Соответственно полномочия ревтрибуналов и ЧК ограничивались. Однако то же постановление предусматривало и "возвращение к методам красного террора" в случаях "возобновления Антантой попыток путем вооруженного вмешательства или материальной поддержкой мятежных царских генералов вновь нарушить устойчивое положение советской власти". Если верить материалам гумилевского дела и газетным сообщениям, случай был тот самый. Деятельностью заговорщиков руководили агенты английской, французской и американской разведок, а также разведки финского Генштаба. Одно из подразделений ПБО базировалось на территории Финляндии, а штаб-квартира вообще находилась в Париже. И без генералов, разумеется, не обошлось. Кроме того, в соответствии с декретом ВЦИК и СТО от 4 ноября 1920 года ЧК имела право выносить и приводить в исполнение смертные приговоры в местностях, объявленных на военном положении. Чекисты все предусмотрели и умело "подвели под статью" арестованных. Прием в их ведомстве обычный.

Итак, оснований для применения смертной казни было достаточно. Правда, автор статьи "Дорога к Гумилеву" находит очень существенным то, что в деле отсутствуют показания двух эмиссаров ПБО — Ю.П.Германа и Б.В.Шведова, которые якобы вели переговоры с поэтом. "КГБ СССР выяснил, — пишет он, — Ю.П.Герман, морской офицер, убит погранохраной 30.05.21 года при попытке перехода финской границы, а В.Г.Шведов, подполковник, был смертельно ранен чекистами во время ареста в Петрограде 03.08.21 года. То есть, обоих не было на свете еще до начала производства по делу Гумилева".

Разъяснения в самом деле очень важные, да только по иной причине. О гибели Германа сказано и в официальном сообщении, там же можно узнать, что один из руководителей ЦБО, подполковник-артиллерист Шведов Вячеслав Григорьевич (он же Вячеславский) был в числе прочих "активных участников заговора" казнен по постановлению Петрогуб.ЧК от 24 августа 1921 года. Для официального сообщения сведения о Шведове, как и о других казненных (возраст, социальное положение, род

занятий, роль в ПБО и т.п.), были взяты из протокола заседания Петрогуб.ЧК, а туда, в свою очередь, попали из соответствующих обвинительных заключений. Аналогичная выписка приобщена и к материалам дела Гумилева. В списке расстрелянных поэт числится под номером 30, Таганцев — 1, а Шведов — 60. Предпоследний он. Значит, подполковник не умер "еще до начала производства по делу Гумилева". На него тоже завели дело, возможно и допрашивали, а три недели спустя — расстреляли вместе с поэтом. Так что же выяснил КГБ СССР? Но, допустим, что бывший артиллерист все же скончался от ран. Тогда зачем же Президиум Петрогуб.ЧК рассматривал его дело и кто был вместо покойника осужден и расстрелян под номером 60? Загадка.

Отметим, что в деле о ПБО есть еще одна загадочная фигура — следователь Якобсон. О его имени и отчестве автор статьи "Дорога к Гумилеву" справок не наводил. Непонятно даже, вел ли Якобсон следствие только по делу поэта или же занимался всей ПБО, в связи с чем и допрашивал Таганцева. Кстати, тот был допрошен Якобсоном 6 августа 1921 года, т.е. уже после ареста Гумилева. Значит, основанием для ареста были агентурные сведения или же другие показания, к делу не приобщенные. Дал ли их тот же Таганцев, можно проверить лишь изучив дело руководителя ПБО. Но даже те его суждения, на которые ссылается "Петроградская правда", вряд ли могут считаться подлинными. Как-то не верится, чтобы профессор-географ, известный вольнодумец, сын знаменитого правоведа-гуманиста Н.С.Таганцева, неоднократно помогавшего революционерам, вдруг стал бы призывать "сжигать заводы, истреблять жидов, взрывать памятники коммунаров". Это вообще не его лексика. А еще он готовил ряд покушений. В том числе — "на Максима Горького и тов.Зиновьева". Вот, оказывается, кто для английской, американской, французской и финского Генштаба разведок был костью в горле — Максим Горький! И какое трогательное соседство ненавидевших друг друга писателя и функционера. А главное, какой урок писателю, защищавшему коварных интеллигентов от грозной, но справедливой ЧК. Ай да следователь! Жаль, что имя такого догадливого не выяснено. Зато известно, что Таган-

цева допрашивал и прославленный чекист — Я.С.Агранов. Сыграл ли этот любитель поэзии, друживший с В.В.Маяковским ("Аграныч!"), какую-либо роль в судьбе Гумилева? Не исключено. Также не исключено, что Якобсон и есть Яков Агранов. Чекисты часто пользовались псевдонимами.

Еще менее правдоподобны сведения о деятельности "военной части ПБО". Грандиозные планы, описанные в официальном сообщении, явно не соответствуют данным о составе и численности организации, приведенным председателем Петрогуб.ЧК Б.А.Семеновым. Если верить ему, то в ПБО входили 36 офицеров, а всего заговорщиков было около 200. Причем рабочие, крестьяне, матросы и солдаты составляли не более 10 процентов общей численности. Эти данные красноречиво дополняют перечень активных участников заговора: "из 61 казенного — 16 женщин в возрасте от двадцати до шестидесяти лет. Вероятно они, да еще несколько университетских профессоров показались чекистам особо грозной силой, может быть даже ударной группой. И вот ПБО, восстав в количестве двухсот организмов (из коих две трети вряд ли имели хоть какую-то выучку, не говоря уж о боевом опыте), должна захватить и удержать аж пять населенных пунктов: Петроград, Рыбинск, Бологое, Старую Руссу и станцию Дно. Хотя операция была бы вполне бессмысленна даже в масштабах одного Петрограда. Трудно поверить, чтоб такой абсурд планировали опытные штаб-офицеры и даже генералы.

Да, чекисты сами разоблачили себя, опубликовав наспех состряпанный отчет. На современников он, по словам В.И.Вернадского, "произвел потрясающее впечатление не страха, а ненависти и презрения" (цит. по: Ф.Ф.Перченко "Список расстрелянных", "Новый мир", 1989, N 4). Понятно, что говоря о ненавидевших и презиравших, ученый имел в виду прежде всего интеллигенцию. Но полемики с подобными оппонентами Семенов и К⁰ не опасались: методы "борьбы с контрреволюционной пропагандой" были уже отработаны.

В том, что пресловутый "заговор Таганцева" — явление вполне мифического характера (вроде Промпартии), сумел бы убедиться и автор статьи "Дорога к

Гумилеву", сопоставив хотя бы официальные сообщения с данными, полученными от КГБ СССР. И тогда, доказывая невинность поэта, он мог бы не ссылаться на советские законы, имея весьма смутное о них представление. Впрочем, его компетентность как литератора тоже сомнительна. Речь идет не только о ничем не обоснованных оценках финансовых отношений Гумилева с другими петроградскими поэтами. Но вот, иронизируя по поводу упоминания в материалах гумилевского дела поэта Бориса Верина, Лукницкий называет его то "никому неизвестным", то "таинственным". Однако Игорь Северянин, к примеру, знал этого поэта достаточно хорошо, даже книгу ему посвятил. Мемуары Верина тоже известны. Так что и в данном случае фантазировал не следователь, а исследователь. Конечно, в России поэтов много, всех не упомнишь. Но ведь и библиографию не вчера ж придумали. Искать надо бы где потеряно, а не где светлее.

Еще более примечательны суждения того же исследователя об И.В.Одоевцевой, приводить которые не буду, во-первых, потому, что она уже дала достойный ответ, а во-вторых, потому что не желаю лишний раз тиражировать бестактность, скорее всего, не замеченную автором в полемическом азарте. Бестактность — пожалуй, самое мягкое определение. Можно различно относиться к воспоминаниям современницы поэта о его участии в заговоре, но оскорблять женщину... Надо сказать, что автор статьи "Шагреневые переплеты" обошелся без таких демайшей.

О версиях и полемических приемах я пишу не разоблачительства ради. Любой исследователь может быть заведомо необъективным или же искренне заблуждаться — это в порядке вещей. Нелепо другое: поскольку архивные материалы закрыты, о них рассуждают (якобы авторитетно) то бывший прокурор, то сущий зав.отделом Советского фонда культуры, но только не литературоведы-профессионалы, обладающие достаточной квалификацией и опытом архивной работы. А так называемая литературная общественность должна верить (или делать вид, что верит) тем, кому доверяют "компетентные органы". Контроль — невозможен. Таковы правила игры. Однако пора бы от них отказаться. Похоже, что на этот раз "компетентные

органы" собираются ценой очередной подачки — реабилитации одной жертвы — скрыть мистификацию, ради которой были убиты еще шестьдесят невиновных. Тут, конечно, свободный доступ ко всем материалам "заговора Таганцева" может лишь помешать. Потому что специалистов интересуют не подачки, а истина.

Что же касается реабилитации как таковой, то вряд ли запоздалое извинение Советской власти может "вернуть поэту его честное имя". Это имя всегда было честным.

ФЕЛЬДМАН Давид Маркович родился в 1954 г. Окончил филологический факультет МГУ. Работал в ЦГАЛИ СССР, в настоящее время научный сотрудник отдела библиографии и источниковедения ИМЛИ АН СССР. Публиковался в "Новом мире", "Литературной учебе", "Родине", "Даугаве", "Русской мысли" и др. Живет в Москве.

ИЗДАНО В РОССИИ

К.Р.

Константин Константинович
Романов

СТИХОТВОРЕНИЯ

*Москва
Литфонд
1991*

Лирическое творчество великого князя Константина Романова (1858 -- 1915) до сих пор было совершенно неизвестно советскому читателю.

"Безграничное доброжелательство, восторженное, лучистое, как свет; восхищение светлым миром спокойной жизни; избранные картины природы; роскошь и довольство; уныние, мгновенно готовое разрушиться улыбкою. -- вот чем живет и дышит эта муза", -- писал о творчестве К.Р. один из критиков того времени.

Истоки

Вальдас Анялаускас

ЧЕМУ НАС УЧИТ ИСТОРИЯ

В жизни народов, как и в жизни отдельного человека, приходит момент, когда надо принимать судьбоносные решения, как бы это ни было тяжело и опасно. В истории литовского народа таким моментом были 1939-40 годы, когда из-за очевидной возможности агрессии со стороны СССР встала дилемма: защищать или нет свою государственную независимость. И, увы, тогда не только не отстояли свободу, не защитили государство, но, что самое обидное — и не попытались даже. Не знаю, имеем ли мы, сегодняшние поколения, моральное право осуждать тогдашнее руководство Литовской республики, но извлекать уроки необходимо, — чтобы опять не повторять таких роковых ошибок. Тем более, что "империя зла" вновь угрожает военной силой. Сегодня московские правители пытаются навязывать уже политически как бы независимой, но все еще оккупированной Литве так называемый "новый союзный договор", основанный уже не на какой-то экономической мнимой выгоде и даже не на политическом расчете, а лишь на голой шовинистской идеологии, только чуть-чуть очищенной от обманчивых лохмотьев ленинизма. Литва и два других оккупированных и аннексированных СССР прибалтийских государства своим упорством и настойчивостью — при несомненной моральной правоте — уже принудили Москву называть вещи своими именами. Засовывание в союзный мешок поэтому уже не прикрывается ни "завоеваниями трудящихся", ни "социализмом", ни какими-то другими фигурными листками. Вышел наружу и всем очевиден великодержавный, империалистический интерес.

Восхваляемый правительствами и политиками всего мира Михаил Горбачев старается во что бы то ни стало

сохранить государство самое ужасное, наверное, со времен Чингисхана. И вполне вероятно, что в этом своем стремлении он не остановится ни перед чем.

Угрозу эту, несмотря на смертельную немощь империи, надо воспринимать серьезнейшим образом. Правда, кроме силы физической, есть еще и сила моральная. В этом отношении советская империя — полный банкрот.

В случае дальнейшей эскалации новой открытой военной интервенции литовская сторона, по всей видимости, будет вынуждена оказывать сопротивление врагу всеми возможными способами, в том числе и силой оружия. Об этом уже неоднократно говорили и высокопоставленные представители руководства Литовской республики. Народ Литвы и в первую очередь молодежь относится к такой постановке вопроса с пониманием. Во время митинга общественности в Вильнюсе 9 ноября прошлого года представитель Лиги свободы Литвы Арнас Тауянскас объявил о формировании добровольческой освободительной армии. Зато со стороны левых, в первую очередь литовских коммунистов (теперь они, правда, уже переименовали себя в "лейбористов"), да и со стороны социал-демократов слышны примиренческие призывы. По этому поводу время от времени разгорались весьма жаркие споры. И вот агрессия началась. Как же теперь поступать?

Имеет ли вообще хоть какой-то смысл вооруженное сопротивление, вернее — попытка такого сопротивления, при огромном неравенстве сил? В условиях, когда единственное эффективное оружие у литовского народа — это моральное превосходство?

Лучше всего этот вопрос рассмотреть с учетом урока истории. Попытаюсь это сделать, основываясь на материале, подготовленном литовским историком Людасом Труской.

Итак — год 1939-й... Катастрофа Европы. Советский Союз вполне мог захватить Прибалтику уже в конце сентября 1939 года, и никто ему бы не помешал в этом. Подписав с Москвой 28 сентября договор "О дружбе и границе", Берлин отказался от претензий на Литву. Польши уже вообще не существовало как государства, а для флотов западных держав путь в Балтийское море был

закрыт. Так что балтийские государства оказались к тому времени оставленными на произвол судьбы.

Почему же тогда Кремль не торопился и целых восемь месяцев терпеливо выжидал? Дело в том, что правители СССР, в отличие от Гитлера, готовя территориальную экспансию, существенное значение придавали созданию хотя бы видимости "законности". Для начала Сталин и Молотов навязали Литве, Латвии и Эстонии так называемые "договора о взаимопомощи"... с крупными гарнизонами Красной Армии в придачу. В Литве, например, было дислоцировано 20 тысяч советских солдат, то есть почти столько же, сколько насчитывала вся тогдашняя армия республики. И хотя статья седьмая договора от 10 октября 1939 года и провозглашала, что "осуществление этого договора никоим образом не должно нарушать суверенных прав договаривающихся сторон, в особенности их государственного устройства, экономической и социальной системы, военных дел и вообще принципа невмешательства во внутренние дела", было вполне очевидно, что в Литву одной ногой уже вступил СССР. Договор о "взаимопомощи" по существу означал не что иное, как протекторат Советского Союза, навязанный Литве.

14 июня 1940 года, когда немецкие войска вступали в Париж, Вячеслав Молотов в Москве вручил министру иностранных дел Литовской республики Юозасу Урбшису ультиматум. Правительство Советского Союза требовало от правительства Литвы: во-первых — предать суду министра внутренних дел республики К.Скучаса и директора департамента госбезопасности А.Повилайтиса как виновников якобы имевших место провокаций против советских гарнизонов (на самом же деле эти "провокации" заключались в том, что несколько красноармейцев, отлучившись на длительное время из своих частей, задержались у местных проституток — В.А.). Во-вторых — сформировать новое, приемлемое для Москвы правительство. И, наконец, — гарантировать беспрепятственное вступление в Литву неограниченного контингента Красной Армии.

В международной практике обычный срок ультиматума — 48 часов. Молотов же требовал ответа литовского правительства до десяти часов утра 15 июня.

По словам министра иностранных дел Литвы Юозаса Урбшиса (который, кстати, еще жив), в Кремле тогда между ним и Молотовым состоялся следующий диалог.

Урбшис: — Этот ультиматум вызывает у меня опасения по поводу дальнейшей судьбы Литвы.

Молотов: — Достаточно продавали Литву налево и направо! Знаем, как вас беспокоит судьба Литвы.

Урбшис: — Нельзя ли продлить срок ультиматума? Теперь уже ведь почти час ночи, и мы не успеем передать его нашему правительству. Ведь еще надо и зашифровать...

Молотов: — Мотивов ультиматума и не нужно передавать, нет необходимости, а три его пункта быстро зашифруйте — и до десяти утра получите ответ. Да и каким бы ни был ваш ответ, наши войска завтра все равно так или иначе входят в Литву...

О более подходящем моменте для оккупации Прибалтики Москва не могла и мечтать. Когда с политической карты Европы одна за другой вычеркивались древние и богатые государства, когда внимание всего мира было приковано к Парижу, кого в те суровые дни мог интересовать маленький лоскуток земли возле Балтийского моря? И Сталин этим моментом, конечно, воспользовался. Странно было бы, если бы не воспользовался.

Как видим, сегодня повторяется та же история. Так чему же она нас учит?

Как повело себя в роковой для литовского государства момент тогдашнее правительство? Почему все-таки не было оказано хотя бы чисто символическое сопротивление агрессору? Это — словно кровоточащая рана в нашей исторической памяти, она по сей день дает о себе знать. И сегодня в особенности, так как литовской стороне часто попросту нечего ответить на элементарный вопрос оппонента: а почему же тогда вы не сопротивлялись? Это-то и позволяет нашему противнику до сих пор поддерживать и распространять миф о "добровольном вхождении" Литвы в СССР в 1940 году. Если бы финны в 1939-м тоже не оказали сопротивления Красной Армии, — вне всяких сомнений, сегодня речь шла бы не только о Литве, Латвии и Эстонии, но также еще и о Финляндии как еще одной

"советской социалистической республике"... Я не хочу утверждать, что вооруженное сопротивление закончилось бы победой прибалтов, в частности литовской армии, но зато и никакой видимости "добровольного присоединения" в таком случае не было бы. Да и душу, совесть народа так бы не щемило...

Пока Литве еще не угрожала прямая опасность, и министры, и генералы декларировали горячую решимость защищать независимость. Вот лишь несколько заявлений той поры, подобранных историком Людасом Труской:

"Ничто не может быть выше, чем умереть за землю своих отцов", — заявил 11 марта 1939 года тогдашний президент Литовской республики Антанас Сметона.

"Защита страны — священный долг всех наших соотечественников", — разделял мнение президента министр обороны Казимерас Мустейкис.

"Независимость — самое дорогое достояние народа, которое мы должны защищать всеми средствами, то есть и оружием. В этой борьбе лучше пасть со славой или даже эту вооруженную борьбу против более сильного противника проиграть, — только не покорно сдаться", — утверждал 23 марта 1939 года в своем воззвании к литовской армии ее главнокомандующий генерал Стасис Рапшикис.

"Никто никогда не уважал и не будет уважать того народа, который из-за пассивности не способен защитить себя, который по-рабски наклоняет свою шею под налагаемое врагом ярмо", — говорил 2 марта 1940 года новый главнокомандующий генерал Винцас Виткаускас (потом он, кстати, как раз и оказался больше всех склонным к принятию рабского ярма, за что был обласкан новыми хозяевами).

Такие вот горячо патриотические цитаты...

Но уже совсем иначе те же самые люди говорили ночью 15 июня 1940 года в президентском дворце в Каунасе, где проходило последнее заседание литовского правительства. Обсуждался один единственный вопрос: как поступить ввиду ультимативных требований Москвы? Поэтому сегодня и необходимо нам припомнить прошлое. Горячие патриотические речи и даже "твердые убеждения", как видим, далеко не всегда выдерживают испы-

тание реальной опасностью. А последствия отсюда - увы, самые печальные.

Не приходится утверждать, что вопрос, обсуждавшийся на ночном заседании литовского правительства, был для него неожиданным. Еще 21 ноября 1939 года Совет обороны Литвы обсуждал со всей серьезностью вопрос, что делать, если наступит серьезная опасность свободе страны. И тогда весь совет однозначно высказался за то, что в таком случае следует всеми средствами, также и силой оружия, сопротивляться, даже если и не было бы совершенно никакой надежды на победу. На состоявшемся в начале мая 1940 года заседании Совета обороны было решено в случае агрессии: 1) оказать вооруженное сопротивление; 2) президент и правительство под прикрытием армии должны отступить в г.Кудиркос Науместис (литовское правительство знало, что юго-западная часть республики отнесена была к сфере интересов Германии, и поэтому надеялось, что туда Красная Армия не вступит) и держаться там, пока позволяют обстоятельства; 3) в самом крайнем случае президент и правительство интернировались бы в Германии. Но, как оказалось, все эти обсуждения были лишь пустыми разговорами. И слова, которые президент Сметона потом, уже в эмиграции, написал о тогдашнем последнем премьер-министре Литвы Антанасе Меркисе — "Я предчувствовал его неспособность в трудный час принять решение или что-то планомерно подготовить: он словно ждал, что кто-нибудь другой за него сделает то, что он сам обязан был делать — и не решался, колебался..." — эти слова подходили многим членам тогдашнего правительства. Да вообще-то и самому президенту тоже. Антанас Сметона мог хорошо управлять государством в нормальное, спокойное время, но в кризисной, экстремальной ситуации, такой, как летом 1940-го, он оказался тоже совершенно неспособным принимать правильные и достойные решения.

На последнем ночном заседании правительства президент Сметона предлагал принять только второе требование СССР, то есть о сформировании нового кабинета министров — и сопротивляться агрессии. Но члены правительства и в особенности заместитель премьер-министра Бизаускас настаивали на безоговорочном

принятии всего ультиматума. Их мнение веско поддержали оба главнокомандующих: бывший — ген.Раштикис и новый — ген.Виткаускас. Да и вообще выяснилось, что армия по существу разоружена: по приказу генерала Виткаускаса минометные части и части противотанковой обороны были отправлены на учения на отдаленные полигоны.

Так что в семь часов утра заседание окончилось тем, что его участники решили принять все требования Москвы и не оказывать ни малейшего сопротивления. Вечером того же дня президент Сметона уже отправился в Германию, а границу Литвы перешли 8-я и 11-я армии вооруженных сил СССР. Сталинский Советский Союз вступил в Литву и второй ногой. Вступил всерьез и надолго...

Правительство Антанаса Меркиса сразу же безоговорочно подчинилось воле особого уполномоченного Москвы Деканозова. В своем заявлении 15 июня о требованиях СССР, предъявленных Литве, это правительство призывало граждан "сохранять спокойствие и порядок", внушая народу, что вступление Красной Армии — это якобы всего лишь "акция поддержания мира и укрепления безопасности"... В тот же день главнокомандующий ген. Виткаускас и начальник генштаба ген.Пундзявичюс отдали приказ литовским военнослужащим "дружественно отнестись и встретить вступающие в Литву части Красной Армии". Кстати, эта армия входила в Литву, будучи приведена в состояние "боевой готовности номер один", то есть была готова в любой момент вступить в сражение.

Антанас Меркис, временно исполнявший президентские обязанности, в своей речи по радио 16 июня опять подчеркнул, что "новые дополнительные части Красной Армии" прибыли в Литву "как дружественная армия союзника, исключительно по соображениям большей безопасности самой Литвы и Советского Союза". Руководитель государства призывал население спокойно трудиться, как ни в чем не бывало, и с доверием смотреть в будущее, не доверять слухам, полагаясь только на информацию, исходящую от "ответственных и авторитетных источников" (под которыми подразумевались он сам и его правительство, на которое Деканозов уже накинул

вожди). Еще утром 15 июня министр иностранных дел Юозас Урбшис телеграммой из Москвы приказал своим подчиненным создать у зарубежных дипломатов в Каунасе впечатление, что требования СССР вовсе не являются ультиматумом, а всего лишь... пожеланием.

Таким образом, своей деятельностью мягкотелое литовское руководство тогда дезориентировало собственный народ и вводило в заблуждение мировое общественное мнение, и вообще создало видимость "законности" агрессии со стороны Советского Союза. И поэтому никакого оправдания их действиям, думается мне, нет и быть не может.

В изданных в 1989 году воспоминаниях последнего министра иностранных дел независимой Литвы Юозаса Урбшиса утверждается, что в 1940 году у Литвы не было альтернативы. Но уважаемый министр альтернативу понимает, видимо, лишь в одном только политическом смысле. Да, сохранить государственность летом 1940-го вряд ли была какая-то реальная возможность, и в этом отношении Юозас Урбшис, безусловно, прав. Но в то же время нельзя игнорировать и моральных критериев, которые в таких случаях особенно важны для будущих поколений, для Истории вообще.

Из таких критериев в данном случае упомяну в первую очередь — чувство собственного достоинства, самоуважение народа, юридические аргументы, которые так нужны теперь нам в борьбе за восстановление независимости. Ведь, как сказал литовский поэт Юстинас Марцинкявичюс, "история — это живой, непрерывный процесс, и то, что было, что уже произошло, не несет в себе окончательного, завершенного смысла, а продолжается и длится в нас — теперь и всегда".

Правительство Литвы летом 1940 года должно было решиться хотя бы на символическое сопротивление. За 20 лет независимости на армию было затрачено свыше миллиарда литов (денежная единица Литовской республики). В крайнем случае были еще возможности и политического сопротивления. Если бы это было сделано тогда, то и сегодня наши позиции — и юридические, и моральные — были бы куда прочнее. А теперь, увы, правы те, кто нам сегодня бросает в глаза аргументы

вроде того, что делегацию так называемого "народного Сейма" ведь не везли в Москву в наручниках... Наоборот, все было сделано с большой помпой. Сталин и Молотов достигли своей цели в Литве: оккупация и аннексия были преподнесены миру как добровольное вхождение нашей страны в состав СССР.

И, по моему глубокому убеждению, самой большой трагедией литовского народа летом 1940 года было то, что он даже не пытался защитить собственную свободу. Конечно, многие и тогда оправдывали и теперь пытаются оправдать это стремлением избежать ненужных человеческих жертв. Но это ведь тоже не оправдание. Непротивление правительства насилию не уберегло литовский народ от страданий и обильно пролитой крови. Уже с первых дней "советского социалистического" режима начались массовые аресты людей, а вслед за тем — и депортации в Сибирь. На каждом шагу растаптывалось национальное достоинство, элементарные человеческие права. Вспомним еще раз Финляндию, которая за все время сопротивления советской агрессии потеряла 70 тысяч граждан (из них 10 тысяч — гражданские лица). Тоже жестокая потеря, конечно, но зато Финляндия теперь — свободная процветающая страна. А раны время залечило. Не сделав ни одного выстрела в 1940 году, Литва потеряла 312 тысяч человек (и это еще далеко не полная цифра!) — убитых, замученных, погибших в ГУЛАГе, в сибирской ссылке. Половина — женщины и дети. Нормальной жизни литовский народ не видит вот уже много лет, да и чем и как все это еще закончится... Так что политика непротивления злу насилием обернулась для Литвы ужасной трагедией. Разумеется, насилие родило сопротивление. Введенный сначала в заблуждение, дезориентированный по вине правительства (и отчасти — своей интеллигенции) народ пришел в себя и начал ожесточеннейшее сопротивление захватчику, которое особенно расширилось уже после Второй мировой войны и продолжалось почти целое десятилетие. Но все же вооруженное сопротивление имело бы куда больший смысл и значимость, если бы оно имело место осенью 1939-го или летом 1940-го.

Сегодня, когда империя зла вновь пытается военной грубой силой укротить непокорную "северо-западную территорию", особенно полезно припомнить уроки прошлого. И даже если вооруженное сопротивление на какое-то время отбросит Литву назад, в прежнее тоталитарное рабство, все равно это куда лучше и определеннее, чем любой компромисс, уступка Кремлю.

ОТ РЕДАКЦИИ: Как правило, мы не практикуем никаких перепечаток, полагая, что читатель ждет от нас информации из первых рук, но для этой статьи мы делаем исключение, ибо, на наш взгляд, она весьма поучительна для тех представителей национального освобождения в нашей стране, которые склонны искать виновников собственных бед в ком и в чем угодно, только не в самих себе. Если мы уж взялись восстанавливать нашу историю, то давайте восстанавливать ее в полном объеме, а не на потребу нашим злободневным эмоциям.

Искусство

Публикация Виктории Левитиной

ПИСЬМА С.МИХОЭЛСА К С.РАДЛОВУ

В еврейской культуре советского периода не было человека более значительного, авторитетного и популярного, чем актер Московского еврейского театра С.Михоэлс (1890—1948). Его жизнь, творчество, его удивительная личность и трагическая гибель — все важно, наполнено особым смыслом: он как бы воплотил в себе, в своей судьбе талантливость и страдный путь его породившего, до конца оставшегося ему близким народа. И пусть сейчас мы многое о нем уже знаем, — любой новый документ, любое новое свидетельство — это новый штрих к его портрету. Это волнует, заставляет снова и снова оглянуться на те, уже ставшие историей, годы.

В письмах Михоэлса, которые предлагаются вниманию читателя, — ничего о политике, все — об искусстве. В них раскрывается наиболее интересная сторона его личности: ищущая, беспокойная, творящая мысль. Они писались на протяжении семи лет человеку, которого Михоэлс ценил и уважал, с которым работал.

Во время блокады Ленинграда (1941 г.) адресат Михоэлса, известный ленинградский режиссер С.Э.Радлов (1892—1958) оказался у немцев. В связи с этим все его бумаги, остававшиеся в Ленинграде, были конфискованы КГБ. Сам Радлов многие годы провел в лагере, потом был выпущен и работал в латвийских театрах. Через сорок лет его архив был передан в секретный отдел ленинградской публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, где по счастливой случайности мне и удалось с ним ознакомиться.



Письма Михоэlsa явственно распадаются на две группы.

В одной, первой, меньшей (NN 1—3) звучит его тревога по поводу постановки в ГОСЕТе советских пьес. Современного еврейского репертуара тогда почти не было, выбирать не из чего, а ставить необходимо. Необходимость объяснялась непрерывным нажимом властей (органов, руководящих искусством), а следовательно и прессы, требовавших поворота театров (всех без исключения) "лицом к современности", воплощения произведений "созвучных революции". Иначе говоря, театры — да и все искусство, да и вся литература — были обязаны пропагандировать коммунистические идеи; в этом виделся смысл их деятельности. Некоторые национальные театры, не имевшие в своем портфеле таких вещей, стали на путь кардинальной переделки русских пьес, их приспособления к местным нравам, условиям: менялось название, имена персонажей, мотивировка поступков, событий, действие переносилось на другую почву, купировались целые сцены, оставлялся только сюжетный костяк. ГОСЕТ на этот в корне антихудожественный путь не стал.

А между тем он подвергался резкой критике. Прежде всего за то, что его спектакли были главным образом посвящены прошлому народа. Это считалось "тематической замкнутостью".

Кардинально изменить свою репертуарную политику ГОСЕТу было трудно, труднее, чем многим театрам. Дело в том, что творческое лицо театра определял создатель и руководитель, ученик М.Рейнгардта А.Грановский. Он культивировал гротеск, причем понятый не внешне, не поверхностно, а глубоко, всесторонне. Иронический гротеск пронизывал всю художественную систему театра. Это придавало ему необычность. Однако критики (то есть власти) считали этот стиль "методологической ограниченностью". Он и вправду никак не согласовался с основными постулатами нового метода, который тогда быстро складывался, вскоре был назван социалистическим

реализмом и провозглашен универсальной системой советского искусства.

Таким образом, требования, предъявляемые ГОСЕТу, означали его полную художественную перестройку — и репертуарную, и режиссерскую и актерскую. Эта сложнейшая задача обрушилась на плечи Михоэлса. Объясняется это тем, что в конце 1928 г. театр вернулся из весьма успешных заграничных гастролей без своего руководителя, оставшегося на Западе. Других режиссеров в театре не было, и отсутствие Грановского вызвало кризис. Худруком был назначен Михоэлс, пользовавшийся в коллективе авторитетом как талантливый актер. Однако никто — ни его коллеги, ни он сам — не считал его режиссером: на этом поприще он делал только первые робкие, не всегда успешные шаги. Тем не менее справиться с этой задачей было для него абсолютной, не подлежащей обсуждению необходимостью. В противном случае была бы поставлена под удар не только его собственная карьера, но и судьба театра. Он это сознавал: "Иначе я — банкрот, а театр — тем более". (Очень скоро, на его глазах, тут же, в Москве, недовольные власти прибегнут к репрессивным мерам — они закроют театр бывший Корша и превосходные театры — МХТ 2-ой и Мейерхольда.)

Естественно, что Михоэлс искал крупного профессионального режиссера, на которого мог бы опереться, который бы помог театру.

Радлов был авторитетен, известен. Михоэлс верил Радлову, учился у него. То, что Радлов понял положение театра и принял посильное участие в его работе ("посильное" потому, что он жил и работал в Ленинграде и это затрудняло связь с ГОСЕТом), вызвало благодарность в сердце Михоэлса и никогда не будет им забыто.

Вторая группа писем (NN 4—9) относится к постановке "Короля Лира".

Здесь вырастает типичная проблема взаимоотношений режиссера и актера.

Шекспировская трагедия стала местом встречи двух художников, каждый из которых — крупная индивидуальность. Если бы они взаимно дополняли друг друга, встреча могла бы превратиться в гармонию. Такое бывает. Но тут было иначе: совместная работа уже в самой себе, внутрен-

не, потенциально была чревата осложнениями. Которые стали ее болевыми точками.

Михоэлс всячески стремился сохранить *modus vivendi*. У него было огромное чувство ответственности за театр, за его судьбу, осознание абсолютной необходимости завершить начатое дело, да и желание сохранить добрые отношения. Но любые этические, практические соображения были обречены. Столкновения должны были произойти и происходили невольно, непреднамеренно. Они были заложены в "генетическом коде" обоих: сильном, но разном. Каждый вращался по собственной орбите, а в местах пересечения возникали трения, избежать которые было невозможно.

Михоэлс старался ничем — даже пустяком, даже мелочью — не задеть самолюбие Радлова. В конце концов худрук театра — он, Михоэлс, и, например, решать, какому составу играть — его прерогатива. Но даже этот непринципиальный, частный вопрос он оставляет на усмотрение Радлова, тем самым давая ему возможность "хозяйски" распоряжаться всем, что касается поставленного им спектакля. Многократно подчеркивая свое невмешательство в общий режиссерский замысел (и это действительно было так), Михоэлс, однако, бескомпромиссно отстаивает право на собственное виденье только одного образа — того, который воплощает он сам.

Тем не менее Радлов обижен, отказывается продолжать работу, спектакль под угрозой срыва. И виной тому он, Михоэлс? С этим он согласиться не может, бурно опровергает, страстно протестует. Нет, он не узурпировал права режиссера, не сделал ничего такого, что могло его уязвить. Это верно, ничего такого... А Радлов все же чувствует себя ущемленным. И самое интересное, что он не капризничает. Он совершенно прав. Так же, как совершенно прав Михоэлс. Иначе просто не могло быть: ведь причина-то вовсе не в личной неприязни, не в несводимости характеров людей, которые вынуждены сосуществовать на узенькой площадке одного спектакля, нет, куда там! Она в другом, гораздо более глубоком: в органической и потому неизбежной несовместимости художественных натур. Склонной к традиции — у Радлова, уникальной — у Михоэлса. В понимании Лира это

очевидно. Для Радлова его трагедия — вариант вечной проблемы отцов и детей. Для Михоэлса его трагедия — в крушении эгоизма, суежности, тщеславия, непогрешимости (оказавшейся иллюзорной) и, через страдание, — прозрение, восхождение к человечности.

Михоэлс не принадлежал к распространенной категории актеров, односторонне воспринимающих персонаж стихийно, чувственно, так сказать, инстинктивно. Он не принадлежал и к менее распространенному разряду актеров рационалистического склада, которые, подчиняя образ логическому анализу, его засушивают, обедняют эмоционально.

Он, разумеется, актер думающий. Он мыслит, да, но сценическими метафорами; он толкует, да, но образы. Он "осязает" персонаж в его сложной духовной слитности (это-то и редкость). И это "осязание" всегда неординарно, единственно.

При всем своеобразии он — не ниоткуда. В нем — его время, в нем — его театр.

Время Михоэлса — годы двадцатые, начало тридцатых: поиски, поиски, приводящие к бесчисленным ценным находкам во всех сферах театрального — от трактовки литературного материала (не останавливающейся перед смелым, коренным переосмыслением традиционного, даже перед его ломкой) до дерзости формы. Его время — теперь уже легенда: Мейерхольд, Вахтангов, Таиров (если в чем-то единые, то лишь в отталкивании от приевшихся систем). В этом ряду, именно в этом и ни на ступеньку ниже — Грановский.

Театр Михоэлса — это театр, созданный Грановским.

Для становления творческой индивидуальности Михоэлса десятилетие работы с Грановским — властным, непререкаемым авторитетом — чрезвычайно важно. (Значение этих лет всемерно пытались преуменьшить некоторые историки советского театра, представлявшие дело так, будто расцвет Михоэлса — результат "преодоления" влияния Грановского. Только на недавно прошедшей в Иерусалимском университете конференции, посвященной Михоэлсу, всерьез обсуждалась эта проблема). Ведь Грановского Михоэлс встретил не тогда, когда его артистическая личность уже сформировалась, а когда

она только-только выстраивалась, когда закладывались основы его сценического мышления.

Грановский культивировал гротеск. Это верно, конечно. Но только на первый взгляд определение уже само по себе покрывает понятие. Трагический или комический, гротеск отфильтрован от случайного, от всего, что не обнажает самое "зерно", что не "работает" на недвусмысленно прокламированную идею. Гротеск — это широко: мироощущение, система восприятия мира и его, мира, театрального преобразования. Система, непременно предполагающая экспрессию (а вот экспрессия вовсе не обязательно предполагает именно гротеск) — ту заостренность, интенсивность красок, ту их сгущенность, компактность, спрессованность, которые могут быть достигнуты лишь под высоким "атмосферным" давлением личностной оценки. Это театр отношения в классически чистом виде.

После Грановского ГОСЕТ вынужден перейти на новые рельсы. Он расстается с гротеском. Михоэлс, конечно, тоже. Но не с экспрессионизмом. Лира он играет с ранее непредсказуемой полнотой, рельефностью, выразительностью: каждая мизансцена — такт, но не обособленный, а переливающийся в следующий, и потому не расчленяющий, не дробящий единый рисунок роли, а создающий полифонически сложную ее мелодику.

В Лире стиль актера сказался с особой законченностью — ведь теперь он уже зрелый художник. А Радлову экспрессионизм чужд: у него другое художественное мышление. В упорстве, с каким Михоэлс отстаивал собственное понимание (отказ от него невозможен, как отречение от себя), в его не поддающейся нажиму независимости для Радлова — подрыв основ.

ПИСЬМО N 1

Бердичев, 9 сентября 1929 г.

Глубокоуважаемый Сергей Эрнестович, долгое мое молчание объяснялось тем, что я ждал получения заказанного перевода пьесы, о которой Вам говорил. Сегодня,

однако, выяснилось, что наш Худ.совет внес ряд исправлений, и пьеса должна, таким образом, быть переделана автором¹. Дело, следовательно, затянется и я решил больше не дожидаться и написать Вам.

Хочется знать, каково Ваше мнение о "Гирше Лекерте"². Быть может, она при условии тех исправлений, на которые Вы укажете, все же подойдет для Вашей работы у нас.

Так хочется, чтобы Вы с нами связались в хорошей работе³.

Буду Вам очень благодарен, если напишете мне по адресу — Бердичев, гор.театр — Гастроли ГОСЕТа, мне.

Не откажите сообщить:

- 1) Ваше мнение о пьесе;
- 2) когда считаете целесообразным мой приезд к Вам для переговоров;
- 3) не можете ли Вы назвать нам ту пьесу, которую захотели бы у нас поставить.

Заранее благодарю. Жду с нетерпением Вашего ответа.

Примите выражение моего глубочайшего к Вам уважения.

Готовый к услугам,

С.Михоэлс

ПИСЬМО N 2 ¹

Дорогой, родной Сергей Эрнестович, лежит письмо Ваше у меня вот уже 12 дней. А я все молчал, молчал — от отчаяния. Я так потерялся, что не знал, с чего начать.

Надеюсь, Вы не сомневаетесь в том, что самый факт Вашего заболевания, совершенно безотносительно к работе над "Юлисом", меня глубоко огорчил. Но было бы неверно, если б я к тому же не добавил, что это огорчение усугубилось обстоятельствами, в которых очутился театр и я лично.

Я чудно понимаю, что меньше всего вины здесь Вашей и что Вы-то и есть пострадавший.

Но в первый раз в жизни я очень основательно пожалел и себя. Весь ответ и вся тяжесть упреков падает на меня. Пишу это исключительно для того, чтобы Вы поняли мое долгое молчание на этот раз. Повторяю, я совершенно растерялся.

Ефим Леонидович² в отъезде. Я с ним списался по этому поводу. Он, конечно, ничем помочь делам в театре не может.

Успокоившись несколько, я порассудил над всем этим и пришел к следующим выводам:

I. Пьеса "Юлис" идти должна во что бы то ни стало. Иначе я — банкрот, а театр — тем более.

II. От Вашей помощи отказаться не только не хочу (Вы знаете, как я люблю работу именно с Вами), но и не могу³. Ведь помимо всего прочего, мне придется, очевидно, играть в этой пьесе⁴.

III. Пьесу необходимо довести до такого состояния, чтобы Вы могли ее пустить в самый короткий срок — ну, скажем, в трехнедельный. После отпуска — в октябре⁵.

Есть ли основание надеяться, что пьесу можно будет пустить в такой срок? При всей проблематичности этой возможности кое-какое основание имеется.

I. Пьеса совершенно переработана согласно моему сценарию, о котором я Вам рассказывал и который я дополнил. Она — почти готова.

2. Второй акт (Минск) почти весь размечен. Еще в Харькове.

3. Пульвер⁶ сделал несколько музыкальных отрывков для второго акта (Я называю второй акт по-старому — имею в виду Минск.)

4. Станок готов.

5. Роли заново переписаны, многократно прочитаны.

6. Костюмы — монтировочные листы отосланы Исааку⁷. По получении эскизов пустим в работу.

Если теперь еще сделать следующее, а именно: я отказываюсь от отпуска. Еду к Вам в Ленинград с макетом; мы с Вами прорабатываем вместе весь план спектакля за макетом так, чтобы вопрос мизансценирования в

общих и хотя бы грубых чертах был решен еще до начала репетиций.

И не только мизансценирование, но и музыка, даже кое-какие монтировочные репетиции, в смысле проверки уже готовых к тому времени декораций.

С 20-го числа сентября начинаем работу, подготовительную, конечно, со студийцами, из которых часть уже мною в поездке в довольно большой мере подготовлена к работе в "Юлис". А второго октября начинаем репетиции с полным ансамблем.

Вот мыслимые мною темпы.

Мыслимы ли они вообще, приемлемы ли они для Вас, для состояния Вашего здоровья, для степени Вашей занятости в Мариинском и Молодом Театрах — вот вопросы, на которые я бы очень просил Вас сообщить Ваш ответ и суждение.

Добавлю, в коллективе рабочего настроения на сегодня нет, все устали и к "Юлису" относятся скептически.

Дорогой Сергей Эрнестович, еще раз подчеркиваю, что мое молчание объяснялось тем, что я просто не знал, что практически предложить для выхода из создавшегося положения.

Меня Вы несказанно огорчили присылкой денег по обратному адресу. Они бы Вамгодились во время болезни.

Жду Вашего ответа по адресу: Воронеж, городской театр, гастрولي Московского Государственного Еврейского театра.

Горячий привет Анне Дмитриевне, Евгения Максимовна Вас приветствует⁸. Надеюсь, что Вы уже совершенно оправились от болезни и буду рад, если Вы это подтвердите в Вашем письме.

Целую Вас, уважающий и любящий Вас С.Михозлс.

Весь театр Вас приветствует. Просят все передать Вам пожелания совершенно оправиться от болезни.

С напряжением ждем возможности работать с Вами.

ПИСЬМО N 3

Дорогой Сергей Эрнестович, получил Ваше письмо. Бесконечно рад, что Вы не возражаете против предложенного плана работы. Это сразу подняло дух, как у меня, так и у всего коллектива.

Жаль только, что Вы почему-то хотите отвести себе слишком скромную роль в этой работе. Об этом будем спорить много и долго, быть может, но я не сомневаюсь, что мне удастся Вас переубедить.

Было заседание эконом-сектора, на котором решено ориентироваться на 7-ое ноября как на дату премьеры "Юлис", согласно Вашему предложению. Я рассчитываю числа 8-го сентября к Вам приехать, если этот срок Вас устроил бы и Вы могли бы уделить мне некоторое время для обсуждения постановочного плана в общем и даже в некоторых более крупных деталях его. Буду ждать Вашего сообщения об этом уже в Москве, где и рассчитываю быть ко 2-му сентября.

Если же 8-ое Вас не устраивает, не откажитесь сообщить, какие числа Вам более удобны для того, чтобы поработать со мной. Заодно сообщите, родной, нужны ли Вам деньги и сколько — они будут Вам немедленно переведены. Если деньги Вам нужны немедленно, будьте добры написать об этом Рабинесу. Я с ним договорился по этому поводу и он обещал сейчас же перевести их Вам, как только получит Ваше письмо. Хочу Вас в заключение еще раз просить не преувеличивать моей роли в этом спектакле, на условия Ваши, Вы ведь сами поймете, я идти никак не могу.

Мне хочется работать с Вами, потому что у Вас я могу учиться. Не говорю о том, что Вы мне близки по ряду моментов как мировоззренческого, если можно так выразиться, так и вкусового порядка.

Я Вас как-то хорошо люблю. Простите за такую искренность.

Жду Вашего письма уже в Москву.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш С.Михоэлс.

Привет Вам и Анне Дмитриевне от Евгении Максимовны и меня. Все госетовцы Вас приветствуют и ждут возможности поработать с Вами.

Эсфирь Иосифовна — Карчмер просит Вас приветствовать особо².

ПИСЬМО N 4

Дорогой Сергей Эрнестович, Вам, вероятно, понятно, как мне трудно писать это письмо.

Этим объясняется и то, что я до сих пор Вам не отвечал.

Подписав письмо Иды Владимировны¹ и перечитав несколько раз его копию после получения Вашего ответа — я пытался найти в нашем письме то, что Вас взволновало, задело, чтоб не сказать больше.

Я вынужден, однако, и признаться, что не нашел в нем окриков или других элементов в какой-либо мере недопустимого тона по отношению к Вам, кого у нас любят, почитают, кем дорожат.

В данном случае я говорю не только о себе, но и о всем театре без исключений.

Письмо носило чисто деловой характер — это объясняется тем, что автором был человек несколько еще чужой и мало с Вами знакомый — Ида Владимировна. Но в деловом тоне письма не было ничего, на мой взгляд, оскорбительного, не было никакой "агрессии".

Речь шла лишь о том, чтобы Вы поставили нас в известность о сроке Ваших дальнейших приездов, так как работа затормозилась, и Магдалина Ивановна² не может продолжать работы без Ваших направляющих указаний. И только.

В театре за это время стало заметно охлаждение к работе, так как репетиции стали терять свою насыщенность и целесообразность.

Вот почему Ваше желание отказаться от работы над "Лиром" нас и поразило своей неожиданностью. Мы до сих пор не можем понять, каким образом наше письмо могло повлечь за собою Ваш отказ от работы.

Дорогой Сергей Эрнестович, Вы знаете, насколько я восприимчив к тому тону, который обычно делает музыку, — и я вынужден в данном случае искренне сожалеть, что ухо мое не уловило моментов, которые вызвали Вас на разрыв с театром. Театру сейчас вдвойне тяжело и от неприятного инцидента, и оттого, что работа остановилась, и план наш повис в воздухе.

А ведь дела театра Вам известны.

Я хочу надеяться и верить, что Вы измените свое решение, что Вы не придадите значения несомненно ошибочному впечатлению, вынесенному Вами из нашего письма, что Вы не подвергните театр тяжелому испытанию, честное слово, мы этого не заслужили — ни театр, ни я, ни Ида Владимировна.

Это так же верно, как верно и то, что я Вас люблю и обнимаю.

В ожидании Вашего скорого ответа.

Любящий Вас С.Михоэлс.

Горячий привет Анне Дмитриевне и Мите³.

19.XII.33г.

ПИСЬМО N 5¹

Дорогой Сергей Эрнестович!

Несколько дней прожил под тяжелым впечатлением Вашего письма.

Выводы, которые Вы делаете в нем, — для меня столь же неожиданны, как и появление интервью, данного месяца полтора тому назад — устно — репортеру "Советского искусства" по настоянию тов. Литовского — интервью, появившемуся в виде статьи за моей подписью. Интервью было дано на тему о том, что было высказано мною о Комакадемии.

Повторяю, все это было сделано мною по настоянию Асафа Семеновича².

И несмотря на то, что ряд моих соображений был передан правильно, я не мог бы подписаться ни под тоном статьи, ни под целым рядом фраз и оборотов, равно как

и под формулировкой того, где кончается моя роль — исполнителя, где начинается Ваша — постановщика, и где и в чем они сплетаются или коренным образом расходятся. Но о том, что интервью, обычно передаваемое по воле репортера, появится в виде статьи, да еще, вдававок, за моей подписью, я не знал, как не знал и о существовании эскиза Лира, ознакомившись с ним лишь после его опубликования.

Тем не менее, факт остается фактом, и статья, тон которой Вас никак удовлетворять не может, появилась — появилась за моей подписью.

Никак не могу понять, почему это обстоятельство — заставляет Вас коренным образом пересмотреть вопрос о Вашей работе над нашим спектаклем — превращает в тяжелый отвратительный груз Вашу работу над "Лиром" — диктует Вам решение, на мой взгляд ошибочное, которое Вы, однако, считаете большевистским.

Первое Ваше соображение, что я выступаю с режиссерской экспозицией, очевидно, относится к тому замечанию в статье, где говорится "о грозе в душе Лира" или же о взаимоотношениях Лира и шута...

Неужели эти два отнюдь не центральных, не решающих и не определяющих момента — означают самостоятельную экспозицию?

Второе Ваше утверждение о моем понимании Шекспира как пессимиста и символиста, простите меня, никак не соответствует ни моему истинному представлению о Шекспире, ни смыслу того, что высказано в этой статье.

Сергей Эрнестович, родной, мы если и спорили, то, главным образом, о том, каковы мотивы поведения Лира в первой картине, о мотивах раздела королевства, изгнания Кента и Корделии и т.д.

Но с каких пор творческое разногласие, если таковое даже и существовало бы, даже опубликованное, высказанное в печати, может быть переведено на язык конфликта?³

Почему при всей моей актерской дисциплине, которая может Вам служить порукой, что Ваши постановочные планы будут целиком и полностью осуществлены, — почему при всем том во мне не может быть внутренней

борьбы между различнейшими мотивами, двигающими и направляющими поступки старого короля? Почему философский смысл многого, открывшийся мне самым страшным событием моей жизни⁴, в год наиболее трагический, какой я когда либо знал⁵, — почему этот смысл должен быть настолько изгнан из моего актерского существа, что я не должен о нем сказать хотя бы в печати, если не на сцене, сказать хотя бы для того, чтобы его изжить, если он ложен и противоречит истинному положению вещей?

Мне казалось, что Вы давно понимаете, какими силами и в какой год своей жизни я делаю эту свою работу, и почему она столь перегружена, быть может, и постоянным философским грузом.

Я никогда не делал и сейчас не умею делать большой политики в театре. Поэтому для меня — соображение, высказанное в театре, никак не является "заявлением на весь Союз", как Вы пишете об этой злосчастной статье, которая мне уже стоила много крови и может мне еще стоить роли.

Я вынужден похвастать, что я обнаружил в отношении Вас, дорогой Сергей Эрнестович, гораздо больше, ну, как бы это сказать, понимания, в целом ряде коллизий, которые возникли в Ваших отношениях к Госету.

Много ударов обрушилось на мою голову после истории с пьесой Маркиша⁶, немало я пережил и в связи с письмом Иды Владимировны к Вам. Я никогда не искал выхода из создавшегося положения так, чтобы при этом хоть крупница Ваших интересов была ущемлена.

Я ценю и знаю, что Вы массу сделали в период тяжелейшего кризиса Госета. Для меня и моих товарищей это раз и навсегда решило все.

И я хотел думать, что и Вы учтете необычные тяжелые условия, в которых рождаются, пусть и провинциальные (цитирую Ваше определение, возможно и справедливое), мысли мои и замыслы, и что появление их в печати никак не может и не должно быть истолковано ни как узурпация Ваших режиссерских прав, которые для меня как актера являются неоспоримыми, ни как оглашение творческих разногласий с тем, чтобы дать возможность впоследствии "громить" Вас, ни как причина, а не

предлог для пересмотра вопроса о целесообразности Вашей работы над спектаклем.

Наши разногласия, если и существуют, то отнюдь не там, где Вы их, дорогой Сергей Эрнестович, пытаетесь обнаружить. Ведь и для меня Шекспир — реалистичен и оптимистичен. Наши разногласия лежат именно в том, что Вы превращаете в *casus belli* то, что по существу и по смыслу не может и не должно служить причиной к прекращению и умерщвлению интересной, хотя и с трудом осуществляемой большой работы.

То решение, о котором Вы пишете, конечно, по-моему, никак не является решением правильным:

1) у меня нет постановочного плана для "Лиры", а есть лишь актерские соображения о роли Лиры;

2) ставить и играть одновременно, да еще Шекспира, есть задача, которую, по-моему, до сих пор еще никто не решил;

3) отказаться от Вас как от постановщика значит зарезать напополам распаханый, если можно сказать, спектакль и ограбить театр и себя.

Письмо, которое я Вам пишу, продиктовано и большим чувством к Вам, как к одному из считанных близких мне людей-друзей, и отчаянием, в которое Вы меня повергли, и, простите за смелость, уже не в первый раз.

Я не жалею.

Но я не могу ни понять, ни допустить, что возникшее, пусть и печальное, недоразумение должно катастрофически отразиться на работе.

Я знаю — Вы перегружены, Вас гнетет сознание необходимости ставить спектакль, где многое, не только статья, Вас нервирует, раздражает, Вы устали, быть может — но все же, если только можете, не бросайте начатой работы⁷.

Есть у меня чувство убежденности, что эта работа Вас обрадует.

Что касается недоразумения со статьей, я надеюсь, что при личном свидании и при помощи Асафа Семеновича мы найдем выход из положения, который Вас удовлетворит.

Я жду с нетерпением Вашего телеграфного извещения о Вашем решении. Я говорю телеграфного, потому что Ида Владимировна нервничает необычайно, в театре, несмотря на то, что никто еще о Вашем письме не знает, все идет вверх дном, а моя жизнь в театре превратилась буквально в ад⁸. Жду.

Обнимаю Вас Ваш С.Михоэлс.

ПИСЬМО N 6

Дорогой Сергей Эрнестович, Тышлер¹ не приступает к эскизам костюмов. Необходимой выписки действующих лиц с их соответственной характеристикой и Вашими и пожеланиями в отношении костюмов он от Магдалины Ивановны не получил.

Посылая Вам монтировочные листы действующих лиц, прошу Вас очень заполнить их с тем, чтобы в дальнейшем не терять времени в смысле исполнения эскизов.

В театре нового и хорошего мало, вернее, ничего и нет.

Водевиль подвигается вяло и пока в нем мало интересного².

Начинаю волноваться за его судьбу.

Тоскую по "Лиру" и по Лиру.

Хотелось бы скорее с Вами повидаться и двинуть нашего Шекспира.

Крепко Вас обнимаю Ваш С.Михоэлс.

Горячий мой привет Анне Дмитриевне и Мите. Москва 24.04.34 г.

Если можете, поспешите с ответом, мы уезжаем 12-го в Тифлис.

ПИСЬМО N 7

Дорогой Сергей Эрнестович, приходится отвечать Вам письмом на Ленинград, так как письмо Ваше нашло меня

с некоторым опозданием и телеграмма может Вас не застать в Сталинграде.

Позвольте Вас прежде всего поздравить со счастливым избавлением от жутчайших обязанностей, связанных с художественным руководством. Никто Вас не поймет в такой мере, как я.

Как бы ни было тяжело Вам оставлять насиженное место, оставлять работу, которой Вы отдали 9 лет жизни. Вы должны благодарить небо, что Вам больше не придется подписываться под чужими ошибками, делить ответственность с другими, что Вы сможете, наконец, заняться своим прямым делом и отвечать за себя и свою работу, что Вы будете делать то, что Вы найдете нужным для полного раскрытия Ваших творческих сил.

Какой Вы счастливый! Меня все это радует еще особо потому, что в новой обстановке я вижу возможности развить свои империалистические замыслы, которые Госет питает в отношении Вас.

Я, естественно, как и любой неглупый еврей на моем месте, рассчитал, что в будущем сезоне Вы могли бы нам уделить время для осуществления еще одной постановки. Помимо того, мы осуществили бы еще одну давнишнюю мечту и предложили бы Вам взять на себя строго консультационную работу по руководству одной постановкой, которую мы хотим поручить нашей молодой лаборантской группе. Словом, — масса розовых надежд.

Поверьте, однако, что независимо от этих надежд, я рад происшедшим изменениям, главным образом, за Вас, зная, сколько сил, здоровья, сколько огорчений и забот причиняла Вам неблагоприятная работа по худ.руководству.

Сейчас же я коснусь вопросов, которые Вас, естественно, столь живо интересуют.

Одесса в силе. С Николаевым, мы надеемся, будет так же. 17-го с.м. в Москве в Гос.арбитраже разбирается наш спор с николаевскими организациями и мы не сомневаемся, что все разрешится в нашу пользу. В случае обратном мы кочевать не будем. Вероятно, посидим в Днепропетровске и дадим лишь несколько спектаклей в ближайшей периферии.

Так или иначе числа 18-го все будет известно и я не замедлю Вам протелеграфировать.

Пока все остается по-прежнему в силе.

Таким образом, август нам придется работать.

Сентябрь — нам отпуск, и Ваш вариант, к большому сожалению, не может быть реализован. В дальнейшем все складывается следующим образом: 6-го октября — открытие сезона.

Должны были открыться Лавишем. Но, к огорчению, водевил наш недоработан. Два месяца, положенных на него, оказались недостаточными. Причиной — французский язык, который с трудом прививается нашим товарищам, равно как и французская обстановка и стиль игры.

Мусинак требует еще 3-х недель работы, ради которых он специально приезжает из Парижа, где он находится в настоящую минуту. Работа над "Лиром", таким образом, сможет начаться с полной нагрузкой лишь с конца октября — начала ноября.

Если бы Вы могли октябрь нагрузить своей работой по Гатобу² — было бы, конечно, блестяще.

Очень и очень прошу учесть нашу исключительно тяжелую и напряженную обстановку работы. Последняя строчка продиктована худ.руком. — Вы чувствуете, как она полна заботы и огорчения. Вам-то как хорошо сейчас!

Декорации "Лиры" делаются. Достали липу — делают фигуры. Степанов сидит в Москве и руководит работами. Однако более подробно затрудняюсь Вам сказать об этом, так как последних сводок работы у меня еще нет.

С костюмами, конечно, хуже. В данном случае нас очень подводит Тышлер, который не дал ни одного эскиза. Он утверждает, что ему необходимо посмотреть хотя бы одну репетицию. Без этого он затрудняется что-либо сделать.

Задерживает он также и разрешение Степи и, пока Вы сами на этом не настаите, — опасаясь, из этого ничего не выйдет. Тем более, что после очередной "динамовской бани"³, о которой Вы, вероятно, читали, с ним разговаривать очень трудно. Говорят, - он очень подавлен новым громом обвинений его в формализме.

Мы все готовимся к встрече с Вами.

"Лир" за последнее время всецело поглотил мою мысль и внимание.

Так хочется верить, что он "будет красавчик", как Вы об этом пророчествуете. Мне и самому кажется, что это будет так.

Что касается условий жизни, то мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтоб Вам было хорошо. Я уверен, что это нам удастся.

В Харькове кончаем 15-го, а 16-го уже играем в Днепропетровске. 18-го я Вам протелеграфирую относительно Николаева.

Татьяне Самойловне пишу сегодня же насчет сокращенного экземпляра "Лира".

Вот, как будто, все о делах.

Слышал про Ваши успехи в Москве и чрезвычайно рад был этому.

Но очень огорчен болезнью Вашей матушки.

Очень прошу Вас передать ей мой горячий привет и пожелание скорейшего выздоровления.

Сердечнейший привет Анне Дмитриевне и моему коллеге — Мите. До скорого свидания.

Целую Вас Ваш С.Михозлс.

ПИСЬМО N 8

Дорогой Сергей Эрнестович, сегодня в конверте "Интурист" получил пересланное мне из Киевской гостиницы "Континенталь" твое письмо, Дело в том, что вторую половину моего пребывания в Киеве, ввиду острого заболевания, я жил у матери Евгении Максимовны.

Спешу тебе ответить, чтобы рассеять досадное впечатление, которое могло произвести на тебя мое фактически невольное молчание.

Гнетет меня все то, о чем ты пишешь, не меньше, чем тебя самого.

Конечно, я выступлю с письмом в редакцию в той форме, в которой ты сочтешь это нужным и целесообразным. Я лишь считаю, что этого мало. Я хочу написать статью о твоей роли в нашем театре, в его росте и развитии за последние 6 лет, где в одном из разделов будет охарактеризована твоя работа над "Лиром"¹.

Сегодня искал номер "Театра и драматургии", где напечатана статья Нусинова (ведь мне необходимо ознакомиться с ней основательно), но в Днепропетровске это не так легко осуществить².

С содержанием моего письма в редакцию и статьи я познакомлю тебя предварительно.

Очень прошу простить меня за вынужденное молчание.

Горячо приветствую Анну Дмитриевну, обнимаю тебя.
Твой С.Михоэлс.

Днепропетровск, 9/VIII-35 г.

Телеграмма N 9

Очень прошу срочно сообщить какому составу играть двадцать пятого тчк очередь первому составу тчк обидно лишь что оценку получил только первый состав тчк второй поэтому просит компенсации тчк Решили запросить твое решение тчк Письмо задержал ввиду болезни горячий привет Михоэлс.

П Р И М Е Ч А Н И Я

(составлены при участии Н.С.Михоэлс-Вовси)

К письму N 1

1) О переводе и переделках какой пьесы говорит Михоэлс установить не удалось.

2) Леккерт (1880—1902) был бундовцем и в мае 1902 г. совершил покушение на градоначальника Вильны фон Валя, приказавшего наказать розгами еврейских рабочих-демонстрантов. Леккерт был повешен. О его судьбе в двадцатые годы написано две пьесы. Драма А.Кушнирова (1891—1949) "Гирш Леккерт" шла в Белгосете (Минск, 1928—29 гг. режиссер М.Рафальский). В 1930 г. ее перевел на русский Э.Багрицкий.

Драма Х.Лейвика "Гирш Леккерт" была поставлена Московским еврейским театром-студией "Фрайкунст". В 1929 г. в Москве, в помещении театра "Комедия", в числе других спектаклей "Фрайкунста" был показан и этот.

Сказать, о какой из этих двух пьес идет речь в письме Михозлса, не могу: ни одна из них в ГОСЕТе поставлена не была.

3) С первых дней своего пребывания на посту руководителя ГОСЕТа Михозлс стремился привлечь Радлова к работе театра. Это ему удалось: уже в январе 1930 г. Радловым была выпущена пьеса Д.Бергельсона "Глухой".

Впоследствии Радлов поставил там и другие спектакли: "Четыре дня" ("Юлиус") М.Даниэля совместно с Михозлсом, "Земля" ("Нит гедайде") П.Маркиша (совместно с Михозлсом), "Король Лир" Шекспира.

К письму N 2

1) Письмо вероятно относится к июлю 1931 г.: с середины августа театр был в отпуске, 8 сентября Михозлс предполагал приехать в Ленинград для обсуждения с Радловым постановочного плана "Юлиуса", а 20 сентября — начать репетиции (см.письмо N3).

2) Ефим Леонидович Рабинс — директор театра приблизительно в 1931—1933 гг.

3) Уговоры Михозлса подействовали, постановка "Юлиуса" была результатом совместной работы Радлова и Михозлса.

4) Михозлс играл в "Юлиусе" главную роль.

5) Выпуск спектакля приурочили к годовщине Октябрьской революции (премьера 7 ноября 1931 г.), что было вполне оправданным, так как действие пьесы происходит в революционные дни.

6) Лев Михайлович Пульвер (1883—1976) — крещеный еврей, до революции был музыкантом в оркестре московского Большого театра. В ГОСЕТе работал с 1923 г. до его закрытия, был главным дирижером оркестра и композитором большинства спектаклей.

7) Исаак Моисеевич Рабинович (1894—1961) — художник, оформлявший спектакль. Постоянно в театре не работал, приглашался на отдельные постановки, но был связан с театром издавна: в 1921 г. он оформил "Бога мести" Ш.Аша, в 1922 г. — "Колдунью" А.Гольдфадена, в 1930 г. "Глухого" Д.Бергельсона, в 1931 г. "Нит гедайге" П.Маркиша и "Четыре дня" М.Даниэля, в 1938 г. — "Тевье-молочника" Шолома Алейхема.

8) Евгения Максимовна Левитас — актриса ГОСЕТа, неофициальная жена Михозлса.

К письму N 3

1) Имеется отдельный конверт из Киева 8 августа 1931 г. Эта дата вполне соответствует содержанию письма: Михозлс послал Радлову письмо N 2, в начале августа получил ответ и 8 августа отправил ему это письмо.

2) Эсфирь Иосифовна Карчмер — актриса театра.

К письму N 4

1) Ида Владимировна Лашевич — член партии, назначена директором театра в середине 1933 г. В 1937 г. была арестована, дальнейшая судьба неизвестна.

2) Магдалина Ивановна Сизова — ассистентка Радлова по постановке "Короля Лира".

3) Анна Дмитриевна — жена Радлова, переводчица. Митя — сын Радлова.

К письму N 5

1) Полагаю, что письмо относится к январю-февралю 1934 г. За неимением добавочных материалов датировать точнее не могу.

2) Асаф Семенович Литовский (1891—1971) в 1930—1937 гг. был начальником Главреперткома.

3) О разногласиях с Радловым, о своем понимании Лира позже Михозлс откровенно напишет в статье "Моя работа над "Королем Лиром" Шекспира".

4) По предположению дочери Михозлса Натальи, это выражение относится к смерти Е.М.Левитас 30.12.32г.

5) Весной 1932г. умер брат Михозлса Абрам, 4 августа умерла жена Михозлса Сарра Львовна, 30.12. — Е.Левитас.

6) Речь идет о "Пятом горизонте" — пьесе П.Маркиша из жизни шахтеров, от которой ГОСЕТ после длительных колебаний отказался. Спектакль театра Вахтангова вызвал множество упреков в незнании драматургом изображаемой среды.

7) Радлов в конце концов согласился продолжать работу над "Лиром": "В дальнейшем у нас возник полный контакт и работа зашпорилась", — вспоминал Михозлс.

8) Слухи о недовольстве Радлова, очевидно, все-таки просочились и обескуражили труппу.

К письму N 6

1) Александр Григорьевич Тышлер (1898—1970) - известный художник. "Король Лир" был его первой постановкой в ГОСЕТе.

Затем он оформлял и некоторые другие его спектакли: "Разбойник Бойтре" М.Кульбаха (1936), "Семья Овадис" П.Маркиша (1937), "Пир" П.Маркиша (1939), "Блуждающие звезды" Шолома Алейхема (1941), "Фрейлехс" З.Шнеера (1945).

Советская пресса всегда обвиняла Тышлера в формализме, так как его яркая, своеобразная художественная индивидуальность не укладывалась в рамки "социалистического реализма".

2) Речь идет о водевиле Э.Лабиша "Миллионер, дантист и бедняк", премьера которого состоялась 10 ноября 1934 г. Дантиста Гредана играл Михоэлс, режиссер Леон Муссиак.

К письму N 7

1) Имеется отдельный конверт, штемпелеванный 15 июля 1934 г. Содержание письма соответствует этой дате.

2) ГАТОБ — Государственный академический театр оперы и балета (Ленинград).

3) С.С.Динамов — шекспировед. В 1937 г. был арестован и впоследствии расстрелян.

4) Татьяна Самойловна Кантер — машинистка в театре.

К письму N 8

1) Совершенно очевидно, что письмом в редакцию и статьей Михоэлс хотел исчерпать конфликтную ситуацию, имевшую место в период работы над "Лиром". Намерение это было осуществлено частично. Никакое письмо в печати не появлялось; возможно, что оно и не было написано. Что касается статьи, то, по всей вероятности, желание написать ее вылилось в обширную статью "Моя работа над "Королем Лиром" Шекспира", которой он занимался (совместно с Н.Минц) в январе 1936 г. (не исключено, что он приступил к ней несколько раньше). Впервые она опубликована в 1960 г.; о Радлове там говорится достаточно подробно.

2) В статье И.Нусинова "Король Лир" в ГОСЕТе ("Театр и драматургия", 1935, N 6, с.4—8) дан подробный анализ и чрезвычайно высокая оценка игры Михоэлса, а также всего спектакля.

К телеграмме N 9

1) Так как в спектаклях, которые ставил Радлов, два состава было только в "Короле Лире", премьера которого состоялась 10 февраля 1935 г., то телеграмму следует отнести к этому месяцу.

Литература и время

Ирина Муравьева

К 80-летию со дня рождения Александра Твардовского

"АХ КАК ТРУДНО ВСЕ НА СВЕТЕ..."

Когда сестра деда умерла, половина дачи перешла к новому хозяину. И вот случилось так, что любимый сад с малиной и клумбой "золотых шаров" варварски поделили надвое, а за стенкой зазвучали чужие голоса, зашаркали чужие тапочки.

Их было двое: он и она. Старенькие, страшненькие, приплюснутые. Она — усатая, с кривым пучком сквоящих волос, у него — непропорционально развитая бульдожья челюсть выдавливала дребезжащий от непонятного умиления голос.

"Вы подумайте! — ужасалась я в свои одиннадцать. — Что они с домом сделали! Как можно было перекрасить его в синий цвет!"

Действительно: наша половина была прелестного цвета живого дерева в разводах золотой смолы, а их кусок стал ядовито-синим и за один день окружился черными пнями — жалкими останками срубленных деревьев...

Позже на нашей половине зашелестело: "Сталинист. Он в тридцатые годы был начальником отдела кадров ЦК Узбекистана. Руки в крови по локоть".

Волосатыми, короткими руками с алыми от клубники пальцами он открыл мне дверь:

"Я молоко принесла. Бабушка просила передать".

Протягиваю бидон. Он кланяется, улыбается, мелко-мелко трясет своей бульдожьей челюстью:

"Евгения Максимовна! Женя! — кричит он во глубину моего родного изуродованного дома. — Нам молоко принесли!"

И растворилась дверь, ведущая в маленькую комнату, на стенке которой я удивленно увидела большой, в черной раме, портрет Сталина.

Так это началось. Ибо — что? Ибо детское восприятие отличается особой метафоричностью, оно непредсказуемо и ранимо. С этого дня слышимые за стеной разговоры вдруг приобрели отталкивающий пронзительный смысл:

"Женя! Ты послушай! Засранцы! Распустились без хозяина!

За такие дела к стенке надо! Так все прахом пойдет!

Жидовские штучки!"

"Ваня... Не волнуйся..."

"Какое не волнуйся, Евгения Максимовна! Эх, Иосиф Виссарионыч, оставил ты нас..."

Ночью мне снились нищие узбеки, всегда почему-то слепые, с которыми он расправлялся своими короткими, алыми от клубничного сока и крови пальцами...

Позже я поняла, что это первое болезненное впечатление и повлекло за собою то, что я никогда уже больше — стою категоричностью, которая складывается в детстве, — не верила в людей, которые тогда — представьте себе! — не поняли, приняли, верили, обманывались, служили, аплодировали, а потом — представьте себе! — по наущению свыше опомнились и раскаялись.

Страшный старикашка, озлобленно комментирующий газеты под портретом усатого Сталина, стал своего рода символическим обоснованием моего недоверия. Я и теперь с большой неловкостью слушаю рассказы об этих "рубах-парнях" — секретарях райкомов и обкомов, которые в творческие времена перестройки с треском кладут на стол свои партбилеты, внезапно прозрев и душевно сформировавшись. Подождите, а раньше-то — что? Мальчиков, привозимых из Афганистана в свинцовых ящиках, старух с двенадцатирублевой пенсией, колоний, из которых и честный человек выйдет закоренелым преступником, лагерей, травли, лжи на всех уровнях, — разве этого мало было им для прозрения?

Почему же сейчас, когда свыше кинули клич "Можно! Прозревайте!", они, не сговариваясь, и прозрели?

Думая обо всем этом, то есть о том, что происходит, что может произойти с таким достаточно податливым материалом, как душа человека, попавшая во власть тоталитарной системы, причем попавшая буквально, со всеми своими эмоциями и обстоятельствами, анализируя то, как порою ребячливо подстраивается эта, очевидно, чаще всего незрелая, несамодостаточная субстанция — человеческая душа, под грубую диктовку тоталитарного режима, я невольно остановилась на имени Твардовского, судьба которого почти болезненно и очень уж наглядно иллюстрирует то, как начинается этот процесс, сколь далеко заходит и чем оборачивается с точки зрения незаинтересованной, хладнокровной вечности.

Чуть больше года назад в "Юности" появились мемуары младшего брата поэта — Ивана Трифоновича. Мемуары эти честные, страшные и благодаря их безыскусно воспроизведенным житейским подробностям с Твардовским происходит что-то подобное тому, что произошло, когда его мозаично сложенный в повести Солженицына "Бодался теленок с дубом" портрет разом отскреб это имя от присохших струпов хрестоматии, и под маской сталинского классика обнаружилось живое лицо — умное, пьяное, настрадавшееся...

Мемуары опубликованы. Прекрасно. Тут бы, кажется и ужаснуться тому, как была изуродована целая большая, отмеченная мощным талантом жизнь, как поплатился этот талант — не лагерем, не ссылкой, не шельмованием, нет, — на сей раз звонкой славой, крепким признанием, сращенным с диким животным страхом, но — увы! — мемуары сопровождаются плоским и лживым комментарием Ю.Буртина, прочитав который я и испытала желание приняться за эту работу. Не кормите нас "лягушками в сахаре", правдолюбцы перестроечной пятилетки, не публикуйте лучше совсем, чем так комментировать!

"Я глубоко убежден, — пишет Ю.Буртин, — что источник поведения А.Т. по отношению к отцу и родной семье нужно искать не столько в его характере и личной нравственности как таковой, сколько на пересечении его личности и общей нашей истории".

Вот мы и подошли к самому главному. Почему так памятно поведение в определенной ситуации именно Александра Твардовского, крестьянского сына, выросшего в крестьянской стране — России, на глазах которого шло кровавое наступление на крестьянство, не пощадившее и его собственной семьи?

Факты этого поведения, приводимые братом Иваном Трифоновичем, сводятся к письму Твардовского родным в ссылку со словами: "Дорогие родные! Я не варвар и не зверь. Прошу вас крепиться, терпеть, работать. Ликвидация кулачества не есть ликвидация людей, тем более детей... Писать я вам не могу... мне не пишете..." И встреча с отцом, бежавшим из ссылки, записанная Иваном Трифоновичем с отцовских слов: "Шура! Сын мой! — говорю. — Гибель же нам там!..."

"Значит, бежали? — спрашивает отрывисто, как бы не своим голосом, и взгляд его, просто не ему свойственный, так всего меня к земле и прижал. — Помочь могу только в том, чтобы бесплатно доставили вас туда, где были!" — так точно и сказал".

Комментируя поведение брата, Иван Трифонович делает как бы невольную дипломатическую уступку, прозрачную в своей противоречивости:

"... я не мог не учитывать того факта, что он был искренним комсомольцем двадцатых годов. В теперешнем осмыслении мне представляется то, что революционное насилие, коснувшееся родителей, братьев и сестер, пусть ошибочно-несправедливое, как бы явилось пробным камнем для Александра, когда нужно было доказать, чего ты действительно стоишь как комсомолец... Есть основания верить, что в душе Александр скорбел и больно переживал допущенную местными властями несправедливость по отношению к нашей семье..."

Трудно представить себе, что за целую жизнь всякого хлебнувший, умный Иван Трифонович не разобрался, какого рода "местными властями" и какая "несправедливость" была допущена! Противоречивость и фальшивая уступчивость этой фразы очевидна еще и потому, что сам же он отчетливо называет вещи своими

именами, когда пишет: "Наверняка он никогда не забывал о матери да и обо всех родных, но... возможности его были очень малы, и с окаменелым сердцем шел он трудной дорогой своих планов..."

Произнесены слова, не оставляющие пространства для образа прекраснодушного поэта с остатками деревенского румянца на доверчивом лице и гордо сидящей на богатырских плечах головой, заволоченной кумачовым туманом внушенной идеологии! На месте этого богатыря, простака, Ильи Муромца видятся мне две фигуры: твердолобая, с бычьим упорством вышагивающая к "зияющим высотам" "трудной дорогой своих планов" и мучительно маячащая за ней маленькая, истаявшая в тень, постоянно вздрагивающая от рушащихся на голову окриков, с лицом, в котором сказочные черты Ивана-царевича преобразены в гримасу отчаяния и страха. Что-то знакомое в этих чертах... Что? Да, затравленный, старческий — в сорок с небольшим! — облик Мандельштама, кающийся Зощенко, пьяный Шостакович... Лицо нашей культуры, попавшей под безжалостное "красное колесо".

"Не суди! — кричит мне в телефонную трубку Наум Коржавин. — Да, мы верили! Нам говорили, а мы верили! Я сам видел трупы, а потом на их месте появилась вывеска "Коммерческий хлеб", и я забыл про то, что было, я обрадовался. Хлеб! А потом было спасение челюскинцев и строительство метро, и... Разное! Мы верили! Верили!"

Очевидцы свидетельствуют, присягают своей былой вере. Стало быть, в этом стонущем, с прожилками темной крови, в сгустках семейных предательств и дружеских разрывов, в белых пятнах животного ужаса полотне, которое возникает перед моими глазами как образ того времени, стало быть, в этом полотне — есть еще и бирюза? Голубые разводы слепых эмоций, романтических людских иллюзий? Здесь же, на прожилках темной крови, на белизне животного ужаса? О да, конечно, но оставляя пространство и для "бирюзы", разберемся все-таки, что же решало дело, когда доходило до того или иного поступка? Что правило людьми и выстраивало — так или иначе — их судьбы? И какой урок из этого прошлого неплохо бы

вынести применительно к нашему, недавно наступившему в России времени?

Возвращаюсь к Твардовскому.

"Революционное насилие коснулось твоих родителей, — патетически восклицает Буртин. — Братьев и сестер? Что ж, вот тут и пришел час показать, чего ты действительно стоишь как комсомолец! Вспомни Павлика Морозова! Вспомни, как в гражданскую войну брат порой стрелял в брата, сын в отца!"

Советскому комментатору почему-то кажется достойным наделить автора превосходного "Теркина" и "Дома у дороги" психологией одичавшего манкурта из повести Ч.Айтматова "Буранный полустанок". Жаль мне Александра Трифоновича: за что же ему еще и это, посмертное унижение? Не лучше ли оставить за ним, человеком из плоти и крови, не подопытной куклой, не роботом, знакомое нам и остро понятное в определенных обстоятельствах право на страх и слабость? Вряд ли ошибалась мать, сердцем чувствующая то, что происходило с ее высоко залетевшим сыном, когда говорила: "Знаю, чувствую, верю... нелегко было ему решиться на такое письмо, да уж видно, сыночку моему нельзя было... по другому... карусель в жизни такая, что поделаешь?"

Я вспоминаю старинное высказывание "слова поэта — суть уже дела его" и думаю, что больнее всего ударила эта карусель по слову Твардовского.

Дрова как будто и сухи,
Да не играет печка.
Стихи как будто и стихи,
Да правды ни словечка.

Цитата эта поздняя, из стихотворения пятьдесят пятого года, но она полнее всего характеризует то, что писал он в тридцатые.

"Твардовского времен "Муравии" я нисколько не выделял из общего ряда поэтов, обслуживающих курильницы лжи", — говорит Солженицын в повести "Бодался теленок с дубом".

Да, это так, но учитывая даже самую высокую степень идеологического опьянения, зададимся простым вопросом: верил ли Твардовский хотя бы на пятьдесят процентов тому, о чем писал?

"Все, что происходило тогда в деревне, — объяснял он в своей автобиографии, — касалось меня самым ближайшим образом в житейском, общественном, морально-этическом смысле... Отрываясь от книг и учебы, я ездил в колхозы в качестве корреспондента областных редакций, вникал со страстью во все, что составляло собой новый, впервые складывающийся строй сельской жизни, писал газетные статьи и вел всякие записи, за каждой поездкой отмечая для себя то новое, что открылось мне в сложном и величественном процессе переустройства деревни".

Стало быть — видел? Стало быть — знал?

Трагедия Твардовского осуществлялась не столь наглядно, как трагедии Ахматовой, Хармса, Мандельштама. Она началась с юношеского азарта ("Не суди! Мы верили!"), продлилась духовной несамостоятельностью и вызрела в парализованную волю, которая диктовала поведение в целом: чем энергичнее подкапывала под него судьба (высылка родных, нападки в печати за кулацкое происхождение и кулацкую идеологию), тем упорнее завоевывал он место "своего" в этой озверевшей волчьей стае, "окаменеваая сердцем" и страдальчески понимая ограниченность всех иных возможностей: жертвенных, обреченных... И — Боже мой! Ко всему — как трудно было расстаться с голубоглазыми надеждами неопытной юности, как было:

Жалко жизни той, приманки,
Малость хочется пожить,
Хоть погреться на лежанке,
Хоть портянки просушить...

Не сужу его и не оправдываю. Сочувствую всем сердцем. Не тогда ли он запил?

Хотелось бы мне — чтобы отчетливее представить себе сложность психологического существования Твардов-

ского в тридцатые годы — позволить себе небольшое "лирическое отступление".

В тридцать восьмом году он написал стихотворение "На свадьбе". Речь в нем идет о том, как на свадьбу к любимой девушке, выходящей замуж за другого, приходит парень с гармонью. Назревший конфликт, который в реальной жизни мог бы закончиться ссорой или дракой, находит в стихотворении неожиданное разрешение: гармонист играет, жених пляшет, и это своеобразное состязание в мастерстве заканчивается полной идиллией:

И вот сидим мы за столом
С соперником моим,
До края льем, по братски пьем
И свадьбу веселим.

Не случайно, мне кажется, вывела рука Твардовского этот немислимый рассказ, лубочная беспомощность которого своеобразно отражает лишь его собственную, глубоко миролюбивую и изначально доверчивую натуру, демонстрирует его бессознательное тяготение к ладу и покою. Возьмите любую из фотографий, всмотритесь в его лицо. Это лицо мягкого человека. Крылья широкого носа, нерешительный рисунок губ, круглый подбородок несут какую-то общую идею душевной чистоты и неагрессивности.

"Жить бы мне век соловьем-одиночкой

В этом краю травянистых дорог...", — обронил он когда-то, и, будь моя воля, высекла бы я эти слова на его могильном камне, ибо в них — последняя правда, чудом вырвавшийся из разворошенного сознания, плач по собственной изуродованной жизни...

"Так вот и были бы: народным поэтом, покрупней Кольцова и Никитина, — сокрушался Солженицын. — Писали бы свободно, как дышится, не отсиживали бы четырехста гнусных совещаний, не нуждались бы спастись водкой, не заболели бы раком от несправедного гонения".

Может быть, и впрямь, благодаря доверчивости и инфантильной близорукости, Твардовский плохо решался

на самостоятельные выводы и ему было труднее, чем другим, расстаться с иллюзиями и обобщениями, но это, безусловно, только часть проблемы и более того — незначительная, нерешающая ее часть.

Не могу не остановиться на стихотворении "Братья", странно датированном 1933—1937 годами. Относящееся к 1933 году звучит так:

Что ж ты, брат?
Как ты, брат?
Где ж ты, брат?
На каком Беломорском канале?

Прорвалось ведь! Полыхнуло пламенем из дымной "курильницы лжи"! На каком Беломорском канале брат Константин, о судьбе которого, сосланного со всей остальной семьей, Твардовский в 1933 году ничего не знал? Разве не доказывают эти слова, что не был слепым наш поэт и о происходящем вокруг, мягко говоря, догадывался?

Другое дело — не хотел догадываться. "*Шел трудной дорогой* своих планов..." Но ведь и честные немцы, жившие неподалеку от Бухенвальда, не хотели догадываться, что за дым валит из его печей...

То же самое стихотворение "Братья", законченное в 1937 году, подтверждает, как яростно сопротивлялся Твардовский наступающей на него правде, как глушил ее — в жизни водкой, в стихах — ложью, как голыми ладонями — бедный, затравленный человек! — накрывал ее рвущееся со всех сторон пламя:

Мы, как прежде, похожи с лица,
Подходящие с виду ребята.
Два, по правде сказать, молодца.
Два бойца.
Два родимые брата.

Вместе слышим мы голос страны,
Слышим ласково-строгое слово:
Ну, сыны?
Как, сыны?

Что, сыны?

Ничего, — отвечаем, — готовы...

По воспоминаниям Ивана Трифоновича Твардовского понятно, что семья его была свободно мыслящей, одаренной, с естественно возникающим в определенных ситуациях чувством протеста, доходящим до прямого бунтарства: "Ясно было, — пишет он, — что мириться с положением, в которое мы поставлены, нельзя. Про себя я размышлял, что дело не только в плохих бытовых условиях, недоедании, но в принудительном труде, мы ведь не посланы, а высланы. Административно. То есть насильственно. Отсюда внутренний, ничем не заглушаемый протест".

Александр Трифонович даже в своей последней, честной поэме "По праву памяти" пытается примирить непримиримое, когда пишет об отце времен ссылки, который был "...среди врагов советской власти один, что славил эту власть".

Что — миролюбие, слабость, страх, усталость, — что продиктовало Твардовскому в прекрасном, за душу хватающем цикле "Памяти матери", эти строки:

"Отжитое пережито,
А с кого какой же спрос?"

Не сужу его и не оправдываю. Сочувствую всем сердцем. Разными дорогами идут художники в тоталитарном государстве и платят каждый за себя: кто жизнью, кто посмертной судьбою...

Кто знает, какого мужества потребовал от Твардовского его поступок — перевоз семьи из ссылки в Смоленск в 1936 году?

"... тут дверь распахнулась и ... не передать: сухонький наш старичок так и замер. И головою то вверх, то вниз, растерялся и ни слова. Обнял Шура его: "Вот оно как бывает, папа! Не надо вспоминать!"

Думаю, что подлинного мужества... И не понимаю сейчас, из дали 1989 года, который позволяет мне лишь теоретически представить силу страха, руководящего

людьми, и меру человеческой слабости, не понимаю я из относительно благополучного 1989 года, как совершивший мужественный по отношению к родной семье поступок Твардовский написал старика и мальчика, бежавших из ссылки в поэме "Страна Муравия":

Бреду оттуда...
Что ж там? Как?
Да так. Хороший край.
В лесу, в снегу, стоит барак,
Ложись и помирай.

Вот ведь опять, как в "Братях", рвануло огнем сквозь дымовую завесу. И опять, морщась от боли, Твардовский накрыл его ладонями. По сюжету поэмы убежавший из ссылки Иван Кузьмич оказывается грязным проходимцем, ворюгой.

"Не он выкрикивал те слова, — пишет Солженицын. — А наша низменная природа 80-х годов, угнетенно-приученный советский язык, верноподданный сын, который не отвечает за отца".

Думаю, что справедливость предположений о том, что Твардовский в тридцатые годы жил со сдавленными болью и ужасом темами, которые не посмели обрести выход, подтверждает то, как с приходом войны изменилось его творчество. У людей не было права ни на открытую печаль, ни на месть, ни на оплакивание. Над отданной бесовскому произволу землей шелкали мажорные мотивчики "Волги-Волги" и спортивных гимнов. Война же, как ни парадоксально, оказалась плодотворной полосой для искусства. Она разрешила ужасаться, скорбеть и плакать. Сдавленные внутри темы вырвались на волю. Только теперь с ощущением абсолютной дозволенности Твардовский скажет, наконец, о том, что значит насильственное отторжение от родного дома:

Все сборы в путь любой жены
И без войны несладки.
И без войны тревог полны
Все сборы в жизни краткой.

Только теперь окажется, сколь остро он понимал, каково прощаться с тем, во что была вложена целая жизнь:

Прости-прощай, родимый дом,
И двор, и дровосека,
И все, что памятно кругом
Заботой, замыслом, трудом,
Всею жизнью человека.

Интересно, что в произведениях военной поры особое место занимает тема мщения:

Я дрожу от боли острой,
Злобы горькой и святой,
Мать, отец, родные сестры
У меня за той чертой.
(Курсив мой — И.М.)

Вот когда задрожал от боли! Вернее, вот, когда *позволил* ей отлиться в форму, *позволил* себе сказать об этом...

И, может быть, оттого, что так долго носил он в себе это бессильное желание мести, эту беспомощную обиду, так долго кровоточила втайне его душа, но именно тема отмщения, ставшая дозволенной благодаря войне, прозвучала у Твардовского особенно беспощадно, выплеснула что-то плебейское, безрассудное, недостойное художника и думающего человека

И мы тревожим чуждый кров
Священной мести ради.
И суд наш праведный суров.
И места нет пощаде.
И не у нас ее проси,
Мы будем мертвых глуше.
(курсив мой — И.М.)

Никогда исполненная жалости к ближнему русская литература такими категориями не мыслила. Не могу не вспомнить безутешное свидетельство раскаяния и ужаса

перед тем, что творили русские в покоренной Германии, оставленное Солженицыным в "Прусских ночах":

Солдатня столпилась кругом
У покинутой коляски,
Голубой
Да кружевной:
"Вот младенец.
Он ведь немец!
Подрастет, наденет каску.
Рассчитать его теперь?
Есть приказ Верховной Ставки!
Кровь за кровь!"

Грустно, что голос поэта мог присоединиться к этим пьяным, озверевшим голосам, смешаться с ними и пережить их — в стихе.

Даже такое блистательное произведение как "Теркин" проигрывает именно там, где обнаруживается духовная несамостоятельность, какое-то своего рода тяготение к массовому сознанию, подгон под уровень и точку зрения толпы. Тогда — посреди умной человеческой поэмы — появляются разухабистые подделки вроде тех, что писались им в тридцатые годы:

Получай экипировку,
Ноги ковриком укрой.
А еще тебе коровку
Вместе с приданой овцой.
.....
Ни к чему. Куда, родные?"
А ребята, нужды нет,
Волокут часы стенные
И ведут велосипед.

Тот умильный прищур, сквозь который Твардовский смотрит на разорение и разграбление Германии, противоречит глубокой гуманистической традиции старой русской литературы и до обидного напоминает разгульное зубо-скальство Маяковского:

Чем хуже моя Нина
Барыни сами?
Тащ в хату пианино,
Граммофон с часами!

Да, Твардовского губило, на мой взгляд, то, что он так буквально и безрассудно воспринял победившую идеологию, позволил ей пустить столь глубокие корни в самое нутро души, вырвать из нее собственного Бога, отдать его толпе:

Он опоганит, осквернит, отравит
На долгий срок заветные места.
И даже труп свой мерзкий здесь оставит
В земле, что для тебя священна и чиста.

Позволительно ли так писать о смерти, о человеческой смерти? А ведь он был большим художником и, судя по всему, крупной личностью, ему ведь принадлежит и такое, например, задохнувшееся, щемящее:

И какой ты вдруг покорный
На груди лежишь земной,
Заслонясь от смерти черной
Только собственной спиной.

Мы скорбим по поводу Мандельштама, Булгакова, Цветаевой, Зощенко, Хармса, Гумилева, мы не устаем перечислять и множить подробности страшных жизней и страшных смертей, но почему-то на втором месте оказываются в нашем сознании люди, которых "красное колесо" не раздавило физически, не вмяло в гущу лагерного барака, не обрекло на нищету и безвестность, но, напротив, выкатило в самый центр преступной и уродливой жизни, где парализовало волю, сковало страхом, который до последнего дня уживался с медленно гниющими остатками юношеских иллюзий (так было с Твардовским, и лучший пример тому — поэма "По праву памяти") и, в конце концов, представило на суд истории еще один тип жертвы тоталитарного режима — менее, может быть, внешне очевидный, но не менее по сути своей страшный.

Солженицын — спасибо ему! — неоднократно подчеркивал драматическое начало в жизни Твардовского и благодаря ему мы располагаем как бы запечатлевающими эту драму подробностями:

"...он снял фуражку, и снег падал на его маловолосую, светлую крупную мужицкую голову. Но лицо было бледным, болезненным. Защемило. Я первый поцеловал его на прощание. Этот обряд был надолго у нас перебит ссорами и взрывами. Машина пошла, а он так и стоял под снегом — мужик с палкой".

Легко теперь судить да осуждать, а каково было прожить такую жизнь? Не могу не добавить к этому одну вполне банальную мысль: в случае художника жизнь ведь не заканчивается просто так, не обрывается физической смертью. Сделанное им продолжает свой земной путь, и отношение последующих поколений базируется не на воспоминаниях уцелевших современников и не на виде помещенных под стекло реликвий, а исключительно на качестве сделанного, на его соответствии или несоответствии внутренним духовным требованиям этих поколений. Твардовский безусловно не был циником, но маниловское отношение к действительности, которое определило картину братского согласия в стихотворении "На свадьбе" и с помощью которого он много лет бессознательно спасался от мучительных знаний и интуитивных догадок, продиктовало, очевидно, и те "рассиропившиеся" строки, которые отталкивающе звучат уже для нас, и будут звучать еще более отталкивающе для наших детей и внуков. В главе "Друг детства" читаем:

И не кичась судьбой иною,
Я постигал его удел,
Я с другом был за той стеною
И ведал все и хлеб тот ел.

Так и хочется ужаснуться: неужели ведал? Ведал и писал свои побасенки? Парадоксальное признание в этой осведомленности получает почти кощунственное завершение, когда Твардовский говорит, что его бывший в заключении друг

... всюду шел со мной по свету,
Всему причастен на земле.
По одному со мной билету
Как равный гость, бывал в Кремле.

Для меня пронзительно ясно, что жертвенный путь Мандельштама закончен, а "жертвенный" путь Твардовского (употребляю это слово несколько иначе, чем принято!) продолжается и по сей день и долго будет еще продолжаться, потому что в результате всего пострадало слово, которое никогда не разделяет смерти человеческого тела и отвечает само за себя. Удивительно, как болезненно-точно почувствовал это сам Твардовский, когда произнес:

Где мое слово, что было бы подлинным,
Тем самым, которое временем спросится?

Хотелось бы мне, чтобы статья моя была правильно понята: она не против Твардовского. Она скорее в его защиту. Не надо делать из взрослого, погруженного во вполне объяснимый страх человека маленького звероватого Павлика Морозова, как это делает комментатор Юрий Буртин, не надо также и заливать его патокой старческих воспоминаний, потому что, повторяю, осталось его слово, творчество, отвечающее само за себя, надо просто постараться учесть разное: и страх, и слабость, и любовь к семье, и талант, и простодушие...

Я не случайно не перечисляю общественных заслуг Твардовского, не говорю даже о его "Новом мире", но это только потому, что целью моей работы не было осудить поэта или вынести ему смягчающий приговор. Набрасывая контуры этой жизни, я думала об общих закономерностях человеческой психики, пропускаемой сквозь мясорубку советской истории, об этой — лучше сказать — массовой советской психике, которая все же всегда складывается индивидуальными волями и индивидуальными сознаниями.

Если толпа кротка, слепа и миролюбива, то это значит, что слепота, кротость и миролюбие принесены в нее каждым отдельным человеком. Если толпа задириста, принципиальна и агрессивна, то это значит, что в боль-

шей или меньшей степени принципиален и агрессивен каждый ее участник.

Твардовский был мажорно-кроток в своем творчестве 30-х годов, потому что тяжелые жизненные обстоятельства и душевная несамодостаточность диктовали ему именно *эту* поэтическую тональность. Он загорелся гневом и местью (в которой, конечно, был серьезный элемент сублимации!) в военные годы, потому что их обстоятельства позволили ему крепить в душе эти чувства. Он с негодованием отвернулся от Сталина и написал поэму "По праву памяти", потому что хрущевское время *официально* открыло ему глаза на сталинский период.

"Как же и чем я мог на эту поэму отозваться? Для 1960 года, Александр Трифонович, мало, слабо, робко!" — огорчался Солженицын.

При этом мне хочется думать, что он, прекрасный поэт и добрый, душевно одаренный человек, может быть, просто не успел: ведь он же пробовал, хотел — и печатал Солженицына, и боролся за "Новый мир", и осудил вторжение в Чехословакию, он ведь, по словам того же Солженицына, "...трогал рядом с мощеной тропинкой, но страшно было ему сходить" Все это так. Но ведь и не успел-то он — не случайно. Очевидно, все мы и всегда в большей или меньшей степени расплачиваемся за свою несамодостаточность. Очевидно, одной хорошеести или даже большого свежего таланта не хватает для того, чтобы принять посильное участие в изменении жестко и своевольно складывающейся вокруг тебя жизни.

Мне кажется, что сейчас именно то тяжелое и смутное для России время, когда опаснее всего опять оказаться "покладистым", но теперь уже с другой — перестроечной — точки зрения. И особенно существенна эта опасность для той художественной интеллигенции, которая живет на Западе, в эмиграции. Потому что ее-то, подверженную вполне объяснимым эмоциям романтического и сентиментального характера, легче одурачить, чем циничных, раздраженных советских людей, простаивающих часы за молоком и сосисками. Не к мании подозрительности призываю я всех, широко распахнувших объятия воскресающей в двусмысленной демократии Родине, а к печальной трезвости, сопротивлению собствен-

ной подмигивающей славе, короче, к тому духовному "самостоянию", которое, по мнению Пушкина, есть единственно верный залог человеческого "величия".

Грустный пример Твардовского принадлежит, конечно, прошлому, имеет свой характерный "сюжет". Но ведь история повторяется. Тело умирает, а слово и поступок остаются и ответственность за них тем отчетливее, чем сильнее наша горечь и наша слабость в этом мире, в котором и впрямь, пользуясь точным перечислением Твардовского —

... как прохватывает ветер,
как луна теплом бедна,
Ах, как трудно все на свете,
Служба, жизнь, зима, война...

ОТ РЕДАКЦИИ: Точка зрения автора статьи на творчество и облик Александра Твардовского может показаться многим читателям спорной. Но мы предлагаем заинтересованным авторам продолжить разговор о поэте в следующих номерах нашего журнала.

Религия в нашей жизни

Епископ Владимир

*Всем верным чадам
Православной Русской Церкви
в Отечестве и Рассеянии.*

Терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божию, получить обещанное;

Ибо еще немного, и Грядущий придет и не умедлит.

Праведный верую жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя.

Мы же не из колеблющихся на погиль, но стоим в вере ко спасению души.

(К евр.10, 3639)

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом извещаю Вас о событиях, происходящих в России, как это видно с позиции Катакомбной Церкви истинных православных христиан. Катакомбная Церковь в соборной своей полноте никогда еще не представляла себя взору современного мира и живет, и растет благодатию Божией в смирении, претерпевая все политические и общественные изменения в России уже десятки лет.

Сначала немного истории. Невозможно точно определить, когда она возникла, в какой день и час, ибо те —

о ком были составлены документы о хиротониях, — стали довольно быстро узниками сталинских лагерей смерти и так и не выбрались оттуда живыми. Массонские работники внутри Церкви или, как называл их святейший Патриарх-мученик Тихон, "внутренние враги Церкви" были анафематствованы им под общим именем "обновленцев", но успели сохранить свои основные силы для захвата власти внутри Православной Церкви в России и сделали это ловко и быстро.

Массонское Временное Правительство через своего послушника Сергея Страгородского, Арх.Ямбургского, назначило и утвердило новый Синод, членом которого стал и сам Митр. Сергей, вопреки своим уверениям не входить в него. (Здесь масоны имеются в виду только как антихристианское вненациональное течение, создающее ложную церковь — церковь Антихриста.) Очевидно, что человеческий расчет масонов как врагов Божиих и Церкви Христовой основывался не на возможности избрания их кандидата, так как ни м.Сергей, ни еп.Алексей (Симанский) не имели никакого доверия со стороны подавляющего большинства архиереев того времени и тем более церковного народа. Поэтому был выбран путь избрания "слабого" кандидата. Комиссией по избранию руководил м.Сергей и его сподручники. Мы не имеем никаких доказательств подлога или обмана при выборах, но факт остается фактом: был избран малоизвестный тогда архиерей Митр. Тихон, которого многие потом обвиняли в слабохарактерности (достаточно вспомнить историю о мстоблюстительстве).

Милость Божия дала России Патриарха, который своим богатырским смирением убедил весь православный мир, что в Православной Русской Церкви живет Дух Святой.

Одним из главных решений его простого православного сердца было анафематствование обновленчества внутри Церкви и врагов Церкви в образе новой власти, нечестивых Советов.

Другим, не менее важным и, можно сказать, историческим его деянием была разработка и принятие решения об автокефалии каждого епископа во время гонений.

Третьим действием, на которое мог решиться только подвижный Духом Божиим иерарх, было тайное им постав-

ление иерархов, чему не было примеров в истории Русской Церкви со времени Равноапостольной Ольги, посеявшей первые зерна Православия и канонического устройства Церкви на Руси.

Катакомбная Церковь начала, таким образом, нашу церковную историю и, по всей видимости, ей суждено нести этот крест в наши времена разделений и предательств, подобно апокалиптически сверкающей горсти семян, оставленной на Земле Женою, унесшей свое драгоценное Чадо на Небо... и преследуемой Змием.

Действительно, Церковь Русских Новомучеников и Исповедников ушла для нас в Небесное Царствие, оставив здесь в России только малые группы людей с сердцами, горящими любовью Христовой и Верой.

В Московской Патриархии, именно в Загорске, в Академии одна из диссертаций на тему истории иерархии дает довольно полное представление о всех перемещениях и изменениях в составе иерархии Церкви после 1917 года и до 70-х годов. Ею пользуются как справочником и зачастую цитируют ее. Другого достоверного источника по этому вопросу в советской России нет. Автор часто ссылается на неполноту материала из-за "особых обстоятельств", знакомых нам из истории сталинизма.

Есть там и списки, и имена тайных архиереев. Здесь надо остановиться и вникнуть в обстоятельства работы над этим трудом. Ничего подобного нет более в библиотеках. Задача автора была в том, чтобы показать абсолютный "конец" всех иерархий и всех ответвлений и преемств, дабы утвердить абсолютную единственность Московской Патриархии в апостольском преемстве и тем самым укрепить Московскую Патриархию и ее авторитет у всех слоев верующего народа и прежде всего у священства.

Много напечатано трудов, обвиняющих в масонстве делателей так называемой Октябрьской революции. Это уже не подлежит сомнению сегодня, ибо эти враги Божии поэтому так быстро и сломили сопротивление самой Церкви, что ее разрушали одновременно снаружи — большевики со своим ГПУ, а внутри — масоны-обновленцы, действовавшие заодно, чтобы разрушить все устои церковности в России.

Власти уничтожали десятками миллионов православный народ в лагерях и на горьких работах, а м.Сергий с товарищами тщательно вычищал иерархию и клир Церкви.

Потом уже, после умерщвления всех свидетелей, составили в Загорской Академии списки усопших и тем довольны. Можно ли доверять этим, с позволения сказать, "документам", если их составляли под надзором гонителей Церкви, тем более, что с открытия в 1945 г. Академии все темы диссертаций сначала утверждались и сейчас утверждаются в Государственном Комитете по Делах Религий? Эта тема — тема возможности церковной канонической жизни вне Московской Патриархии — была, безусловно, особо важной для идеологов партии коммунистов и КГБ. Поэтому нельзя себе представить, что мог появиться таким образом официальный документ, утверждавший существование хоть какой-либо иерархии на территории России, уцелевшей от гонений, иначе это бы стало самообличением в "плохой работе" для тогдашних сотрудников КГБ, Государственного Комитета по Делах Религий, КПСС и Патриарха Сергия!

Именно потому, что в списках тайно поставленных архиереев не оказалось имени Серафима Поздеева, от рождения происходившего из княжеского сословия и лично избранного Святейшим Тихоном; да, именно поэтому он и остался жив, проведя в советских лагерях смерти около 33 лет! Вдумайтесь в этот срок жизни — тридцать три года! А умер он в 97 лет, встретив и поставив за три дня до смерти преемника, не чудо ли это?

Да, мы, христиане Истинной Православной Русской Катакомбной Церкви, свидетельствуем — это чудо! Кто может нас обличить в неверии и лжи? Те, кто не нашел документов о поставлении в епископы князя Михаила Александровича Поздеева от рук Святого Патриарха Тихона, видимо, желают посеять подозрения в народе, там, где мировоззрение масонства — мировоззрение делания добрых дел без веры в Бога — стало общенациональным. И это им вполне удается.

Это может удасться в среде неверующих и маловерных, но не в тех чадах Истинной Православной Церкви, которые видят, что гонение на церковь и сегодня не может быть скрыто никакими заверениями КГБ и газета-

ми "свободной и демократической печати", как невозможно представить сотрудников КГБ, выдающих документы о мучениях и исповедании веры тех, кто умер за Христа.

Обвинение нескольких десятков епископов в нарушении апостольской преемственности, священников в неканоническом служении и поставлении, десятков тысяч верующих в недействительности, следовательно, ими принимаемых таинств — есть кощунственное дело разрушения Катакомбной Церкви, которая стала преградой для срочного исполнения захватнических акций митр. Виталия и его иерархии на территории, где уже исторически сложились и живут, проповедуя Слово Божие, автокефальные епархии Истинной Православной Церкви.

Ввиду того, что эти епархии не имеют географического деления и границ, естественно подумать, что они не мешают созданию в тех же городах и весях епархий Зарубежной Церкви, тем более, что в общинах бывает всего по несколько десятков человек...

Зачем же начата тогда вражда со стороны такой "большой" и "крепкой" Зарубежной Церкви против маленькой и хрупкой Катакомбной Церкви в России?

Политика требует жертв. Благоприятные политические условия сложились у Зарубежной Церкви для "возвращения" в Россию.

Политика "перестройки" в России зашла в тупик. Нужны новые силы и люди из-за рубежа, способные внести азарт "научного" бизнеса и правила "новой" социальной культуры; но кто поедет сюда надолго, кроме эмиссаров "Большого Бизнеса", делающих только авансы?

Расчет только на эмигрантов, которые могут быстро здесь освоиться и остаться надолго, отрабатывая по закону ностальгии оброк верности "Свободной России". Но они не поедут, если не будет прежде всего своей Церкви, где можно доверять священнику, а от доверия Московской Патриархии их давно отучили.

Вдруг открылся "зеленый" на въезд Церкви м.Виталия в Московские пределы. И заработала машина политики. Масоны в Москве, стоящие у власти, и те, кто пролез в Зарубежную Церковь, очень хорошо договорились о цене такого путешествия. В историю Церкви вписана позорная страница предательства! Опубликованы имена,

иерархическая преемственность и места жительства архиереев Катакомбной Церкви, которые были доверены предшественнику м.Виталия — усопшему митр. Филарету — ради взаимных молитв и поминовения, и сохранялись ранее в тайне. Конечно, чужие тайны трудно сохранять, когда они имеют такую большую цену! Как ответят на Страшном Суде те члены Синода Зарубежной Церкви, которые подписали это злонамеренное "деяние", совершив этим акт прямой вражды к тем, кто молился за них, ожидая от Церкви, окормлявшей эмигрантов из России, чего угодно, только не такого предательства?

Мы, безусловно, не считаем это решение Синода выражением общецерковного взгляда на этот вопрос и не оставим своих молитв за чад Русской Церкви во "рассеянии сущих". Тем более, что тепло от молитвенного дыхания народа, изгнанного со своей Родины, обращено и к нам, сюда, к матушке России.

Всеми уважаемый глава Русской Зарубежной Церкви митр.Филарет, давно усопший, в свое время вошел в неофициальное молитвенное общение с катакомбными архиереями и иеромонахами, посчитав это возможным и необходимым. Он был и против поставления в России епископа Лазаря, сегодня распространяющего с усердием списки катакомбных архиереев под видом справки Синода за подписью зам.секретаря оного.

Ведь этот человек, зная неправду Московской Патриархии, нашел сначала епископа Серафима Поздеева и просил у него хиротонии в диакона и священника, но тот отказал, и тогда "ничтоже сумняшеся" он стал ставленником Московской Патриархии, "смирившись" со всеми ее неправдами. Ради чего? Ради сана? Какая большая жертва! Совесть очень дорого ныне стоит. Что-то похожее с Сергием Страгородским, его историей ложного "покаяния" в обновленчестве, не правда ли? Та же мудрость!

Уже заштатным попом Московской Патриархии будущий епископ Лазарь просил хиротонии епископской и, не будучи даже знаком членам Синода, был поставлен командированным для этого епископом на территории Советской России (митр.Филарет был против один). Интересный факт. Став "главой" "Свободной Русской Православной Церкви" (звучит как "автокефальная" — не так ли?),

еп.Лазарь распространяет тем не менее "условия перехода из Московской Патриархии в свою епархию", где между прочим говорится, что не могут приниматься священники из-за штата, т.е. не имеющие приходов. А почему, собственно? Ведь канонически они — свободны, и их, опытных, мудрых и познавших все скорби служения в Московской Патриархии, не желает видеть рядом с собой еп.Лазарь. Кто же ему нужен?

А ответ здесь же. На другой строке. Только те священники, оказывается, достойны молитвенного общества еп.Лазаря, кто, во-первых, имеет смелость, не общая своему канонически законному епископу Московской Патриархии, убежать, написать прошение и получить положительный ответ еп.Лазаря, затем во время богослужения (часов) обратиться с покаянием к своему приходу и призвать его к переходу в подчинение Зарубежной Церкви с целованием Креста и Евангелия. Требуется даже заключение нового "трудового соглашения" с коллективом (двадцаткой) прихода, и только после всей этой деятельности предлагается сообщить обо всем своему Архиерею... (См. текст "Положение о приходах Свободной Российской Церкви", принятое Архиерейским Собором РПЦ за границей 2/15 мая 1990 г.) Воистину цель их жизни — борьба, как в известной анкете В.И.Ленина.

Почти одновременно издается текст от 3/16 мая, где признается правильность апостольского преемства и каноническая действительность всех таинств Московской Патриархии. Разве правильность апостольского преемства и канонические правила Восточного Православия диктуют такие "побеги" священников от своего архиерея к другому? Этот призыв к нарушению канонических правил — есть разрушение канонической жизни Церкви и сознательное воспитание неуважения к Преданию церковному и Апостольским правилам. Кто, кроме внутренних врагов Церкви Православной, может учить этому?

Примечательна глубина нехристианского мировоззрения, открывающаяся в издании Зарубежной Русской Православной Церкви "Нормальный приходской устав" (Мюнхен, 1990 г.), и которому не возражает Московская Патриархия.

Здесь среди прочего мы находим, что "если это требуется действующим законодательством", об открытии прихода ставится в известность гражданская власть, а в "Положении о приходах" говорится, что они исключают неуважительное отношение к представителям других религий. Значит, предлагается "уважать" представителей других религий.

Это что-то очень похожее на "экумену". Так начинали и в Московской Патриархии, а закончили во Всемирном Совете Церквей!

Откуда этот пункт попал в текст "Положения", разработанного вне пределов СССР?

Церковная жизнь православных христиан не знает проблемы "уважения" представителей других религий, а знает проповедь Евангелия, как обязательство первейшее для священнослужения, а научение Ему — как последующее и обязательное условие действенности даров священства.

Этот пункт, безусловно, есть уступка социальному мышлению веротерпимых демократов сегодняшней России; интересно, кто был "экспертом", поместившим в текст столь "модное" и "современное" положение? Не те ли это советчики, что и у Московской Патриархии? Похоже, что те же.

Вот они и договорились! За возможность таких великих свершений, о которых мечтали с 20-х годов наши предки, "стоило" отдать в жертву маленькие епархии Катакомбной Церкви — ведь там молятся "фанатики", не знающие "уважения к представителям других религий".

Нужно сказать, что сам переход от тайного служения к открытому является для нас знаком особым. Ведь каждому священнослужителю здесь, в стране Советов требуется "регистрация". Это есть действие, подобное бросанию горсти ладана в костер язычников. Всего только одна подпись. Фамилия и все. В знак лояльности. Всему, что придумает это безбожное государство уже потом, нельзя противиться — иначе следует уголовное наказание или другие какие-то ответные действия абсолютно властвующего государства. Что здесь особенного сегодня? А особенно то, что это Россия! И здесь, отказавшись от "регистрации", сотни епископов и десятки тысяч священников,

монахов и монахинь умирали, считая это предательством дела Христова. Их прославила Зарубежная Русская Православная Церковь во времена Ее Первоиерарха Митр.Филарета, и ИХ теперь предстоит предать такой же подписью — всем священнослужителям, чадам новой "Свободной Русской Православной Церкви", начиная с еп.Лазаря. А может м.Виталий первым поставит свою подпись лояльности советским законам? Наверное такое событие достойно телевизионной трансляции со спутников на весь мир!

Напомним, что правило регистрации включает:

1. Обязательство Архиерея оповещать гражданскую власть обо всех изменениях в составе клира, перемещениях священников и архиереев, обо всех посвящениях и хиротониях в письменной форме на бланках епархии с подписью Архиерея и печатью.

2. Обязательство священника соблюдать лояльность государству и не нарушать гражданское законодательство о культах, которое начинается с принципа веротерпимости и равного права всех религий на проповедь и т.д.

Такое согласие противно истинному Христианству Православному и для нас неприемлемо.

3. Обязательство сберегать все государственные ценности, даваемые в аренду, — Храм, пожертвованные иконы, колокола и даже ковры, имеющие художественную и историческую ценность, находящиеся в Храме. Сюда относятся все Чудотворные иконы, Напрестольные Евангелия, Кресты, Дарохранительницы, Священные Сосуды, служебные книги — минеи и т.д. и т.п. — все, даже старинные облачения священников и архиереев. Перечисленные храмовые святыни попадают в разряд государственной собственности.

Все это вместе называется сегодня в России по-церковному регистрацией... Тысячи и тысячи епископов, священников, монахов и мирян погибли, защищая церковь от грабителей, и стали мучениками. Можем ли мы забыть их подвиг?

Но к этому, по существу, и призывает п.6 "Нормального Приходского Устава" в применении к современной России.

Через согласие с Советской властью может и соединиться Московская Патриархия с Зарубежной Церковью, но это согласие не найдет поддержки среди верных чад Истинной Православной Церкви в России никогда. Воистину пришло то время, когда "избранные пали". Лучше умереть, чем так согрешить. Да, в этом мы фанатики, не меньше тех, кто отказывается брать советские паспорта, видя в этом печать Антихристову! Здесь мы в единении простоты веры тех, кто отказывается от пенсий, и не ест яблок оттого, что у них на поперечном срезе — пятиконечная Звезда. Мы в единении со всеми, кто ищет прежде Правды Божией и готов пожертвовать ради нее всем тем, что у него есть, иначе же — своей жизнию.

1/14 октября 1990г...

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы не считаем себя вправе принимать в этом, чисто каноническом споре чью-либо сторону, но тем не менее считаем, что поднятая в Открытом письме епископа Владимира проблема требует самого широкого и доброжелательного обсуждения. Редакция предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в предлагаемом нами разговоре.

Памяти ушедших

К 80-летию со дня рождения Д.Панина

ХАРТИЯ БОРЬБЫ

(Димитрий Панин о противлении злу)

... не мир пришел Я принести, но меч:/Мф.10.34/

Когда знаменитого греческого мудреца и чудотворца, Аполлония Тианского, спросили: "Как, Аполлоний, должен беседовать мудрец?", он ответил: "Как законодатель. Ведь долг законодателя — давать людям наставления, в правильности которых он сам убедился". Именно так беседует с читателем Панин — без ложной скромности, которая для философа есть синоним ханжества. Именно так, подобно законодателю (ибо он устанавливает правила нравственного поведения), формулирует Панин и свои принципы людей доброй воли: *Magister dixit* — "так сказал учитель"... Мы рассмотрим некоторые из них, определяющие право на борьбу и выбор средств для достижения поставленной цели — в свете религиозного сознания.

Преимущество Панина перед другими мыслителями в том, что он строит свое учение, формулирует свои принципы, исходя из универсальных законов природы и, в частности, из открытого им в 1950 году Закона движения вещей. Любое отвлеченное его положение становится осязаемым, доказуемым и жизненным на гранитном основании этих фундаментальных законов.

Руководствуясь этими незыблемыми божественными законами и провозглашает Панин свой пятый принцип

людей доброй воли — право на борьбу за лучшее будущее. "Жизнь людей, — говорит он, — представляет собой развитие множества единств, образованных из борющихся противоположностей... Запрет борьбы приводит к прекращению развития. Рабство начинается там, где людей лишают права на борьбу... Согласно универсальным законам природы, борьба заполняет жизнь людей. Следовательно каждый человек имеет на нее право"... ("Мир-маятник", 1977, стр. 19). А двумя строчками выше Панин напоминает о том, что Христос — великий образец борьбы со злом с помощью сил добра, и от нас требуется то же. Право на борьбу — это и есть пятый панинский принцип людей доброй воли, который приобрел под его пером силу и выразительность лозунга. Принцип, вытекающий из евангельского: "Царство Небесное силою берется..." (Мф.11.12)...

Следующий, *шестой* принцип логически следует из предыдущего и служит как бы его развитием. Этот принцип — *цель определяет средства*. Его правильное понимание и практическое применение исключительно, принципиально важно для успешной, эффективной борьбы с насилием...

"Христос показал нам, — пишет Панин, — что великие цели достигаются применением наиболее совершенных средств борьбы... Достижение любой цели, согласно законам развития, требует образования активного единства средств и цели. Чем сложнее цель, тем совершеннее должны быть средства для ее достижения... Для достижения благородных целей следует применять только безупречные средства" ("Мир-маятник", стр.20). Казалось бы, все ясно?... То же самое примерно утверждал и Паскаль: "Насилие никогда не шло на пользу истине".

А через несколько столетий Ганди призывал: "... не забывать о значении применяемых средств, даже если преследуемая цель справедлива, ибо средства управляют целью и меняют ее". Будучи сторонником вечных, установленных свыше нравственных принципов, стремясь, подобно Панину, морализовать политику, Ганди тоже оперировал такими "устаревшими" понятиями, как *храбрость, любовь, справедливость, правдивость*, вытекающие из его

учения об ахимсе — непричинении вреда людям. Ганди неустанно напоминал человеку о том, что он должен слушать свой тихий внутренний голос — голос совести, голос Бога в своей душе. Но Ганди (оставляя в стороне конфессиональные различия) не выводил своих религиозно-этических постулатов из универсальных законов природы, и это было его слабостью. Вот почему, где Ганди поставил бы точку, Панин лишь делает паузу и продолжает: *"Цель определяет средства. При применении неадекватных средств нельзя достигнуть поставленной цели или она превращается в иную. Этот принцип имеет силу закона природы и широкое практическое применение. Согласно закону движения вещей, любое явление происходит вследствие разности густот. Любая цель представляет определенную густоту частиц, которая образуется при преодолении сопротивления. Необходимые для достижения цели средства (густоты), с помощью которых можно образовать разности густот, должны быть правильно выбраны. Чтобы достигнуть более сложной цели, следует применить более совершенные средства"*.

Отсюда закономерный вывод, подкрепленный предыдущими научными аргументами: "Если всеобщего счастья человечества предполагают достичь такими средствами, как подавление личности, террор и другими им подобными, то заранее можно сказать, что эти средства приведут к тирании и рабству. Абсолютно ошибочно широко распространенное мнение, что "цель оправдывает средства". Любой человек, знакомый на собственной шкуре с результатами установления большевистской диктатуры в России, обеими руками подпишет под этими словами Димитрия Панина.

Паскаль, мысль которого мы привели выше, утверждал метафизическую истину, которую предлагалось принимать, так сказать, а priori, сообразуясь с данными собственного разума, интуиции, опыта, знаний. Панин же, провозглашая аналогичную истину, основывается к тому же на данных современной науки и собственных выводах и открытиях. Вот почему его нижеследующие "метафизические" утверждения звучат как непреложный закон, как

... Высший принцип (цель определения) — говорит он, — доказывает, что: — подвиги, доблесть, благородное отношение к людям (в честности, благородное отношение к женщине) — высшее проявление разумного начала (своего рода разумный эгоизм — поступая так, порядочный человек может уважать себя — В.Ч.), а не только выражение высокого строя души; — рост и широкое распространение благородства, честности, порядочности тесно связаны с процветанием, обилием счастья и поражением зла"... (Там же, стр.21).

В этой связи напомним, что согласно учению Панина, *благородство души есть первый принцип людей доброй воли*. Аргумент, к которому прибегает при этом Панин, представляется нам уникальным и неотразимым. Панин говорит, что при изучении триединства Бога (Панин. Теория густот, 1982, стр. 108) пришел к следующему выводу: *"... развитие единств из положительных величин разных уровней приводит к благу. Эти единства обязательно должны пребывать в силовом поле того же знака*. Применительно к объединениям людей доброй воли это означает, что: — взаимодействие и борьба противоположностей в таких единствах, как правило, проявляется в благородных поступках; — следует удалять из единств всех, кто неспособен к благородным формам борьбы, то есть тех, кто запятнал себя низкими поступками; — одинаковый положительный знак единств требует единомыслия в центральных вопросах". "В будущем, — оптимистически заключает Панин, — согласно этому принципу (т.е. принципу благородства души — В.Ч.), будут создавать общественные учреждения".

Многим (не говоря уже о тех, кто составляет единства людей злой воли — всевозможные лжепартии и лжецеркви) последнее покажется наивной утопией и они просто посмеются, а в лучшем случае скажут: "Мечтатель!" Что ж, мечта, тем паче на крыльях знания, помогает заглянуть в будущее. Панин — человек *деятельной*

мечты, и, если он кажется иногда утопистом, то лишь потому что он, "романтик", опередил свое сугубо прозаическое время. Панин серьезен, он очень серьезен, и отнюдь не витает в эмпиреях. Просто, как все подлинно большие люди, он подчас выглядит "ребенком", ибо чист сердцем и это одна из самых привлекательных и трогательных его черт, (а ведь недаром сказано, что чистые сердцем Бога узрят...) И устами вот таких "младенцев" глаголет истина.

Если бы мир имел мужество и разум прислушаться к таким, как Панин, всем нам легче было бы выкарабкаться из трясины лжи и порока. И если заблуждения повторяются столь часто, тем чаще надо повторять истины, как это ни банально звучит...

Центральный вопрос затронутой нами религиозно-этической темы борьбы у Панина — *вопрос о правомочности и вариантности применения силы против насилия*. Это едва ли не краеугольный камень проблемы противления злу. Различные мыслители решали ее по-разному. Как же подходит к ней Панин? Прежде всего, как он определяет само понятие насилия?

"Насилие, — формулирует он, — это произвольное применение силы по преступным мотивам для угнетения, вопреки законам, освященным Церковью и традициями. Применение разумной силы обычно связано с любовью, насилие — с ненавистью и злобой" (Там же, стр.22). Так из пятого (право на борьбу) и шестого (цель определяет средства) принципов людей доброй воли Панин выводит седьмой — *сила против насилия*: "Чтобы одержать победу над системой насилия, — рассуждает он, — следует применить средства, которые должны быть более совершенными, чем средства врага, и во всяком случае им не уступать" (стр.22). По словам Панина, этот принцип следует применять "при нападении любых насильников..., против любых заговорщиков и захватчиков, в оборонительных и освободительных войнах" (Там же, стр.22). И добавляет, что, применяя разумную силу, надо стремиться

к победе, используя "дозволенные, а в идеале только благородные средства борьбы".

Говоря о том, что верующий вправе употребить силу против насилия, даже (при крайней необходимости) вооруженную силу, Панин, на евангельских примерах, доказывает, что Христос вовсе не отрицал ее применения. Как Бог Он "знал законы мироздания в полном объеме и потому был великим реалистом". Он "подтвердил заповедь "не убий", но не сказал "не воюй". Те, говорит Панин, кто спокойны, когда льется кровь невинных жертв, гораздо дальше от Христа, чем те, кто помогают бедствующим, рискуя своей головой (Там же, стр.24). И далее он дает собственное толкование Христовой заповеди: "А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую..."(Мф. 5.39).

Как известно, исходя из ложного понимания этой заповеди, Лев Толстой выступил с проповедью непротivления злу насилием, которая сбила с толку немало людей и ослабила силу их сопротивления большевистской диктатуре в будущем. Даже духовно близкий Толстому Ганди иначе понимал эту проблему, провозгласив не только пассивное сопротивление насилию, но и — при необходимости — *активное неповиновение*. Ненасилие, по мысли Ганди, — не трусливая покорность. Чтобы осуществить его, требуется, как сказал бы Панин, предельное сгущение воли, всех душевных сил человека. ("*Быть бесстрашным*" — таков *восьмой* принцип людей доброй воли. ("*Ненасилие есть вершина храбрости*", — заявлял Ганди. В статье "Доктрина меча" он подчеркивал: "Я твердо убежден, что, если бы оставался лишь один выбор между трусостью и насилием, я рекомендовал бы насилие. Я скорее предпочел бы, чтобы Индия прибегла к оружию для защиты своей чести, нежели чтобы она из-за своей трусости оказалась или осталась беспомощной жертвой своего собственного бесчестия. Но я считаю, что ненасилие несравненно выше насилия..."

Это высказывание Ганди лишний раз свидетельствует о том, насколько великие религии близки в своих исход-

ных и центральных пунктах. Живи Ганди в России, подвергшейся оккупации не английскими "джентльменами", а большевистскими варварами, он был бы еще более радикальным в своих выводах.

Ошибка же Толстого состояла в том, что, борясь с порочной практикой официальной церкви, ставшей служанкой неправового государства и отступившей на практике от евангельских инстин, он, стремясь защитить эти истины, перегибал в полемическом задоре палку. Он толковал вышеупомянутую заповедь буквально. Между тем, как справедливо замечает Панин, "в заповеди речь идет об оскорблении, а не об убийстве, и христианин имеет право вступить в бой, когда на него нападают... Спаситель вовсе не требует, чтобы человек безропотно сносил удары, и разрешает ему вести благородную борьбу. Человек может подставить вторую щеку под удар, но когда его сердце проткнуто ножом, у него не появится другое" (Там же, стр.24).

И далее Панин рассматривает принципиально важный для религиозного сознания вопрос об убийстве как крайнем проявлении насилия. По формуле Панина, убийство — "это лишение жизни человека с помощью насилия". Убийство Панин считает одним из тягчайших преступлений, наказание за которое должно быть максимальным. "Недопустимо уничтожение заложников, военнопленных. Любые формы террора должны быть заклеены". "Смертная казнь равноценна убийству и поэтому должна быть отменена. В настоящее время она еще применима при особо тяжких преступлениях" — уточняет Панин в примечании. "Отнять жизнь у человека допустимо лишь при крайних обстоятельствах и только в открытом бою, то есть когда обе стороны подвергаются смертельной опасности. В этом случае происходит не убийство, а смерть в борьбе (во время стычки, поединка, войны); борьба ведется открыто, смертельной опасности подвергаются обе стороны, которые знают на что идут и имели возможность заранее подготовиться; взаимная борьба представляет для обеих сторон преодоление огромного сопротивления (образование доблестного духа)" (Там же, стр.25).

Трудно переоценить значение всех этих выводов для тех, кто размышляет о путях и способах борьбы с насилием, особенно в его тоталитарной форме. Думается, Панин дал единственно правильный, в духе библейских заповедей, ответ на этот "больной" вопрос (недаром солдаты Кромвеля шли в бой с Библией в руках!)... Для сравнения: выдающийся философ русского религиозного возрождения начала этого века С.Франк подходил к данной проблеме, казалось бы, с аналогичных позиций. В своей книге "Свет во тьме" он писал, что "... возможны — и в принципе даже неизбежны — положения, в *которых совершение греховного действия* — даже такого, как убийство ближнего, — перед судом неподкупной и по-*длинно* непредвзятой христианской совести должно быть признано грехом, неизмеримо меньшим, чем бездействие и пассивное отношение к мировому злу и страданию, определенное желанием соблюсти нравственную чистоту своей личности". И далее, развивая подспудно мысль Достоевского о солидарной моральной ответственности за зло, царящее в мире, Франк добавляет, что "мерилом правильности или совершенства поведения в отношении жизни в мире является не чистота или безгрешность действия, а только его необходимость для наиболее эффективного ограждения мира от зла"...

Внимательный читатель сразу же отметит некоторую ущербность мысли Франка (при сравнении с мыслью Панина), при верности его общей посылки. Так, в отличие от Панина, он не конкретизирует свою мысль, говоря об убийстве, и более того, как это видно из контекста, называет им, в сущности, то, что таковым не является. Кроме того, он считает, что "убивая", то есть противясь злу насилием в его крайней форме, человек теряет "нравственную чистоту своей личности", совершая греховное действие. (Скажем в скобках, что Достоевский более последователен. В "Братьях Карамазовых", например, есть известный диалог между братьями Иваном и Алешей (гл."Бунт"). На вопрос Ивана, что бы он, Алеша, сделал с неким генералом, который "в наказание" затравил гонимыми дворового мальчика ("Ну... что же его? Расстрелять?

Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять?»), этот человеколюбец, почти святой, отвечает без запинки: "Расстрелять!". Объективно, несмотря на проповедь смирения и страдания, в Достоевском торжествовал воинствующий дух...)

В этой связи хотелось бы подчеркнуть именно *воинствующее* истолкование Паниным заповедей Господних. Когда вы читаете Панина, вас овеивает дыханием героев. Панин постоянно как бы полемизирует с теми, кто воспринимает христианство прежде всего как религию рабства и смирения, дряблостью покорности и бессилия, мистического созерцания и квиетизма. (Именно так, к слову, воспринимал христианство, усвоив в православном аспекте, оригинальный русский мыслитель В.Розанов, говоря, что Христос "обессилил" мир, что это учение — "какая-то нищета имущества, тела и духа". Примерно то же говорил и Ницше).

Панин же, точно воскрешая времена раннего христианства, постоянно делает упор на героическом деянии ("Средоточием раннего христианства было *действие*. Мартин Бубер). Он неустанно указывает на то, какое огромное значение для людей доброй воли имеет все, что содействует появлению "высокого сгущения духа", ибо именно от доблестных людей зависит защита "гражданских свобод и достаточная стабильность общества". Остальным же он напоминает, что "путь полного упорядочения жизненных проблем — путь малого сопротивления, связанный с измельчанием людей и забвением воли Бога". Он подчеркивает, что Царство Божие складывается из людей, обретших его в своей душе, и их будет тем больше, чем больше будет духовное влияние Церкви. Причем процесс переустройства мира, по справедливому мнению Панина, должен совершаться одновременно с процессом переустройства человека, а не опережать его, как это случилось — на горе всем — в СССР...

Итак, мы проанализировали некоторые из принципов людей доброй воли, согласно учению Димитрия Панина.

По его собственным словам, эти принципы предназначены для тех, в частности, кто: "— не обольщается химерами и хочет строить жизнь на прочных основах мироздания, ... возмущен произволом, насилием, подлостью, обманом, коварством, низкими способами борьбы, сделками с совестью и злом, ... ищет смысл жизни и способен постичь или постиг необходимость выполнения людьми воли Бога"(там же, стр.11).

Но эти принципы, бесспорно, вызовут ярость у больших и малых служителей зла, у людей посредственных, не способных к позитивным, творческим решениям, у тех, кто попал в силки лжеучений, у тех, кого Достоевский устами Дмитрия Карамзина с презрением окрестил *бернарами* (по имени физиолога Клода Бернара, подходившего к человеку с упрощенно-материалистических позиций).

Те же, повторяю, кому по пути с людьми доброй воли, воспримут *Принципы* Дмитрия Панина как подлинную *хартию борьбы с мировым злом*.

Владимир Чернявский

Колонка редактора

УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ

Задолго до общесоюзного в Литве прошел референдум о независимости. Практически девяносто процентов принявших в нем участие проголосовали за полный государственный суверенитет своей республики. Кажется, и Центр склоняется к известным уступкам: обещан частичный отвод специальных подразделений, союзное руководство отрешивается от пролитой крови и назначает расследование происшедшего, общественное мнение страны недвусмысленно поддерживает литовскую самостоятельность.

На первый взгляд, события развиваются вопреки замыслам центральных властей, процесс обретения независимости Литвой, а следом за нею и всей Прибалтикой приходит к своему благополучному завершению, и, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается.

Но это только на первый взгляд. И кончилось ли вообще, вот в чем вопрос? К сожалению, тоталитарная Система гораздо более жизнеустойчива, чем она выглядит внешне. Ей свойствен поразительно глубоко укорененный инстинкт самосохранения. Я бы угодил ей тому самому сказочному змею, у которого на месте срубленной головы тут же вырастает новая. Или, по метафоре, предложенной однажды большим русским скульптором Эрнстом Неизвестным, у нее, как у амебы, жизненные центры везде и нигде, в силу чего она саморегулируется и самоуправляется. Поэтому поставьте во главе этой Системы Буша, Андреотти, робота или обезьяну — результат будет один и тот же.

Так что прямая оккупация — это, по моему глубокому убеждению, далеко не последнее и еще не самое эффективное средство контроля над подвластными ей народами. Ее военный механизм действует наподобие хорошо отлаженной пружины: сворачиваясь по мере надобности к центру, он в любую минуту и также по мере надобности вновь разворачивается на полную мощь. К тому же сегодня из Прибалтики выйдут (да и выйдут ли еще!) лишь введенные туда специальные подразделения, а прежний гарнизон остается на своем месте и может быть использован по первой команде сверху.

У этой системы вполне достаточно иных форм диктата кроме откровенного применения силы. Вполне возможно, что состоявшаяся

яся демонстрация такой силы послужила лишь дымовой завесой для употребления куда более действенных средств давления. И, на мой взгляд, средств прежде всего экономических, с использованием при этом тех самых так полюбившихся нашим демократическим лидерам прямых связей между республиками.

Очарованные столь соблазнительной теорией, эти лидеры забывают, что экономическая структура нашего государства теснейшим образом взаимосвязана и сконструирована по принципу взаимосоединяющихся сосудов, когда любая попытка отстроить на ее периферии самостоятельный организм кончается полной закупоркой кровеносных сосудов и отторжением именно той части ткани, которая решила функционировать автономно.

Проще говоря, если пуговицы производят в Таллинне, а пластмассу для них во Владивостоке, то прямые связи между ними возможны только при наличии доброй воли Центра, в руках у которого находится сырьевая база, транспорт и энергоносители. Во всяком случае основная, решающая — их доля. Простенькая задача на догадливость: кто же в конце концов в результате будет продолжать заказывать музыку?

Надежды наших республик на Запад тоже иллюзорны. При всех своих самых добрых намерениях Запад, имея куда больше интересов в Третьем мире или в Центральной Европе, просто не в состоянии взять на себя по отношению к ним сколько-нибудь долгосрочных обязательств. Более чем скромные результаты встреч прибалтийских представителей с западными лидерами только подтверждают эту очевидную истину.

Рискуя навлечь на себя недовольство многих адептов немедленной независимости вся от всех, я, тем не менее, вынужден вновь высказать свое твердое убеждение в том, что невозможно, если употребить здесь петицентричную терминологию, добиться свободы в условиях лагеря в отдельно взятом бараке, как невозможно освободиться одному отдельно взятому галернику на общей галере. Сначала как минимум надо добраться до ближайшего берега, а потом уже разбегаться в разные стороны.

Политическое освобождение должно, на мой взгляд, стать не началом, а результатом освобождения экономического. Едва ли перспективно ставить телегу впереди лошади, телега все равно никуда не поедет, а если и поедет, то под гору, увлекая за собою в пропасть не только лошадей, но прежде всего седока.

Может быть, спасительнее все-таки медленно, шаг за шагом, не надеясь на чудо и манну небесную со стороны, отстроить сначала самостоятельную экономическую структуру, сделать свою продукцию конкурентоспособной, а затем абсолютно безболезненно расстаться с искусственной метрополией и политически, чем темшить свое национальное самолюбие сомнительными преимуществами министерских регалий, внешних пред-

ставительств и собственных униформ, обрекая подданных на нищее и весьма проблематичное будущее, если не сказать больше.

Я вовсе не ожидаю, что вдруг ни с того ни с сего народы, забыв вековые распри и обиды, по чьему-либо прекраснодушному призыву раскроют взаимные объятия, простят врагам своим все обиды и, по словам поэта, в единую семью соединятся. Это было бы с моей стороны крайне наивно. Слишком много накопилось у нас этих самых обид, слишком накалены сегодня национальные и социальные страсти, чтобы люди смогли услышать друг друга, слишком велик накал ненависти и страха, разъедающего наше общество.

Я теплу себя надеждой только на победу в нас здравого смысла и элементарного чувства самосохранения. Страшно подумать, что ждет всех нас (тут я имею в виду не только посттоталитарный Восток, но и демократический Запад), если Бог действительно лишил людей разума, дабы наказать человечество за его разрушительную гордыню.

Народам, как и отдельным людям, свойственно искать виновников своих бед в ком-нибудь и в чем-нибудь, только не в самих себе. История в этом смысле так нас ничему и не научила. Но если прежде наше нежелание извлекать из нее уроки оканчивалось для нас лишь новой, хотя и все большей кровью, то на этот раз результатом этого может стать конец самой истории, ибо я убежден, гибель посттоталитарного Востока станет началом всеобщей гибели. Мы стоим перед последним выбором и отсчет пошел на часы.

ПОПРАВКА

В рецензии В.Амурского "Демократия! Демократия?" ("Континент" N 66) первая фраза должна начинаться так: "Несколько лет назад, размышляя о творчестве Достоевского и Платонова, И.Бродский писал..."

Наша почта

Уважаемый Владимир Емельянович!

Мир наблюдаем в разных ракурсах. В N 36 "Континента" я осмелился разглядывать ситуацию через призму прозаической жопы — отметил ее проникновение в прямую речь новомировского героя Катаева. Там же я писал о редакторе "Вашингтон Пост", храбро показавшем читателям задницу, изображенную русскими литераторами.

Нет, не во всем опережает Запад: "Посту", который называет себя газетой для семейного чтения, потребовалось семь лет на дистанцию от задницы до жопы. Его московский корр. Ремник демонстрирует (16.12.90, с. к2), как он освоил тонкости русского языка: на Рижском рынке в Москве "one hears the muttered curse *"chornaya zhopa"* (or black ass)" [курсив Ремника]. Тут не до тонкостей транскрибирования *"chernaya"*, но и двоечники знают лучше, чем *"zhopa"*. Мы помним "фуй" в "Иване Денисовиче", все же я отмечаю предположение, что жопа сконструирована по тому же принципу. Хотя бы потому, что нам впервые показали "ass" в "Посте". Да и московские фашисты чествуют не черные жопы, а черножопых.

Увы, увы, западные корры в Москве, получив за эти годы, все равно провираются, да и нет в их писаниях откровений. Самое лучшее, что о них иногда рассудишь, — смотри, чужеземец, а понимает. Увы, увы, Запад чудовищно прошибается в политике: в холодной войне не столько Запад выиграл, сколько Москва проиграла (хотя, надо надеяться, проигрыш Кремля обернется всеобщим выигрышем). А западные действительные ошибки (ошибки в действиях) — от элементарного невежества. Дело не в мелочах (в той же статейке Ремник зовет "Московский строитель" рабочей газетой), а в куда более серьезном. Но об этом я уже писал для массового читателя, в том числе и в "Континенте". А толку чуть. Нет, не реагирует пресса. Не в ЦК же жаловаться.

Игорь Бирман

Здравствуйтесь, уважаемые друзья!

С большим вниманием прочла ваше обращение из Рима и полностью с ним согласна. Наша страна переживает трудные време-

на и ей нужна поддержка всех лучших сил как внутри страны, так и за ее границами. Поэтому долг каждого из нас — не прятаться в тени, а всеми силами помогать родной стране. Люди озлоблены. Им нет дела до культуры, до высоких идей, когда им нечего есть. И эта озлобленность чувствуется во всем: в отношении друг к другу, к государству, одной национальности к другой. Нужна мудрая политика, чтобы стереть все острые углы. И обязательно подлинная демократия, чтобы народ не боялся, что его заплюют, затопчут, убьют. Каждый из нас должен знать историю своего народа, своего государства. А она начинается с истории своего рода. Как кирпичики в большом здании, древние истоки каждого из нас укрепляют мощную крепость наших общих истоков, нашей истории. Человека надо с рождения воспитывать в подлинно национальном духе. Истинно уважая свое, он никогда не будет с пренебрежением относиться к другим национальностям. Отстаивать свое и в то же время чутко прислушиваться к другим и внимать им — вот что главное здесь. Истинная свобода без любых ограничений благоприятствует духовному развитию личности. Нет страха перед запретами, пропадают различные комплексы неполноценности, а вместо этого в сознании человека буйным цветом расцветают моральные качества, милосердие, способность к самопожертвованию. В таких условиях интеллигенция должна сыграть роль связующего звена между различными слоями населения, объединить все интересы и запросы. Спасение страны от гражданской войны, от уничтожения — это наше кровное дело. Никто не преподнесет нам в качестве подарка прекрасную мечту — страну, свободную от нищеты и ничтожества. Это наше общее дело и в единении мы сильны. Здесь я присоединяюсь к вам и постараюсь все свои силы и знания употребить с пользой для общего блага. С уважением, Иванна Сорока, 25 лет, школьная воспитательница.

Неизв. 14.01.1991.

Уважаемый Владимир Емельянович,

большое спасибо за любезно предоставленную мне и моим студентам возможность ознакомиться с журналом "Континент". С Новым Годом Вас, хотя и по старому календарю.

Прочитав N 63, я нашла рецензию на книгу Виктории Швейцер "Быт и бытие Марины Цветаевой" ("Синтаксис", 1988). Говоря о блокнотике, найденном в фартуке погибшей Марины Ивановны, автор текста К.С. пишет: "Гробовщик, утаивший блокнотик, трусливо молчал о находке сорок лет! Что там? Говорят, одно лишь слово: "Мордовия"... Место, где сидела Аля. А что, если Цветаева

пыталась послать последний призыв о помощи? Последний перед тем, как ее повесили?..."

Трагедия Цветаевой не разгадана до конца. Из других источников знаем о тяжелом конфликте между ней и сыном Муром, который бунтовал против материнской опеки и в ссоре якобы пригрозил ей, вернее, пророчествовал, что кого-то из них вынесут из дома "ногами вперед"...

А насчет блокнотика: волею судьбы несколько лет назад я держала эту вещь в руках, о чем и написала в польском ежемесячнике "Literatura" (1984, N 12, с.21). Показавшие мне его Белла Ахмадулина и Борис Мессерер объяснили, каким образом реликвия оказалась у них.

Гробовщик, умирая, сознался в совершенной краже и умолял отправить вытащенную им из кармана самоубийцы записную книжечку в Москву. Родственники покойного передали ее первому приезжему, попросившему провести его на кладбище и указать место, где, вероятно, похоронена поэтесса. Этот человек, любитель поэзии, отдал блокнотик Белле Ахатовне во время ее гастрольного вечера поэзии в Ленинграде.

Старинный блокнотик, по-моему, похож на бальную записную книжку, в которой дамы отмечали, с кем они заняты в мазурке и других котильонах. Темная обложка из нежной кожи имеет белый узор: регулярно вытиснутые бурбонские лилии. Величина безделушки в спичечную этикетку. В середине несколько пожелтевших страниц и крошечный карандашик. Все сделано так, что нельзя бесследно вырвать один, допустим записанный, листок. Они все на месте — пустые, без единого слова, без знака. К сожалению, свидетель последней трагедии поэта молчит.

С уважением — Anna Zebrowska

К "Обращению Комитета Национального Согласия"

В связи с советским вторжением в Литву Комитет Национального Согласия обратился к интеллигенции народов СССР. Под этим обращением стоит и моя подпись.

Всякое коллективное письмо является своеобразным компромиссом между его соавторами, и чем дальше между собой позиции соавторов, тем больше этот компромисс. В КНС, по замыслу его инициаторов, спектр личных позиций максимально широк, так как эта организация включает и безусловных противников сохранения СССР, к которым, в частности, принадлежу и я, и сторонников сохранения Союза в той или иной форме. Объединяет нас понимание того, что борьба за или против "союза" должна вестись мирными демократическими методами. Военно-полицейские или

террористические методы с неизбежностью приведут к всесоюзной гражданской войне, которая не спасет империю, но превратит ее распад в кровавую агонию, гибельную для всех наций.

В отличие от большинства участников КНС я имею ограниченный доступ к советской прессе и потому прошу всех публикаторов Обращения опубликовать мои к нему критические замечания.

Я подписал Обращение, так как разделяю его общий гуманистический пафос. Однако конкретное его содержание и расстановка акцентов кажутся мне несоответствующими целям КНС и неадекватными январским событиям в Литве (а теперь и в Латвии, завтра — ...?).

Основной задачей нашего Комитета является противодействие тенденциям гражданской и межнациональной войны, противодействие открытым, честным, смелым и трезвым словом, обращенным к противоборствующим силам, и прежде всего к власти (армию, полицию, прессу, финансы) имущим.

Когда самочинный, полуанонимный партийный "Комитет национального спасения", опираясь на "союзные" танки и парашютистов, "революционными" методами отменяет народом республики избранную власть, захватывает телевидение, убивает невооруженных граждан, негоже уравнивать "союзную" и "республиканскую" стороны. В Обращении КНС такое формальное уравнивание проскальзывает, тем самым уподобляя наше Обращение официозной лжи.

В Обращении нет категорического осуждения танково-спецназо-омоновского ведения Центром диалога с республиками. Такое осуждение последовало со стороны демократической общественности всех республик. В частности, выступления Председателя Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцина с осуждением "союзных" акций в большей мере соответствуют национальному согласию и борьбе с русофобией, чем наше увещающее письмо.

В Обращении отсутствует выражение сочувствия жертвам агрессии. Нет и осуждения или хотя бы постановки вопроса об ответственности Президента — Генсека Горбачева за действия его войск и его партии. Со времен Тбилиси-89 и Баку-90 (сколько их уже было, спровоцированных таинственной — уж не марсианской ли? — мафией, для борьбы с которой все наращиваются силы не менее загадочного КГБ), со времен Алма-Аты-86 власть Генсека неизменно возросла, а, следовательно, возросла и его личная ответственность за преступные действия "союзных" органов власти, как, впрочем, и за республиканских "коммунистов на платформе КПСС". Если же "союзные" преступления совершены против воли Генсека, то Президент при содействии парламентов обязан привлечь путчиков к ответственности. Судить необходимо также министров обороны, внутренних дел, Председателя КГБ как минимум за их удивитель-

ную халатность в работе, приведшую государство к тяжелым последствиям.

Наконец, в своем Обращении мы не сказали главного — кровавые методы заключения Союзного договора ведут к реставрации тоталитарной империи и делают гражданскую войну неизбежной.

P.S. Пока в КНС не будут представлены радикальные круги национально-демократических движений республик, в нем неизбежно преобладание русской точки зрения. Это сказывается даже на политической семантике документов, составленных в Москве. Русские справедливо требуют замены оборотов типа "Русская Армия зверствует в Афганистане" на "Советскую Армию". Семантическая точность нужна и в иных контекстах. В частности, хочу повторить сказанное мною в Риме — я гражданин Франции и являюсь общественным деятелем не Русского, а Украинского Зарубежья.

P.P.S. "Комсомольская правда", публикуя наше Обращение, допустила корректорскую опisku, сменив слово "антисемитизм" на "антисоветизм". Считая антисемитизм одной из многочисленных болезней советского общества, я, как видимо и большинство подписавших Обращение, нейтрален по отношению к антисоветизму. Само это понятие потеряло ныне определенность. По отношению к Литовскому Верховному Совету антисоветчиками являются путчисты и КПЛ-КПСС. Если же советская власть означает тоталитарную власть КПСС, то антисоветчиками являются все порядочные люди.

Париж, 20 января 1991 г.

Л.Плющ

Уважаемая редакция! В 66-м номере журнала "Континент" опубликовано интервью, взятое у меня парижским журналистом Виталием Амурским год назад (в феврале 1990 года), но дата нигде не обозначена. Поэтому читатель может подумать, что я и сегодня призываю оказать поддержку Горбачеву, беру его под защиту, воспользовавшись известным изречением Тютчева о том, что "великие кары наступают обычно не тогда, когда беззаконие доведено до предела, когда оно царствует и управляет во всеоружии силы и бесстыдства". Взрыв раздражается, считал он, при первой робкой попытке возврата к добру. Тогда-то Людовики Шестнадцатые и расплачиваются за Людовиков Пятнадцатых и Людовиков Четырнадцатых. Увы, за минувший год беззаконий и бесстыдств было так много, что расплачиваться Президенту придется уже не за Людовиков Четырнадцатых и Пятнадцатых — за самого себя. Время уплотнилось. Сегодня мы проживаем в нашей стране, как на фрон-

те, — год за три, и минувший год в этом смысле оказался поистине драматическим.

Второе пояснение, которое я хочу сделать, связано с редакционной поправкой к моим словам: "Русофобия — скверная выдумка негодяев." В сноске от редакции сказано: "К сожалению, это убеждение бытует среди некоторой части нашей интеллигенции. Общеизвестно, к примеру, что существует франкофобия, англофобия, германофобия, американофобия..." Далее приводятся антирусские высказывания одной молдавской поэтессы и оскорбительные призывы из латвийского журнала. Мне кажется, не следует сравнивать франкофобию, англофобию, американофобию, русофобию — уж если они в самом деле существуют — с антисемитизмом по той простой причине, что ни одна из них не является государственной политикой в собственной стране, последовательно проводимой в течение многих лет, что позорные проявления этих низменных чувств, как правило, — частное свойство пошляков и мерзавцев. Ни русских, ни французов, ни немцев, ни американцев не уничтожали в газовых камерах за то, что они русские, французы и т.д. И расстрелы в подвалах Чека, и раскулачивания, и ГУЛАГ были направлены против всех — против русских, украинцев, латышей, евреев, казахов, таджиков... Другое дело — расизм, уничтожение людей по принципу их национального происхождения. Вот почему, я думаю, не следует англофобию, русофобию, американофобию ставить в один ряд с армянской резней, еврейскими погромами и Освенцимом, преследованиями негров, апартеидом в ЮАР, судьбой крымских татар, немцев Поволжья, калмыков, чеченцев... Есть разница.

И наконец, я огорчен тем, что в мое интервью вкралось несколько досадных смысловых и грамматических неточностей, опечаток, связанных с тем, что я отвечал на вопросы по телефону и не имел возможности выправить текст. Напечатано: "превращение внутренней свободы" — надо читать: "приращение". Напечатано: "потеснения" — надо: "притеснения". Напечатано: "разложение властью" — надо: "разложение власти". Напечатано: "покрывают" — надо: "накрывают"... А фраза: "Хотя в своих статьях о Чехове Анненский писал в основном о Достоевском, он, тем не менее, на мой взгляд, чрезвычайно близок Чехову" получилась бессмысленной, потому что должна начинаться так: "Хотя в своих статьях Анненский писал о Достоевском..." и т.д.

С глубоким уважением
Александр КУШНЕР

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы в своей сноске вовсе не сравниваем русофобию или какую-либо иную фобию с антисемитизмом или армянской резней. Мы лишь задаемся вопросом, является ли эта самая русофобия "скверной выдумкой негодяев" или нет? К тому же, не надо забывать, что по отношению к русским и славянам вообще гитлеровцы проводили ту же самую политику геноцида, только в более скрытой форме. Судьба и тех и других была спланирована в "Майн кампф" с достаточной определенностью.

Что же касается всего остального, то мы опубликовали предложенное нам интервью в том виде, в каком оно было нам предложено.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА

Объявляется подписка на репринтное издание единственной русской энциклопедии в 86 томах, получившей мировую известность и выходявшей в 1890 — 1907 годах. Юбилейное малотиражное переиздание осуществляет издательство "Терра" (Москва). Доход от продажи пойдет на закупку одноразовых шприцев и других медикаментов для передачи советскому Детскому фонду.

Переиздание в точности воспроизводит оригинал и представляет собою тисненые золотом, богато иллюстрированные таблицами, цветными картами и литографиями тома. Издание осуществится в 1990 — 1994. Стоимость тома \$28. Пересылка в США и Канаду \$0.99 за том, в другие страны \$1.99 за том. Оплата подписки может производиться поточно по мере выхода. Для оплативших подписку по получении первого тома предусмотрена более чем 30% скидка. Стоимость ВСЕГО ИЗДАНИЯ в этом случае составит \$1600 плюс \$56 (в США и Канаде) или \$113 (в остальных странах) за пересылку. Для подписавшихся на адрес СССР пересылка бесплатна.

Чеки за 1-й том в любой конвертируемой валюте нужно высылать по адресу: American Help Foundation, Inc., P.O. Box 501, Newton, MA 02159, USA. FAX (617) 489-6255. Продажа этого издания производится только за конвертируемую валюту во всех странах мира включая СССР. Американский фонд помощи получил исключительные права на продажу издания за пределами СССР для сбора средств на вышеуказанные благотворительные цели.

УЖЕ ВЫШЛИ ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ ТОМОВ

Критика и библиография

РОЙ МЕДВЕДЕВ КАК ИСТОРИК-ДИССИДЕНТ

Он — один из популярнейших ныне историков. Его труды наперебой публикуют журналы и газеты, его имя в недавнем прошлом было чуть ли не знаменем неконформизма, и в итоге опальный ученый стал депутатом Верховного совета СССР. Некогда исключенный, он восстановлен в КПСС и, перефразируя сказанное Л.Д.Троцким в 1917 году, можно отметить, что не Рой Медведев пришел в партию, но партия пришла (вернулась?) к нему.

Однако именно это во многом изменило отношение к историку-диссиденту. Постоянно декларируемая верность идеалам марксизма уже не вызывает одобрения масс, уставших от различных "социалистических преобразований", кроме того, вся парламентская деятельность Р.Медведева, особенно неуклюжие попытки "обличить" следственную группу Т.Гдьяна и Н.Иванова, обусловила предположение об управляемости, а то и ангажированности бывшего неконформиста.

Ангажированный неконформист — это, конечно, нонсенс, но ведь не исключена и своего рода эволюция. Впрочем, наиболее радикальные (а потому и не всегда корректные) оппоненты Р.Медведева утверждают, что никакой эволюции не было, т.е. не было историка-диссидента как такового. Доля истины в возражениях оппонентов-радикалов есть. Р.Медведев действительно не стремился "подрывать основы", признавал правильность ленинского курса и, разоблачая Сталина, видел в нем лишь некоего оборотня, чьи козни да интриги не дали и не дают стране развиваться по плану, предусмотренному Лениным. То была, пожалуй, самая безобидная критика режима. Разумеется, суждения Р.Медведева не вполне соответствовали идеологическим установкам брежневской эпохи, но как только идеологи объявили о продолжении десталинизации, опальный историк, оставшийся на позициях XX и XXII съездов КПСС, пришелся как нельзя более кстати. И официальные инстанции охотно признали его независимым и даже "альтернативным".

Труды Р.Медведева и в самом деле были альтернативой. По сравнению с ними сочинения подавляющего большинства советских историков выглядели вульгарной и грубо сработанной фальшивкой. Тем не менее, противники нынешнего парламентария указывают на одно довольно странное обстоятельство: при обилии не-

санкционированных зарубежных публикаций автор их отделался всего навсего исключением из КПСС. Для иных диссидентов книга и даже единственная статья в "тамиздате" — это годы ссылки, тюрьмы, лагерей, пыток в "психушках" или принудительная эмиграция. С другой стороны, аргументы вроде вышеприведенного мало что доказывают: подобное случалось и в сталинское время, а логику в применении более или менее жестоких репрессий найти вообще нелегко.

Выводы оппонентов Р.Медведева так и остались бы не вполне обоснованными, если бы он сам не представил подтверждение. Вот выдержка из интервью, данного Р.Медведевым для газеты "45-я параллель" (издание Ставропольского краевого отделения Советского фонда культуры. Ноябрь, 1990):

"Несколько слов о вашем материальном положении прежде и сейчас.

— В первое время, когда я только перестал работать, в 1971-м, оно было довольно трудным, но не безнадежным. Я получал гонорары за свои книги, изданные на Западе. В 70-е годы разрешалось валюту переводить по официальным каналам, и я сам устанавливал себе определенный минимум заработной платы.

— Если не секрет, какой?

— В пересчете на советские деньги — 500 рублей в месяц. В то время этого было достаточно".

Тут, пожалуй, можно и завершить дискуссию об ангажированности. Бывало, хоть и не часто, что авторы несанкционированных зарубежных публикаций оставались безнаказанными, но регулярная оплата диссидентских изданий, переводимая по советским "официальным каналам", — это уж из области фантастики, причем не научной. Оппоненты Р.Медведева не ошиблись по крайней мере в одном: диссидентом он не был никогда.

Независимость Р.Медведева считалась гарантией его объективности, непредвзятости. "Я как историк..." — этой фразой начинались многие выступления парламентария. Но если не было Р.Медведева-диссидента, то уместен вопрос: а был ли историк?

Репутация гонимого надежно защищала и защищает его. В годы так называемого застоя с ним не полемизировали в СССР, поскольку идеологи постановили считать его несуществующим, позже он остался неприкосновенным уже в качестве обличителя пресловутого культа личности. Таким образом, суждения Р.Медведева, оставаясь вне полемики, преподносятся усилиями средств массовой информации если и не в качестве единственно верных, то как наиболее авторитетные, научно обоснованные. Вот почему полемика необходима.

Дело даже не в ошибках — логических и фактографических, коими изобилуют его работы. Во-первых, от этого никто не гарантирован, а, во-вторых, оплошности извинительны, если исследо-

ватель оказывается лишенным доступа к основным источникам. Но многочисленные ляпсусы Р.Медведева обусловлены именно ложной концепцией, отстаивая которую, он вынужден игнорировать или искажать истину, подменяя факты малохудожественным вымыслом.

Анализировать все труды Р.Медведева нужды нет. Методологически они друг от друга не отличаются, что вполне объяснимо. Потому обратимся к одной из самых известных его работ — первой советской публикации книги "О Сталине и сталинизме. Исторические очерки." ("Знамя", 1989, N 1-4).

Вот несколько типичных примеров. Р.Медведев прилагает максимум усилий, доказывая, что террор (т.е. уничтожение заведомо невиновных для устрашения обществ в целом) есть специфически сталинский инструмент. Анализируя "обострение внутренней и внешней обстановки в начале 30-х годов", он указывает: "Репрессии нередко обрушивались на людей за их некоммунистические или немарксистские взгляды или за дореволюционную деятельность" (N 2, с.180). Однако такого рода репрессии достаточно широко применялись и до прихода Сталина к власти. С 1918 года террор становится осознанной и тщательно культивируемой формой правления. Уже тогда начались расстрелы заложников, причем объектом уничтожения по воле власти мог стать любой. И не за какие-либо совершенные действия, а при условии хотя бы гипотетической возможности таких действий. Равным образом заложников расстреливали и просто для острастки "обывателей". Продолжалось это и в 20-е годы: расстреливали и гноили в концлагерях бывших офицеров, дворян, священнослужителей, родственников крестьян-повстанцев и т.д. — опять же не за какие-либо правонарушения, а лишь за принадлежность к определенной социальной группе. Все это делалось для достижения и укрепления партийной диктатуры, которая, по мнению Р.Медведева, была необходимостью. Вероятно потому историк и не считает преступления таковыми. Сталин же, с его точки зрения, отстаивал и расширял собственные диктаторские полномочия, что, как полагает историк, уже само по себе преступно. Однако вождь партии использовал традиционные методы, которые были апробированы его соратниками, в частности — столь почитаемой Р.Медведевым "ленинской гвардией". Одобрялись они и партией в целом, что общеизвестно.

Но Р.Медведев стремится доказать, что ко второй половине 30-х годов именно в партии Сталин видел главное препятствие, именно убежденных коммунистов он считал своими главными противниками. "То, что острее террора второй половины 30-х годов, — пишет историк, — направлялось против актива самой партии, было очевидно даже для обывателей, которые спали по ночам гораздо спокойнее, чем коммунисты" (N 2, с.222). Вот это уж чистая беллетристика. Спокойными могли быть лишь те, кто попросту не

понимал сути происходящего в стране, кто был обманут официальной пропагандой. Вероятно, многие "ответственные коммунисты" (т.е. "актив партий") знали ей цену.

Еще более удивительны выводы, которые делает Р.Медведев, описывая коллективизацию. По его мнению, "кулачество как класс" — реальность, а не пропагандистская выдумка, т.е. кулаки действительно существовали, хотя политика Сталина была излишне жестокой и нецелесообразной. Ошибка, полагает историк, заключалась и в количественной оценке "эксплуататорского класса", поскольку "слой зажиточных крестьян" лишь на 1/5 состоял из кулаков "дореволюционного происхождения" (N 1, с.207). Откуда взялись такие точные данные, почему они достоверны — Р.Медведев не объясняет. Зато он определил суть раскулачивания. Это, оказывается, была классовая борьба. "Массовое выселение, — указывает историк, — обычно объясняли обострением классовой борьбы в деревне, причем всю вину за него большинство исследователей возлагало только на самих кулаков. Классовая борьба в деревне действительно стала обостряться (разрядка моя — Н.П.) уже в 1928 году, но это было связано с применением чрезвычайных мер и с массовым нарушением местными властями законности" (N 1, с.209). Так кто же и с кем боролся, и о какой законности идет речь? Но тут историк не до объяснений. "Обострялась классовая борьба, — продолжает он, — и в результате тех перегибов и извращений в колхозном строительстве, которые были допущены в 1929—1930 годах и порождали недовольство также и основной массы середняков. Таким образом, кулацкая часть деревни не была изолирована и нейтрализована, и это облегчало и поощряло ее сопротивление. Да и само по себе выселение кулаков было актом гражданской войны, который, естественно, вызывал у части богатого крестьянства активное сопротивление" (Там же).

Вот, значит, в чем дело: не только обострилась классовая борьба, но и гражданская война продолжалась. Через десять лет после окончания. Но опять же непонятно, кто и с кем воевал...

Впрочем, это все, так сказать, "общие рассуждения" историка, с которыми, уяснив саму концепцию, можно и не спорить. Куда более примечательны его ссылки на конкретные имена и факты. Тут уж трудно понять, где кончаются ошибки и начинаются опечатки. Вот, например, он пишет об истреблении Сталиным кадровых чекистов: "В 1936—1937 годах погибли известные чекисты М.Лацис, С.Мессинг, Н.Быстрых, С.Стырне, А.Артузов, Г.Благонравов, С.Аршакуни, А.Пилляр, В.Р.Домбровский, М.В.Слонимский, Н.Г.Крапивянский, Г.Е.Прокофьев, Л.Б.Залин, Т.Лордкипанидзе, Б.А.Зак. Как свидетельствуют бывшие чекисты, старые большевики С.О.Газарян, М.В.Остроградский и М.М.Ишов, в большинстве эти работники НКВД были субъективно честными людьми и не желали участвовать в уничтожении партийных кадров" (N 3, с.147).

Р.Медведев полагает, что свидетельства безусловно истинны. Так ли?

Начнем с того, что открывающие список Мартын Иванович Лацис (настоящая фамилия Судрабс Ян Фридрихович) и Станислав Адамович Мессинг в 1936—1937 годах в НКВД не служили. Лацис окончил свою чекистскую карьеру в 1921 году (назначен председателем Главсоли), а бывший заместитель председателя ОГПУ Мессинг с 1931 года — член коллегии Наркомвнешторга СССР. В 1936—1937 годах они просто не смогли бы вместе со своими бывшими коллегами-чекистами "принимать участие в истреблении партийных кадров". Также не имели соответствующих возможностей (по крайней мере в 1936-1937 годах) Георгий Иванович Благонравов, возглавлявший Главное управление шоссейных и грунтовых дорог НКВД СССР (Гупшосдор) и Николай Михайлович Быстрых — главный инспектор НКВД по пограничной, внутренней охране и рабоче-крестьянской милиции. У них были тогда иные обязанности. Проведением репрессий занимались другие подразделения НКВД и, следовательно, те сотрудники, кому это полагалось по должности.

Что же касается принципиального несогласия со сталинской политикой, то и тут суждения Р.Медведева кажутся довольно сомнительными. Лацис, например, известен как организатор, непосредственный руководитель, идеолог и трубадур "красного террора". В годы гражданской войны он призывал не только расстреливать заложников, но и уничтожать всех подозрительных "социально-чуждых", не утруждаясь поиском доказательств их вины. Такая бесцеремонная откровенность вызвала возражения даже у Ленина. В двадцатые годы Лацис опубликовал ряд псевдодокументальных работ, прославлявших гуманность и справедливость чекистов. Целесообразность террора он никогда не отрицал. То же можно сказать и об остальных.

Кстати, приводя даты их смерти, историку следовало бы указать источники, которыми он пользовался, опровергая официальные. БСЭ, например, сообщает, что Лацис и Благонравов погибли в 1938 году, Быстрых, как указано в сб. "Внутренние войска в годы социалистического строительства" (М., 1977) — в 1943, Мессинг, согласно данным сб. "Ленин и ВЧК" (М., 1975) — в 1946 году.

Названные Р.Медведевым А.Пилляр, С.Стырне и Б.А.Зак — литературные персонажи. Но у них есть вполне реальные прототипы. Роман Александрович Пилляр в 1929—1932 годах — полпред ОГПУ на Северном Кавказе. Под его руководством проходило выселение крестьян, объявленных кулаками, а позже и целых станиц. Причем о депортации крестьян этого региона историк ранее упоминал. А вот о совестливом чекисте — забыл. Или — не знал. Сведения же о деятельности Пилляра можно даже не искать в архивах, на отсутствие доступа к которым Р.Медведев

жаловался. Немало опубликовано и в газете "Молот", выходившей тогда в Ростове-на-Дону, и в других периодических изданиях, никогда не изымавшихся из массовых библиотек. Позже Р.А.Пилляр — комиссар госбезопасности 2-го ранга *, до мая 1937 года возглавлял УНКВД по Саратовской области и принимал активное "участие в истреблении партийных кадров". И беспартийных тоже. Как и Владимир Андреевич Стырне, комиссар госбезопасности 3-го ранга, заместитель начальника, а затем — до середины 1937 года — начальник УНКВД по Ивановской области. И Борис Аркадьевич Бак (а не Зак) — комиссар госбезопасности 3-го ранга, начальник УНКВД по Северной области (ныне Архангельская). Погиб он, как указано в сб. "Ленин и ВЧК", в 1939 году. В недостатке служебного рвения нельзя упрекнуть и его коллегу — старшего майора госбезопасности Вячеслава Ромуальдовича Домбровского, до середины 1937 года возглавлявшего УНКВД по Калининской области. А уж Тите Илларионович Лорджипанидзе тем более не заслужил подобных упреков. Он был заместителем председателя ГПУ Грузии, когда им руководил Л.П.Берия, впоследствии стал и председателем, затем возглавлял ГПУ Закавказья, а с 1934 года — НКВД Крымской АССР. Кажется, в комментариях нужды нет. И все это можно узнать, хотя бы пролистав местную периодику тех лет, в спецхранах никогда не бывшую.

Вряд ли уместно и рассуждение о "субъективной честности" ветерана и руководящего работника НКВД Артура Христиановича Артузова (наст.фамилия Фраучи). Он был выдающимся мастером политических провокаций, о некоторых упоминает и сам Р.Медведев. Но не называет при этом фамилию автора, одного из ближайших сподвижников до сих пор нереабилитированного наркома Ягоды, весьма, кстати, ценившего таких сотрудников. И при Ежове Артузов тоже усердно служил. А потому сомнительно, чтобы он, как повествует историк, критиковал "на активе НКВД" якобы ненавистный ему "установившийся после Менжинского фельдфебельский стиль руководства" и сравнивал "органы" с "презренными охранками капиталистов". Документально это никак не подтверждается. Можно, конечно, предположить, что Артузов, видя истребление сотрудников Ягоды, понимая, с чем оно связано, и сам ожидая ареста, как-нибудь выразил недовольство, например, в частной беседе. Да и то маловероятно. Скорее всего, это опять малохудожественный вымысел. В период реабилитации было принято противопоставлять "истинных чекистов" — дзержинцев и менжинцев — различным перерожденцам, вроде Ягоды, или неизвестно откуда взявшимся ежовцам и бериевцам.

* Спецзвание в системе ГУТБ СССР.

Нет, убили Артузова не за критику или еще какое-нибудь проявление "большевистской принципиальности". Не препятствовал он ни коллегам, ни хозяевам, а просто срок его вышел. То же самое можно сказать и о заместителе наркома внутренних дел в 1934—1936 годах комиссаре госбезопасности 1-го ранга Георгии Евгеньевиче Прокофьеве. Уцелеть он не мог, ибо в 1936—1937 годах был еще и заместителем Ягоды по наркомату связи СССР. И уж совсем некстати упоминание в числе "субъективно честных" Льва Борисовича Залина. Вопреки мнению Р.Медведева комиссар госбезопасности 2-го ранга Залин в 1936—1937 годах не погиб, а напротив — преуспевал. Он был наркомом внутренних дел Казахстана до 1938 года и непосредственно руководил уничтожением "основных кадров партии" в республике, о чем, кстати, историк сообщил в соответствующей главе. Странно, что главный палач не попал в поле его зрения. И погиб Залин по той же причине, что и многие его коллеги, — срок вышел.

Анализировать составленный Р.Медведевым список якобы "не пожелавших принять участие" можно и дальше, хотя тенденция, полагаю, очевидна. Порою кажется, что историк намеренно (с непонятной целью) выбирает именно те примеры, которые полностью опровергают его тезисы. На той же самой 147 странице Р.Медведев сообщает: "За отказ применять "новые методы" следствия (т.е. пытки — Н.П.) был расстрелян нарком внутренних дел Белоруссии И.М.Леплевский". Опять беллетристика! Во-первых, Леплевский к моменту ареста не был наркомом Белоруссии — в 1936 году он повышен в должности и переведен в центральный аппарат НКВД СССР, где возглавил 5-й отдел ГУГБ, во-вторых, он руководил следствием по делу "военных заговорщиков" (Тухачевского, Якира и др.), в ходе которого, как известно, широко применялись те самые "новые методы". Разумеется, новыми они были не для Леплевского. С лета 1937 и до начала 1938 года он возглавлял НКВД Украины и непосредственно руководил массовыми репрессиями в этом регионе, о которых, кстати, упоминает Р.Медведев. Забыв, по обыкновению, основного исполнителя, чье имя нетрудно разыскать на страницах тогдашней периодики. Как и Л.Б.Залин, Л.М.Леплевский в декабре 1937 года стал депутатом Верховного совета СССР, и его послужному списку журналисты уделили немало внимания.

Это, конечно, не означает, что среди чекистов не было таких, кто принципиально бы отказался пытать допрашиваемых. Не исключено, что и были...

Но обратимся к фактической основе еще одной интересной легенды: о самоубийствах советских чекистов, коих, по мнению Р.Медведева, следует отличать от ежовцев, бериевцев и других палачей, причиной самоубийства которых "был скорее страх, нежели муки совести". В качестве примера историк сообщает: "Покончил самоубийством известный чекист и педагог М.С.Пог-

ребинский, организатор и руководитель детских коммун. Назначенный начальником Горьковского областного управления НКВД, Погребинский, как об этом свидетельствует его предсмертное письмо, не хотел выполнять преступные приказы "центра" (N 3, с.147). О педагогических достижениях Погребинского пусть педагоги судят. Но организация трудкоммун — это своего рода хобби высокопоставленного чекиста. Вполне вероятно, что он любил детей, но главным делом его жизни была служба. До 1934 года Погребинский — полпред ОГПУ в Горьковском крае, соответственно с 1934 по апрель 1937 — начальник УНКВД по Горьковской области, комиссар госбезопасности 3-го ранга. Он непосредственно руководил репрессиями и застрелился, узнав об аресте Ягоды, поскольку хорошо знал методы своих коллег. Кстати, любил детей и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, что не мешало ему командовать палачами. Он тоже покончил самоубийством...

Надо отметить, что к теме совестливых чекистов-самоубийц историк обращается и в других книгах, но каждый раз выбирает столь же "удачные" примеры. Так, в очерке об А.И.Микояне встречается такой пассаж: "Узнав о самоубийстве партийного работника М.Литвина, который был назначен на работу в НКВД, но через неделю застрелился, оставив записку, что не желает участвовать в истреблении кадров партии, Микоян выразил сожаление" (Р.Медведев. Они окружали Сталина. М., Политиздат, 1990, с.197).

Очень трогательная история, не правда ли? Вот так и видится сталинский нарком, горько сожалеющий о судьбе товарища-партийца, которого по недоразумению назначили заплечных дел мастером, а тот вдруг прозрел, все осознал, не выдержал и ... Однако действительность соответствует рассказу историка "с точностью до наоборот". Неизвестно, о чем сожалел Микоян (и когда), но М.И.Литвин, перейдя вслед за Ежовым в НКВД, не стал стреляться через неделю. Он служил там два года. Был, что называется, ярым ежовцем, фальсифицировал следственные дела и очень быстро делал карьеру. На исходе 1937 года он — старший майор госбезопасности и возглавляет 4-й отдел ГУТБ НКВД СССР. С января 1938 года — начальник УНКВД по Ленинградской области в звании комиссара госбезопасности 3-го ранга. Застрелился Литвин в ноябре 1938 года: он уже обладал достаточным опытом, чтобы ничего хорошего не ожидать от перемены власти в наркомате. Послужной список этой "жертвы" НКВД был бы знаком Р.Медведеву, если бы историк обратился к периодике...

С тем же пренебрежением к фактам Р.Медведев пишет и о судьбе высокопоставленных партработников. Так, анализируя характер кадровых изменений на XVII съезде, он сообщает: "Из прежнего состава ЦК не были избраны в новый некоторые неугодные Сталину люди", и в числе прочих называет Л.Картвелишвили (N 2, с.196). Вполне вероятно, что Картвелишвили был неугоден вождю,

но в ЦК его избрали. В соответствующем списке историк мог бы найти Л.И.Лаврентьева. Это и есть Л.И.Картвелишвили: Лаврентьев (Лаврентьич) — его партийный псевдоним, что указывается в ряде справочников, например, в БСЭ. Тут же историк сообщает, что в состав ЦК введен чекист Евдокимов Е.Г., который, по мнению Р.Медведева, "в 1936 году перешел на партийную работу в Ростовской области", а в 1937 году расстрелян (N 3, с.147). В действительности же Евдокимов перешел на партработу в январе 1934 года и членом ЦК стал будучи не сотрудником НКВД ("чекистом"), а первым секретарем Северо-Кавказского крайкома. С января 1937 года Евдокимов — первый секретарь Азово-Черноморского крайкома, затем — Ростовского обкома партии. В мае 1938 года он назначен заместителем наркома водного транспорта, причем наркомат этот возглавлял тогда Ежов. Понятно, что его заместитель вряд ли мог уцелеть. Официальная дата смерти Евдокимова (хоть и маловероятная, как и прочие) — 1940 год. Р.Медведев указывает, что работая в Ростовской области, Евдокимов "немало потрудился над ее "очищением" от "врагов народа" (там же). Но причиной тому вовсе не школа Ягоды, как полагает историк. Аналогичным образом действовали практически все секретари крайкомов, обкомов и т.п. И перевод из НКВД на партработу, как и переход с партработы в НКВД — не столь уж редкое явление в номенклатурной практике. Судьба Евдокимова — иллюстрация к известному рассуждению о том, что хороший коммунист должен быть и хорошим чекистом, т.е. готовым стать таковым в любой момент.

Среди арестованных и впоследствии погибших членов комитета партийного контроля историк называет И.А.Лычева и К.Ф.Пшеницына (N 2, с.214). Однако второй секретарь Свердловского обкома Пшеницын арестован не был. Он застрелился 23 мая 1937 года, известие об этом опубликовано в местной периодике. А вот управляющий делами и зав.секретариатом ЦК ВКП(б) Лычев поплатился не жизнью, а карьерой. Его перевели на хозяйственную работу, и перед войной он был пом.директора МХТИ им.Менделеева. Умер в 1972 году.

С меньшей безапелляционностью сообщает Р.Медведев об аресте и гибели заместителей председателя СНК РСФСР Д.Е.Сулимова, в числе которых называет С.Б.Зозноченко. Но это опять литературный персонаж. Его прототип — Семен Борисович Задонченко — заместителем Сулимова никогда не был, поскольку на должность зам.пред. СНК он получил назначение в августе 1937 года, т.е. уже после ареста Сулимова. С февраля 1938 года Задонченко — первый секретарь Днепропетровского обкома, в годы войны — Башкирского и Кемеровского. Умер в 1972 году.

Так же, вопреки мнению историка, не был арестован Иосиф Викентьевич Косиор. Он умер в июле 1937 года, похоронен на Новодевичьем кладбище, некролог опубликован в "Правде". Конеч-

но, до областной периодики у Р.Медведева руки не дошли, но уж центральную-то знать вроде бы положено. С другой стороны, газеты лежат в библиотеках, а туда, видимо, пойти было недосуг. Вообще с фактографией Р.Медведеву не везет хронически (и даже анекдотически). Уж сколько всего понаписано о генеральном секретаре ВЛКСМ Александре Косареве и обстоятельствах его ареста в 1938 году — казалось бы, трудно перепутать. Ан, нет: историк убежден, что Косарев арестован в 1939 году.

Перечислять подобные открытия (не говоря уж о менее значительных достижениях) можно долго. Составленный в качестве комментария список ошибок в любом очерке, в любой книге историка по объему едва ли уступит основному тексту. И даже самый добросовестный редактор не сможет все исправить. Впрочем, такого рода попытки предприняли сотрудники Политиздата в 1990 году, но и они устранили только малую часть ляпсусов. Вины их тут нет: кто ж возьмется полностью контролировать признанного специалиста в его же области? На то и специалист, чтобы пользоваться доверием.

Результаты, в отличие от намерений Р.Медведева, говорят сами за себя. Историка такого не было, как и не было диссидента. Но ведь годы работы были, это несомненно. Каким же образом достигнуты столь ошеломительные результаты?

Отчасти на этот вопрос ответил сам Р.Медведев, когда рассказывал об используемых им методах исследования. Как известно, основной источник — воспоминания участников, очевидцев и современников событий, записанные в частных беседах. Это своего рода устное творчество репрессированных партийцев, история в осмыслении ответственных работников. Разумеется, столь ценными сведениями пренебрегать нельзя. И если бы Р.Медведев просто опубликовал собранное (даже и отредактировав), его не в чем было бы упрекнуть. Но нельзя же выдавать за научную работу — исследование — записи такого рода, систематизированные и отредактированные сообразно курсу истории СССР в хрущевском варианте. Их п р а в д о п о д о б и е объясняется исключительно лживостью официальных историографов, ссылаясь на недоверие к которым Р.Медведев избавил себя от изучения библиографии, да и вообще от каких бы то ни было изысканий источниковедческого характера. Итог закономерен. Прежние фальсификации советских псевдоспециалистов, конечно же, неприемлемы, но и беллетристические спекуляции Р.Медведева не альтернатива им. Нечто подобное делает и популярный драматург М.Шатров, однако даже самые горячие его поклонники не пытаются рекомендовать пьесы в качестве научных работ, в то время как Р.Медведева рекламируют именно как историка. И пользуясь этим имиджем он ведет свои парламентские "расследования". Можно, правда, предположить, что

Р.Медведев добросовестно заблуждается. Но в науке это, пожалуй, единственное, что он делает добросовестно...

Никита ПЕТРОВ

НЕ БУДЕМ БОЯТЬСЯ ТОЛСТЫХ КНИГ

Большие академические фолианты, золоченые корешки которых мерцают за стеклами библиотечных шкафов, всегда вызывали у меня восхищение и некий страх. В самом деле, подумать только — какое фантастическое богатство мыслей таится в них, и насколько сам ты, точнее твой интеллект, кажется мизерным рядом. Сейчас подобные издания уже являются исключительной роскошью. То, что прежде одевалось в кожу и золото, следуя моде времени, имеет более скромный вид: нередко самые изысканные научные работы выходят в свет в мягких обложках, внешне напоминая самые заурядные, рассчитанные на массового читателя, издания. Они уже не так "страшны", словно спешат заверить тебя: не бойся, возьми меня в руки, открой, давай поговорим... "История русской литературы", которая с 1987 года издается во Франции парижским издательством "Файяр" * в определенной мере относится к числу именно таких — подкупающих внешней простотой (скромные переплеты, покрытые белыми суперами) изданий. Общий объем первых трех томов составляет около трех тысяч страниц, напоминая о том, что перед нами значительный труд, рассчитанный не на чтение мимоходом, а на ответную вдумчивую работу читателя. Если, конечно, браться за нее с первых страниц и постепенно идти вглубь. В то же время тома эти можно рассматривать и как справочное пособие, где достаточно отыскать того или иного писателя, поэта, крупного критика, чтобы почерпнуть о нем немало информации. В этом смысле "История русской литературы", о которой идет речь, в равной мере может быть полезна как тем, кто интересуется, изучает этот слой русской культуры, так и тем, кто считает необходимым всегда иметь в своей библиотеке серьезного "энциклопедического помощника".

Говоря о первых томах "Истории русской литературы", в данном случае следует сделать небольшую оговорку: речь идет о томах, где рассматривается большой и сложный комплекс проблем, произведений и биографий авторов XX века. Тома, связанные с

* "Histoire de la litterature russe", ouvrage dirigé par E.Etkind, G.Nivat, I.Serman, V.Strada. Le XX^e siecle: vol.I "L'Age d'argent", Vol.II "La Revolution et les annees vingt", Vol. III "Gels et degels". Ed. Fayard, Paris 1987, 1988, 1990.

периодами более ранними, а также отдельный ("вертикальный") том, который должен включить в себя главы, относящиеся ко всей истории русской литературы, еще находятся в стадии подготовки. Всего же их будет семь.

Редакционная коллегия "семерки" — известные слависты профессора Ефим Эткид (Франция), Жорж Нива (Швейцария), Илья Серман (Израиль), Витторио Страда (Италия), то есть два эмигранта из Советского Союза и два западных специалиста. Уточнение, или точнее — беглое напоминание об этом — кажется существенным. Как бы двойной взгляд на русскую литературу сам по себе заслуживает интереса. Хотя было бы не совсем точно настаивать на подобной биполярности. Среди многих авторов статей, собранных в томах, есть и специалисты из США, Югославии, Польши...

Томы — теперь речь пойдет именно о тех, которые уже вышли — имеют подзаголовки: "Серебряный век", "Революция и двадцатые годы", "Морозы и оттепели". Одно из отличительных свойств этого коллективного труда заключается в том, что впервые история русской литературы рассматривается в контексте параллельных процессов, происходивших (и происходящих, если учесть особую актуальность третьего тома) в русском и советском искусстве, театре, музыкальном мире и т.д. Так, в том "Серебряный век" наряду с обзорными статьями, посвященными русской литературе великого XIX века, русскому символизму, акмеизму, футуризму и другим течениям, наряду с материалами, посвященными Чехову, Белому, Блоку, Вяч.Иванову, Анненскому, Сологубу, Вас.Розанову, Пришвину, Бунину, Гумилеву, Кузьмину, Хлебникову и другим, оказались помещены тексты, где анализируется философско-религиозная мысль России этого периода, уделено особое внимание о.Павлу Флоренскому, Мережковскому, Шестову, Бердяеву. Не забыта роль, которую сыграли в эстетическом и этическом формировании театра Леонид Андреев, Станиславский, Евреинов... Представлена панорама дореволюционного и предреволюционного развития русского авангарда в пластическом искусстве, одна из статей сосредоточена на такой крупной фигуре, как Малевич. Есть статьи о музыке и балете, о статусе русского писателя в начале века. Помимо членов редколлегии, среди их авторов: Ж.Шеррер, Т.Венцлова, Ж.-К.Маркадэ, Ж.Абенсур, В.Берелович, М.Геллер...

Том "Революция и двадцатые годы", построенный по такому же принципу, вовлекает читателя в кипящий водоворот последующих событий. За обзором "Революция и литература" следуют статьи о русских футуристах, русской культуре в эмиграции и на родине. Касаясь тех авторов, которые были вынуждены покинуть Россию и продолжали работать за границей, в числе наиболее крупных отмечаются: Куприн, Алданов, Ходасевич, Цветаева, Набоков, Ремизов, Поплавский, Осоргин, Георгий Иванов. Список этот может вызвать вопросы, споры, так как очевидно, что

перечисленные таланты были отнюдь не равными по своему дарованию, даже по причинам, из-за которых оставили свою страну. Не очень понятно, почему сюда не оказался внесен Бунин, почему оказался "забыт" такой интересный поэт, как Борис Божнев (не менее значительный, чем Поплавский или Г.Иванов...)? В данном случае я не вступаю в какую-либо полемику, а просто высказываю вопросы как бы мимоходом. Видимо, каждый из тех, кто познакомился или еще познакомится с этой частью тома, вынес, вынесет свое личное мнение. Советская часть прозаиков и поэтов количественно представлена больше. Поэзия — именами Ник.Тихонова, Багрицкого, Маяковского; так сказать, "ново-крестьянская" литература — Сергеем Есениным, Клюевым, Чаяновым. И опять вопрос: насколько действительно мастер-эстет Чаянов, прославившийся не только "Путешествием моего брата Алексия в страну крестьянской утопии", но создавший ряд произведений "московской гофманиады", по праву оказался в указанном разделе? Не правильнее было бы его чуть-чуть передвинуть, допустим, в довольно представительную группу: Зошенко, Олешу, Бабеля, Замятина, Вагинова, Клычкова, Пильняка, Федина, Вс.Иванова, А.Толстого... Вопрос о том, где отведено место тому или иному автору, как мне представляется, отнюдь не второстепенен. Ведь общие структуры распределения писателей по группам как бы дают и своеобразный взгляд на их творчество. Говоря о процессе восстановления русской литературы, то есть включения в нее имен незаслуженно забытых или нарочито "исключенных" советскими историками авторов, проф. Е.Г.Эткинд, помнится, заметил: "Это чрезвычайно трудная задача — возвращать истории автора, выключенного из процесса истории литературы на протяжении многих лет. Дело в том, что нужно не просто "вставить" его в историю, но одновременно пересмотреть многое в такой истории. Необходимо понять, скажем, какую роль сыграл Гумилев. Не думаю, что сейчас можно просто добавить в прежнюю "Историю русской литературы" советской Академии наук главу об этом русском поэте — и считать, что все исправлено. Нет, отнюдь нет! Добавление Гумилева изменяет вообще все представление о процессе развития русской поэзии XX века. Это только один пример." С этой мыслью нельзя не согласиться. Вот почему мне показалось, что место Чаянова было выбрано не совсем удачно... Может быть, несколько особо из вышеуказанного ряда следовало бы выделить Вагинова... И опять, повторяю, все это — только вопросы, которые кажутся важными. Касаясь процессов, которые происходили в русском культурном обществе в обозреваемый период, авторы второго тома уделили внимание, говоря о театре — Мейерхольду, касаясь кино — Эйзенштейну, в области живописи

* "Новое Слово", Нью-Йорк. 22.07.1988 г.

— Филонову и Кандинскому ... Весьма существенными явились статьи "Литература и марксизм", "Русская музыка после революции", "Русский авангард и авангард западный". Представляется чрезвычайно интересным и закономерным включение главы о русском формализме, где разбирается творчество Шкловского, Романа Якобсона, Тынянова и Гуковского. Совершенно справедливо выделена группа "обэриутов." Однако, думается, рядом с замечательными статьями о Заболоцком и Хармсе тут недостает материала об Александре Введенском...

Разумеется, огромный труд, проделанный членами редакционной коллегии и другими авторами, не мог бы при всем их желании вместить все, очевидно от каких-то статей приходилось отказываться исходя из реальных, вполне ограниченных параметров издания. Поэтому тут нет и не может быть речи об упреке, а скорее — сожаление...

Заключительный, третий том, как я уже указал, имеющий подзаголовок "Морозы и оттепели", охватил следующие периоды и имена: "Социалистический реализм" — Горький, Шолохов, Фадеев, Леонов; признанные и непризнанные писатели 30-х годов, среди первых — Ильф и Петров, Каверин, Катаев, среди вторых — Добычин, Платонов, Булгаков, Мандельштам... Главными величинами "военной темы" представлены Виктор Некрасов и Твардовский. Первая, "хрущевская" оттепель связывается с "Новым миром", появлением некоторых работ Эренбурга... Глава "От "оттепели" к "диссидентству" включает в себя творческие портреты Синявского, Войновича, Владимова, Зиновьева, Аксенова, Максимова. Мысленно возвращаясь к периоду той оттепели, я, например, не стал бы столь безоговорочно ставить в один ряд этих по-своему оригинальных, сильных авторов. Известно, в то время как часть из них действительно активно выступала в отечественных печатных изданиях с полемичными, острыми (по тем временам и в конкретных условиях) публикациями, влияла на ход русской-советской литературы, на мировоззрение соотечественников — те же Аксенов, Максимов, Владимов, Войнович (перечень этот можно значительно увеличить), литературные эксперименты Синявского, публиковавшегося на Западе под псевдонимом Абрама Терца, на родине практически никому не были известны, никакого резонанса в литературе не имели, а как литературовед он (не считая яркой вступительной статьи к сборнику Пастернака, выпущенному в 1965 году издательством "Советский писатель") не привлекал к себе особого внимания. Появление в русской литературе произведений Зиновьева также не имеет тесного отношения к "хрущевской" оттепели, даже если тот переломный период сыграл важную роль в его взглядах на действительность, определил в будущем выбор пути, активизировал творческую энергию.

Поскольку глава называется "От "оттепели" к "диссидентству", то есть в целом должна дать представление о динамике развития не только какой-то части литературного процесса, но и процесса образования нового (по тем временам) типа художественного мышления, формирования новой системы этических ценностей, об отношении к власти и т.д., — представляется упущением пропуск тут, допустим, Виктора Некрасова (то, что он написал в эмиграции, имеет ничуть не меньшее значение, чем написанное прежде о войне), Белинкова... Кстати, кажется вообще удивительным, что те, кто пишет в последние годы о литературных процессах в СССР в 60-е годы, как-то единодушно или почти единодушно "забывают" об авторе блестящих работ "Юрий Тынянов", "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеся". Аркадий Белинков как критик несомненно фигура значительная. Обойти ее, оставить в стороне, заслонить другими именами (а мы знаем, что такие тенденции, увы, имеются) несправедливо. Мысли эти при знакомстве с третьим томом "Истории русской литературы" возникли попутно...

Странным показалось, что как бы мимоходом вошли в третий том такие значительные фигуры, как Галич, Окуджава, Высоцкий... Правда, о них есть статья "Поэты-певцы", но статья обзорная, не дающая возможности, если позволено так будет сказать, разглядеть каждого автора крупным планом. Творчество того же Окуджавы, как известно, не ограничивается поэзией — за многие годы он проявил себя и как интересный автор исторических романов. Странным образом куда-то "растворилась", как бы исчезла из вида Ахмадулина... Но если для свидетеля тех литературных событий, которые знаменовали собой появление молодых авторов в начале и середине 60-х годов, многое может показаться отнюдь не очевидным в отборе имен и произведений, которым уделено внимание (точнее — степень внимания) в томе "Морозы и оттепели", то не вызывает чувства полемики включение в главу "Русская литература как свидетель о бесчеловечном" статей о четырех мастерах: Шаламове, Домбровском, Гроссмане и Солженицыне. Несколько странным показалось соседство с Пастернаком и Ахматовой Бориса Зайцева... Кстати, нельзя не обратить внимание на то, что отдельным авторам (Мандельштаму, Ахматовой) посвящены статьи-дуплеты. То есть изложены на их творчество довольно разные точки зрения. Это явный показатель того, что редакционная коллегия не смогла прийти к единству оценки, подхода к ним. Разумеется, такой вариант решения проблемы — о существовании ее я лишь предполагаю — представляется вполне разумным. Но если брать, допустим, две исходные точки зрения, то почему не больше? Поэтому не исключаю, что данный вопрос — перед нами ведь не сборник полемических статей, а История литературы! — может у кого-нибудь возникнуть. И если да, то вполне закономерно. Продолжая тему истории русской критики и литера-

туроведения, члены редакционной коллегии включили в обозреваемый том Бахтина, Проппа, Эйхенбаума, Оксмана, Лихачева, Лотмана, статья покойного Н.Эйдельмана посвящена плеяде пушкинистов... Раздел "Литература семидесятых годов и начала восьмидесятых" представлен только тремя авторами: Валентином Распутиным, Трифоновым и Бродским. Думается, что здесь допущен промах. Такой "литературный веер" явно не дает точного представления о данном периоде, где в высшей степени интересно, по-разному выступали такие авторы, как Битов, Шукшин, Белов... В эмиграции появилась совершенно новая, еще непривычная для русской литературы проза Саши Соколова... Назвав этих авторов, я естественно ставлю многоточие.

Представляются нужными и интересными статьи, посвященные массовой литературе в СССР, музыке, кино, театру и пр., — то есть речь идет опять-таки о параллельных материалах, дающих возможность лучше понять литературные процессы эпохи, — но, думается, что не мешало бы уделить особое внимание и такому явлению, как "самиздат". Если вспомнить, например, о таких авторах, как Красовицкий, Айги, Рид Грачев, Леонид Губанов и некоторые другие, не допускаемых в официальные издания абсолютно или значительной частью творчества, то нельзя не отметить, что, даже будучи авторами машинописных рукописей, они (так же как Бродский, судьба которого оказалась куда счастливее) оказали в то время огромное влияние на творчество, на этику и взгляды молодого поколения. Нельзя всерьез рассматривать историю русской литературы 70-х годов, вырстную на традициях андеграунда (другие под сомнение не ставятся) без, допустим, Венедикта Ерофеева... Его в третьем томе, увы, тоже нет...

Практически не имея возможности перечислить всех авторов статей, участвовавших в работе над этим томом (многие из них уже были названы, как авторы статей в томах предыдущих), отмечу нескольких: И.Голомшток, Г.Ермолаев, Р.Зернова, Б.Гаспаров, С.Бабенышева, Г.Свирский, В.Фрумкин, А.Найман, Т.Тодоров, Ф.Альбера, А.Дравич, И.Золотусский...

О стакане, наполненном до середины, можно сказать по-разному: либо он наполовину полон, либо наполовину пуст. В зависимости от этого окажется выражено отношение к вещи. Отмечая наличие пустот (отсутствующих имен) или удивляясь несколько странным группировкам, я не хотел тем самым дать негативную оценку в целом действительно значительному, очень нужному и во многом принципиально новому труду. Отдельные беглые замечания носят тут в основном личные представления об отдельных процессах в русской литературе, об их непосредственных участниках — и отнюдь не претендуют на то, чтобы выглядеть "истиной в последней инстанции". Упаси Боже. В любом случае тома "Истории русской литературы", которые перед нами, вызывают чувство уважения к

коллективу их создателей. Но не будем бояться этих толстых книг (которые, по всей видимости, начнут выходить на русском языке в 1992 году), испытывать перед ними смятение студентов перед "научными светилами" — будем читать их и думать. Думать и еще раз думать.

Виталий АМУРСКИЙ

ТРИ ВРЕМЕНИ ЕВГЕНИЯ РЕЙНА

"Было, были, был, был, был..."

Это почти крученыховское заклинание — ключ к поэзии Евгения Рейна. Как во всяком нормальном доме, ключ не прячется от гипотетических грабителей — лежит на виду, а то, по забывчивости, и торчит в дверях. Многое в стихах Рейна просто, понятно, доступно любому: разглядывай, любуйся, люби, отвергай. Но, как во всякой подлинной поэзии, главное — не во внешних атрибутах, а в общей атмосфере, интонации и в тайных знаках судьбы, неведомых постороннему.

То, что Рейн — значительный поэт, стало нам ясно давным-давно, когда стихи его ходили по рукам в слепой машинописи, а его артистический голос звучал еще не с эстрады, а с запретных магнитофонных пленок. Сейчас, когда многое опубликовано, предельно понятно, что запрет на его стихи был сведением счетов с поэтом, но не с его поэзией: в ней куда меньше запретного с точки зрения тоталитарной власти, чем в стихах его более громких и официально признанных современников.

С выходом на "печатную" сцену Евгения Рейна для читателя, наконец, очертился — а может, и завершился — тот круг молодого ахматовского окружения, который в свое время, несколько сужая количество участников, увековечил "сварливый провидец", наставник ленинградской поэтической школы Глеб Семенов: "четыре мальчишка чугунный шлейф носили..." Ахматовская традиция так или иначе все время дает себя знать в поэтике этого круга. Не случайно у самого Рейна Ахматовой посвящены сильные стихи — "В Павловском парке" или "В последний раз".

Рядом с языковой вселенной Бродского и ценнейшей лекцией графики Кушнера, рядом с глубокими медитациями Бобышева и возвышенным литературством Наймана Евгений Рейн живет

* Евгений Рейн. Береговая полоса. М., "Современник", 1989; Темнота зеркал. М., "Советский писатель", 1990.

в мире, на первый взгляд, более простом и приземленном. Это мир четко очерченных географии, быта, стиля. Мир Ленинграда, Москвы, коммуналок, застолий, литературных компаний, локальных цитат и любовных походов. Это мир подробностей и перечислений — имен, городов, яств, сортов сигарет и вин, запахов, марок автомобилей, видов спорта, мелодий, физических состояний возбуждения и похмелья. На самом деле, это мир незабвенной давней прозы Василия Аксенова, которому Рейн — всей атмосферой своего поэтического бытия — порою оказывается ближе, родственнее, чем своим друзьям и единомышленникам в поэзии:

Год за годом приходили гости,
год за годом говорили гости,
пили пиво, чай, молоко и водку,
повторяли смешные словечки:
"мандриан", "шагал", "евтушенко",
"он уехал", "она уехала", "они уезжают",
"кабаков", "сапгир", "савицкий", "бродский",
"джексон поллак", "веве набоков", "лимонов",
и опять — "уехали", "уезжают", "уедут"...

В этом кругу особенно уместна цитата — и Рейн не гнушается ею, только цитирует прямолинейнее тех же, скажем, Кушнера и Бродского: либо тут же, в стихах, нарочито отсылая к первоисточнику, либо перефразируя и раскавычивая общеизвестное, воскрешая в памяти то Пастернака ("Ты читаешь вполголоса..."), то Бродского ("Мимо еще чего-то, мимо, мимо, мимо...", "За десять лет два раза — тот же день, шестого мая, было воскресенье..."), то Самойлова ("Сороковые, роковые, совсем не эти, а другие... И это все со мной случилось и лишь потом во мне очнулось..."). Последняя отсылка — "случилось — очнулось" — уже совсем близка основной теме Рейна: памяти. Ибо главное его поэтическое время — прошедшее.

Установка Рейна — рассказ, воспоминание. В триумвирате¹, о котором все чаще приходится говорить, Бродский—Кушнер—Рейн четко прослеживается распределение ролей: Бродский утверждает истины ("Что сказать мне о жизни?..."), Кушнер фиксирует мимолетное ("Одну минуточку, я что хотел спросить..."), Рейн рассказывает, как все было или могло быть ("Так что хочу тебе я рассказать?..."). Последний при этом сам же себя подначивает, разоблачает, провоцируя читателя не всегда доверять рассказчику ("— Да ты все врешь... — Вру, но не все, послушай...").

Однако балагурство, застольное хвастовство, пыл рассказа, когда и приврать не грех, — все "съедается" читателем, покоренным мощным потоком пронзительных воспоминаний:

Еврейский мальчик, сызмальства отличник,
насобиравший сто похвальных грамот
и кавалер серебряной медали,
способный, умница, любимец деканата,
уже открывший пух и прах карьеры,
уже отпивший мутного портвейна
хрущевской оттепели,
сочинитель легких
и нервных молодых стихотворений,
где размешались кровосгустки джаза
на ленинградской мертвенной водиче,
где западные узкие наклейки
перешивались на шевьют советский,
но вовсе не стихами, а стежками
суровой рыхлой прозы жизнь скреплялась...

В кинематографе жизни поэт сидит не в зале, а в будке кино-механика, и, когда зрители расходятся, он может снова и снова прокручивать прошлое, то останавливая ленту, то вырезая себе на память особо полюбившиеся кадры. Вот они: футбольное отрочество, когда юный герой играл в защите, и эта метафора — "оберегать, охранять, отстаивать, заступаться" — становится стержнем поэтической традиции; молодость, когда "мы гремели цепью", но были куда свободнее, чем ныне, когда появились (по блестящей ахматовской формулировке) "друзья последнего призыва" и любви, бросающие горький отсвет на ненаступившее будущее. Поэт сводит бесконечные и нередко сладостные счета с самим собой: мальчик, отрок, юноша — для каждого своя ипостась, своя роль — "громовержец, шептун, сластолюбец, стоик".

"Припомни всех — столь многие забыты". Это написано, судя по дате под стихотворением, в 1972 году. Что же говорить о сейчас?

"А новый день похож на старое лекало.."

Сейчас — то самое время, когда воспоминания укладываются, выравниваются, когда можно найти местечко для новых, еще более нежных и горьких.

Вот и все... играет радиола,
и опять "Цветущий май", и снова
эта же проклятая пластинка...
Может, нет других мелодий в мире?
Ржавая иголка через силу
повторяет: "Нету, нету, нету!"

Настоящее время — это время глаголов одного ряда: "Я помню...", "Повторяю...", "Я понял...". Или — с противоположным знаком — "Ничего не знаю, никого не помню". Чаще всего — "Теперь уже не припомнить... Теперь уже не собраться..." Почти все эти слова обращены к эмигрировавшим друзьям, к ушедшим любимым, к юности, снабдившей автора изрядной долей горечи и иронии:

Будет срок — и повесят на Доску почета
или даже утопят в зачуханном понте.
Но когда я иду на Васильевский остров
и гляжу, как задымлено невское небо,
я все тот же, все тот же огромный подросток
с перепутанной манией дела и гнева.

Известно, что поэт определяет афористичность мышления. "Перепутанная мания дела и гнева" — одно из глубинных определений поколения шестидесятых. Равно как и другое: "Все пустое, как окна при вечном ремонте". В стихах Рейна предостаточно этого вечного ремонта, руин, пыли, разрухи. На их фоне и проходит современная жизнь: тщательные воспоминания, разлуки, беглые общения — с соседями, друзьями, попутчиками, "толчея толчей" большого города:

Великих городов
тем и велик разброд,
что падаль от плодов
никто не отберет.

При всей суетливости такой жизни есть в ней щемящая искренность, но в то же время — все тот же экивок на возможное балагурство. Или — кокетство: "прожил ты жизнь по привычке", — сетуя, обращается к себе автор. Многим бы такую жизнь и такую привычку! Своего рода кокетство как оборотная сторона искренности естественно в стихах: оно оттеняет личность.

Не клади мне на руку
изумруд отточенный,
знаю по каталогу:
все у нас окончено.

Здесь "каталог" — своего рода проговорка собирателя, коллекционера, для которого опись, перечень, каталог подчас важнее живой реальности.

В этой жизни рядом с повседневными удачами и потерями органично присутствует и нечто большее — на уровне судьбы, поколения, страны. Политические аллюзии не занимают существенного

места в лирике Рейна. В отличие от достаточно прямолинейных формулировок Бродского ("Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря") или Кушнера ("Какая удача родиться В такой необъятной стране"), все его отношения с империей, страной, властью достаточно беглы и ироничны:

Я славлю Тебя, Государство!
Твой счет без утрат и прикрас,
Твое золотое упрямство,
С которым мы помнишь о нас.

История присутствует как очередной рассказ, байка, хотя, в основном, с горьким привкусом: "Над люлькой моей приплясывал террор...", "О, родина моя, не узнаешь, не знаешь, И все-таки, я твой..."

Эта ниточка из прошлого в настоящее — самая незаметная, но возможно, и самая крепкая: она определяет будущее.

"Календарь закрыт, и не будет завтра..."

Хотя, как это ни удивительно, в поэтическом мире Евгения Рейна нет будущего. В лучшем случае, это "будущее в прошлом", грамматика, *futur dans le passé*, это память о тех временах, когда больше всего думалось и мечталось о будущем. Или — уже "законченные" представления о грядущем, которое не может наступить: "Не может быть, не может быть, но все же понадеемся"... "Мы думали: все еще будет, а вышло, что все уже было."

Есть у Рейна стихотворение "Предпоследнее свидание", три заключительных строфы которого словно слепок с трех времен мира поэта — вчера, в которое "нет возврата", "увязший в прошлом коготок" сегодня и "поминальный свет заката" завтрашнего дня:

Все решено, и нет возврата
на день — не то, что на года.
Давно оплачена растрата,
давно окончена страда.

Но жизнь оставила им что-то:
осадка темного глоток,
мотив избитый на три счета,
увязший в прошлом коготок.

Не много. Хватит иль не хватит,
когда судьба сойдет на нет,
когда их заживо окатит
заката поминальный свет?

Поэзия Рейна — поэзия прощания, поминовения, очищения. К такой поэзии читатель приходит с возрастом. Юности — о которой столько у Рейна написано — больше нужны слом, сдвиг, провидение. Мне, принадлежащему к поколению сорокалетних, но успевшему вдохнуть воздух шестидесятничества, да, собственно, возросшему на нем, трудно судить, насколько лирика Рейна может быть близка младшим поколениям. Между ними и нами куда больший разрыв, чем между нами и идущими впереди. Водораздел лежит там, в шестьдесят восьмом году, после которого европейское сознание пошло по новому пути. Общий поток не миновал и Россию, только, по обычаю, бросил на нас зловещие отблески — сначала чешских событий, потом внутренней реакции.

Однажды после замечательного авторского вечера Евгения Рейна в ленинградском Доме ученых произошел знаменательный разговор двух молодых слушателей — в духе персонажей самого поэта. "Ну как, вам понравилось?" — спросил один. "Но зато как хорошо!" — ответила его собеседница. В этом "но" читатель может прочесть всю амплитуду чувств, которая не требует расшифровки.

Рейн, "защитник" и "охранитель", неколебимо исповедует поэтику шестидесятых: будь то богатейшие корневые и аллитерационные рифмы или раздолье белого стиха. Собственно, именно эти богатства он передает будущему. Равно как и собственную интонацию, про которую несколько витиевато, но достаточно точно сказал Александр Межиров: "Его поэзия существует за счет глубокого ритмического дыхания, ритмического мышления, "набата в интонации", звука, то есть формы, которая и есть содержание".

Современная русская поэзия в очередной раз вращается в эпоху пересмотра своих ценностей. Не исключено, что в этом смысле Евгений Рейн — поэт пограничный. Нам хорошо видно, что он принес из вчера, что добавил от сегодня. Хорошо бы понять, как все это преобразится завтра, когда, по его словам и с его умудренной оглядкой на прошлое, "жизнь поднимется, как прежде поднималась".

Михаил ЯСНОВ

Коротко о книгах

Сергей ПРОКОФЬЕВ

ДНЕВНИК-27

Париж, "Синтаксис", 1990.

Вышедший накануне Прокофьевского года, "Дневник-27" интересен и вне зависимости от любых юбилеев. Олег Прокофьев, сын композитора, в своем предисловии справедливо оценивает дневник (доставшийся ему в 1989 году после смерти матери) как "редчайший и уникальный документ". Перед нами описанная самим Сергеем Прокофьевым его первая, после отъезда из России в 1918 году, поездка. В предисловии отмечено, что композитор "вел дневники с детских лет почти до сорокалетнего возраста", но только этот, в котором описано пребывание в СССР с 19 января по 24 марта 1927 года, композитор взял труд (видимо, предполагает сын, сразу по возвращении в Париж) перепечатать на машинке, причем те дни, в которые он не вел свой "сокращенный дневник", восставил по записям жены и "другим документам". "Это означает, — делает вывод Олег Прокофьев, — что подобный детальный дневник имелся в виду с самого начала поездки в Советский Союз и что этой поездке придавалось все время особенное значение".

Поскольку дневник, даже и превращенный в машинопись, для посторонних читателей явно не предназначался, следует прийти к выводу, что столь особое к нему отношение таит некую "сверхзадачу". Рискнем ее сформулировать, надеясь не слишком отклониться от истины. Возвращаясь на родину, композитор, должно быть, для себя самого хотел трезво взвесить все "за" и "против" новой действительности — даже если окончательное возвращение тогда еще не входило в планы. Дневник мог послужить тому, чтобы нахлынувшие впечатления не стерли друг друга и баланс их в конечном итоге не исказился.

Похоже, что баланс прокофьевского восприятия советской действительности в целом оказался для нее положительным. Недаром, как говорится в предисловии, "эта поездка была очень важна, так как после нее начинаются его, С.Прокофьева, регулярные посещения СССР, завершившиеся окончательным переездом туда, в 1936 году".

У кого-то мне недавно довелось читать примерно следующее рассуждение, относящееся к годам, наверное, начиная с тридцатых: настоящий привилегированный класс в СССР — не кремлевские и прочие начальники, а художники, писатели, музыканты и т.п., советская "творческая интеллигенция", или, точнее, ее верхушка. В

27-м году это еще не так наглядно: творческая элита еще не до конца расслоена — по критерию купли-продажи, но не только по нему одному — на тех, кто станет "новой аристократией", и тех, кого в лучшем случае будут "бить рублем". Поэтому тогда, скорее с объективно-профессиональной точки зрения, Прокофьев мог констатировать, что он в СССР не пропадет — ни как композитор, ни как пианист, — что его сочинения здесь хотят играть, его оперы и балеты хотят ставить. С критиками-консерваторами, до революции нападавшими на его сочинения, Прокофьев встречается как человек, одержавший победу по всему фронту, в т.ч. и в советских концертных залах и музыкальных издательствах.

Есть, конечно, темные стороны у советской действительности: арестованный ("ни за что") кузен, которому Прокофьев пытается помочь — со всей ненастойчивостью эмигранта, боящегося, что вместо помощи повредит и брату, да и себе самому; тяжелые материальные условия, в которых живут, за малыми исключениями, все друзья и родные композитора; возможное подслушивание телефонных разговоров и разговоров в гостинице через стенку (в "микрофоны" Прокофьев не верит и — в 27-м году — возможно, прав). Но, кроме очень сильного страха перед пересечением латвийско-советской границы, когда композитор почти готов повернуть обратно, все дальнейшее Прокофьев переживает без особых волнений. Концерты, встречи с коллегами, с музыкальной молодежью захватывают его полностью, в этом его жизнь *rag excellence*, а все остальное — быт, к которому существует первоочередное требование: по меньшей мере, не мешать, не раздражать, давать возможность работать.

В "Дневнике-27" весьма ощутима та специфика личности Прокофьева, которую можно было бы назвать аполитичностью, равнодушием к политике в ее советском смысле слова (т.е.: Ты "за" или "против" советской власти?!), но аполитичность и равнодушие профессионала, для которого государственное устройство — бытовая деталь. В 27-м году в СССР композитора из всех сил уговаривают срочно написать сочинение к 10-летию Октября и вернуться к юбилею, и он без удовольствия рассказывает, как извернулся, чтобы отказаться. В 37-м ...— дневников нет, и трудно узнать, уговорил ли его кто-нибудь или Прокофьев сам вздумал написать кантату к Двадцатилетию Октября в 10 частях для симфонического оркестра, военного оркестра, оркестра аккордеонов, оркестра ударных инструментов и двух хоров на тексты Маркса, Ленина и Сталина. Но, наверное, сам: об этом можно судить и по экзотичности состава, и по тому факту, что кантата... не исполнялась. (Может быть, к ней применили уже выкованную формулировку "сумбур вместо музыки", но следы этого мне неизвестны.)

В одном из музыкальных обзоров, которые я в прошлом вела в "Русской мысли", мне уже случилось отметить, что в годы, когда и Прокофьев, и Шостакович пали жертвой известного постановления и усердно писали советскую агитационную музыку, Прокофьев писал все равно прекрасно, а Шостакович — чудовищно (достаточно сравнить кантаты "На страже мира" и "Песнь о лесах"). Трагик Шостакович и мучился, с одной стороны, и, с другой, пытался искренне ("становясь на горло") отдаться агитке — Прокофьев оставался, превыше всего, профессионалом. Потенциально — олимпийцем, хотя до конца быть олимпийцем в его обстоятельствах было трудновато. На мой взгляд, эта тенденция его личности (какую не стоит судить ни отрицательно, ни положительно, но видеть ее с музыкой Прокофьева) отчетливо проявляется в "Дневнике-27".

Дневник, конечно, очень интересен и описанием массы событий и фактов — включая их закулисную сторону, не попавшую на страницы "Современной музыки" и других изданий, освещавших гастрольную поездку Прокофьева. Но все-таки, когда автора зовут Сергей Прокофьев, то главный интерес — личность автора.

В заключение о "ложке дегтя", без которой, увы, не обошлось. По изобилию опечаток "Дневник-27" ставит рекорды даже на нашей, скудной внимательными корректорами эмигрантской ниве. Можно было бы, конечно, подумать, что опечаток наставил в своей машинописи композитор, а издательство в священном трепете решило не исправлять их и воспроизвести все до одной. Но нет: опечатки свирепствуют и в примечаниях.

Н.Г.

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА

Переводы Сергея ТХОРЖЕВСКОГО

Л., "Художественная литература", 1990.

Эта тридцатистраничная книжечка издана "за счет средств автора", т.е. в данном случае переводчика. Из чего можно сделать несомненный вывод, что переводы для Сергея Тхоржевского и уж, во всяком случае, эти польские переводы — дело жизни, а не, в первую очередь, предмет заработка. Более того, хотя я и не знаю, публиковались ли ранее какие-то из переводов, напечатанных в этом сборнике, но по составу авторов предполагаю, что в большинстве — вряд ли.

Каждый переводчик, собрав под одну обложку стихи поэтов той или иной страны, предлагает нам свою картину поэзии этой страны, даже если отбор определяется тем, что удалось, "перевелось". Правда, в случае Польши (как и других восточноевропейских

стран) это еще может быть очень важная и ставшая в наши дни в СССР возможной дополняющая картина — той поэзии, которая в самих этих странах, а следовательно, и в Советском Союзе постоянно или в определенные периоды находилась под запретом, а потому осталась совсем или почти не переведенной. Поэтому, скажем, из "скамандритов" в сборнике Тхоржевского нет ни Тувима, ни Ивашкевича, переводившихся на русский вдосталь, зато есть оппозиционер своих последних лет жизни Антоний Слонимский и эмигранты Ян Лехонь и Казимеж Вежинский¹. Эмигранты вообще составляют больше половины авторов сборника, если считать осевшего в 80-е годы во Франции Збигнева Герберта: кроме названных, еще Тимотеуш Карпович и, конечно, Чеслав Милош.

Стихами Милоша, вопреки принятому в нем порядку размещения поэтов по датам рождения, открывается сборник. Это понятно — к тому же переводчик, видимо, хотел начать всю книгу не просто стихами Милоша, стихами Нобелевского лауреата, а именно знаменитым стихотворением "Ты, который обидел", высеченным на гданьском памятнике жертвам кровавого подавления рабочих волнений в декабре 1970 года. С этим стихотворением у русских переводчиков беда: в 13 строк (неполный сонет) нужно вместиť и милошевскую строгую форму, и точные, почти дидактические формулировки. Ни один из известных мне переводов полностью не адекватен оригиналу, зато, если бы собрать их вместе: мой собственный, которым я так до конца и не довольна, Льва Лосева, сделанный с английского перевода(!), и вот теперь появившийся Сергея Тхоржевского, то русский читатель не только поймет, но и почувствует, о чем идет речь у Милоша.

Второе стихотворение Милоша "Баллада", с посвящением Ежи Анджеевскому, содержанием своим посвящено памяти Тадеуша Гайцы (тут, кстати, написание Гайцы ничем не оправдано), молодого поэта, погибшего в Варшавском восстании. Хорошо передана горестная, полуфольклорная мелодика оригинала, в переводе естественно напоминающая "Песни западных славян", но на примере этого стихотворения особенно убеждаешься в одном существенном недостатке сборника: отсутствие в нем каких бы то ни было примечаний неизбежно вызовет у читателя массу вопросов и недоумений.

¹ В соответствии с официальной советской транскрипцией, автор пишет "Вежиньский", что совсем необязательно: в данном случае фонетическая транскрипция вместо традиционной была придумана явно для того, чтобы одни и те же русские и польские фамилии сделать разными, разделяя мягким знаком даже родственников. Притом Тхоржевский отдает дань традиционной транскрипции, когда пишет Збигнев Герберт, а не Херберт, и тут я готова согласиться с ним и не отстаивать привычное мне написание.

Кто такой Гайцы? Какое восстание? Почему "говарят, ты неправое дело защищал"? Таких, как я, читателей, которым известны ответы на все эти вопросы или известно, кто из вошедших в сборник поэтов эмигрировал, когда и почему (а биографических справок об авторах тоже нет, только годы жизни), — раз-два и обчелся.

Подозреваю, что все это не совсем вина переводчика. Объем сборника наверняка, по причинам и бумажным и денежным, надо было ограничивать — и, конечно, жалко уменьшать количество стихов за счет примечаний. Будем надеяться, что это не последняя "польская антология" Сергея Тхоржевского.

А в этой, ныне вышедшей, как самую большую удачу следует отметить переводы из Витольда Домбровского. Он — можно было бы сказать, непомерно со своим местом в польской поэзии XX века — представлен в сборнике больше всех прочих (16 стихотворений против 20-ти остальных семи поэтов). Но тому есть две, и обе веские, причины. Во-первых, Витольд Домбровский был одним из лучших переводчиков и популяризаторов русской поэзии в Польше, за что мы все перед ним в долгу, и хорошо, что нашелся кто-то отдать этот долг. Но это еще соображения рациональные, а следовательно, далеко не достаточные. Что важнее (для того, кто переводит), Домбровский, вскормленный на русской поэзии и поэтике, нередко прививает ее польскому стиху, и тот русский, который читает его стихи, ощущает нечто пронзительно родное, а если он переводчик — манящее перевести. Причем это, отметим, хоть и стимулирует, но вовсе не облегчает работу переводчика.

Некоторые стихи Витольда Домбровского, как например, это:

... уже архитектура четко
все в геометрию свела
и вижу сквозь квадрат решетки
чего добиться не смогла

как я немисливо обкраден
отнять и стрекозу и клен
отнять последних пять ворон
последний лист чего-то ради

что ж обескровь меня жестоко
двинь ветром с четырех сторон
но колокольный это звон
иль только дребезжанье стекол...

— выглядят просто написанными по-русски, теряют даже малейший привкус "переводности". И это, наверное, самая большая похвала для переводчика.

Н. Горбаневская

Вадим ГАРДНЕР

У ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Избранная лирика

Хельсинки, "Гранит", 1990.

Вадим Гарднер, русский поэт, родившийся в России в 1880 году и умерший в 1956 году в Финляндии, — один из последних представителей романтизма, дворянской чистой лирики, сделавшейся уже в ту эпоху почти невозможной. Он донес до наших дней тот тютчевский, фетовский словарь, звучащий теперь как-то совсем далеко, отчужденно и странно: "золото лунное", "голубую мглу", "дивный покой", и легчайшую, незлобивую и благородную ностальгию:

Я вспомнил пруд, туман и вечер бездыханный,
— Лягушек голоса сквозь пар и тишину;
— Кусты акации, жасмин благоуханный;
— В бассейне у дворца июльскую луну.

Негромкий голос его поэзии трогает душу, как тонкое прикосновение невесомого пера маленькой певчей птицы, как холодок голубых бус бунинской "Грамматики любви". Изданный в Хельсинки с очень интересным, пространным предисловием составительницы Темиры Пахмусс, сборник поэта содержит наряду с изданными еще в дореволюционной России стихами многие неизданные произведения поэта и представляет несомненный интерес для любителей русской поэзии.

Г.П.

Семен БЕНЬЯМИНОВ

КУМАЧЕВЩИНА

Стихи

Нью Ингланд Пабл.Ко., 1990.

В сборник "Кумачевщина" вошли стихи, помеченные началом шестидесятых годов, то есть книжка почти историческая. Написанная молодым, скорее всего, поэтом без всякого расчета на публикацию ввиду ПОЛНОГО ОТСУТСТВИЯ требуемой от поэта партийности, поэзия эта обладает зато хотя и нарочитой, но самой захватывающей народностью. Автор нередко достигает высоты бес-

смертных образцов безымянного фольклора, творцов которого правительство щедро поило водкой, лишь бы они молчали, но которые, испив чарку, с неизменной неподкупностью слагали в адрес того же правительства очередной непочтительный куплет:

Наша доля власть советов
плюс электрификация.
Остальное под запретом,
ибо — провокация.

Переменяя бойкий ритм частушки с тлетворным влиянием Хармса, Олейникова и свободного западного стиха, автор иногда предлагает нам пейзаж сельский:

Убегал одинокий волк от скачущего сверху самолета
и в тоскливой избе шла семейная проба самогона,

— и городской:

Участковый пьяного волочит,
тянет долго, тянет далеко.
Участковый тоже выпить хочет,
быть собакой тоже нелегко.

Поэзия Семена Беньяминова относится к самому началу возникновения того культурного пласта, сознательно создаваемого в противовес официальному, поневоле используя тот же материал, сюжеты и краски.

Г.Погожева

По страницам журналов

"СВОБОДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЧЕШСКИХ РУСИСТОВ"

Свободное объединение чешских русистов в Праге выпускает на чешском языке свой периодический журнал с тем же названием, издаваемый, как указано на титульном листе, при содействии "Коллегии в поддержку независимой науки, искусства и образования". Объем журнала небольшой (всего 60 страниц вместе с прилагающимся резюме на русском и английском языках), внешний его облик также не претендует на представительность — здесь нет ни глянцевого бумаги, ни качественной печати, ни цветных иллюстраций. Однако эти факторы не отразились на содержательном разнообразии журнала, тематически соответствующего всем трем направлениям деятельности указанной Коллегии. Ориентирован журнал, на наш взгляд, в большей степени на "подготовленного" читателя — русистов-профессионалов, филологов, историков культуры. Вместе с тем очевидно, что цели составителей журнала не ограничены рамками сугубо профессиональных интересов, но включают в себя и просветительские задачи — привлечение интереса к наиболее значительным именам и явлениям в истории российской словесности и культуры.

Предлагаемый вниманию читателя номер содержит как оригинальные статьи, так и перепечатки из других изданий (советских, западных и чехословацких) разных лет. Среди перепечатанных материалов прежде всего следует отметить публикацию отрывков из дневников Даниила Хармса 1933—38 гг. вместе с сопроводительной статьей Владимира Глоцера (из журнала "Книжное обозрение", 1990/3). При этом чешские составители не только снабдили документальные материалы подробными текстовыми комментариями, но и существенно дополнили их дневниковыми записями Д.Хармса того же периода, опубликованными Й.П.Жаккаром в парижской "Русской мысли". Завершает публикацию дневников статья Ондржея Мразека, подвергающая достаточно жесткой, но убедительной критике упомянутую статью В.Глоцера за ряд фактических неточностей, касающихся творческой биографии Хармса. Думается, что сторонний взгляд чешского автора верно подметил и тот факт, что многие советские публикации последнего времени (в том числе и статья Глоцера о Хармсе), связанные с открытием заново ранее запрещенных имен отечественной культуры, зачастую окрашены странным "героико-патетическим пафо-

сом", "трагедия человеческой судьбы вновь преподносится в виде оды героизму советских людей".

Из перепечатанных материалов обращает на себя внимание и статья Абрама Эфроса "Дада и дадаизм", опубликованная в журнале "Современный Запад" в 1923 г. В статье прослеживается история возникновения дадаизма и особенности его проявления в немецкой и французской поэзии. Причины того, что в России это течение так и не получило широкого распространения, А.Эфрос ищет в сопоставлении поэтики дадаизма и "самовитого" слова и звука в поэзии Хлебникова. В противовес попыткам многих исследователей найти аналогию между литературным дадаизмом и русской "заумной" поэзией, А.Эфрос приходит к однозначному выводу: "Россия не знала течения дадаизма".

По советским и западным изданиям журнал чешских русистов знакомит читателя с последними событиями в русской культуре. Это, например, серия перепечатанных материалов из одного номера журнала "Флэш арт" (1990/1), среди которых: полный текст речи Иосифа Бродского по случаю вручения Нобелевской премии за литературу; теоретико-психологический анализ Андрея Монастырского такого нового явления в зрелищно-игровом искусстве, как "коллективные действия"; "Монодиалог" советского поэта Дмитрия Пригова. Два материала представляют журнал "Огонек": статья В.Федорова "Эффект отсутствия. Психоделическая акустика работ Виктора Пивоварова", рассказывающая об одном из ведущих в свое время представителей московского "концептуализма" и основоположнике "пивоваровской" школы иллюстрации детских книг Викторе Пивоварове, и статья Бенгта Янгфельда, посвященная истории взаимоотношений Маяковского и Лилии Брик, где автор пытается разрушить тенденциозные стереотипы советского литературоведения, "десятилетиями стремившегося устранить Лилию Брик из биографии Маяковского". Из журнала "Горизонт" (1989/3) печатается обращение Лидии Чуковской "Михаилу Шолохову, автору "Тихого Дона", написанное в 1966 г. в связи с выступлением Шолохова на XXIII партсъезде, где он требовал применения самого сурового наказания к писателям Даниелю и Синявскому.

Обращаясь к "собственным" материалам чешского журнала, нельзя не выделить большую подборку, посвященную замечательному чувашскому поэту Геннадию Айги, к сожалению, до сих пор еще мало известному широкому читателю в СССР. Это интервью с Г.Айги Томаша Гланца, сделанное в Москве в 1990 г., рассказ Антуана Витеза о встречах и дружбе с поэтом, размышления о друге и земляке чувашского педагога Ген.Волкова, статья Томаша Гланца "Заметки к детскому сборнику Г.Айги "Тетради Вероники". В интервью Г.Айги вспоминает о долгой эпохе подпольной культуры, в условиях которой появилось и жило "братство" попавших, как и он, под запрет талантливых художников, поэтов, музыкантов. В то

время как в Москве только теперь подготовлена к изданию книга стихов Айги, на Западе его имя знают давно. Антуан Витез причисляет Г.Айги, "неизвестного в СССР, но признанного за его пределами", к числу "крупнейших современных поэтов". Кстати сказать, журнал "Континент" был одним из первых зарубежных изданий, опубликовавших его стихи.

Еще одним членом подпольного "братства", о котором упоминает Г.Айги, был художник Вл.Яковлев, тоже замеченный сначала не у себя дома, а за границей. Публикуемая в номере журнала чешских русистов статья Йиндржиха Халупецкого "Чудо зрения" об этом художнике вышла еще в 1967 г. в чехословацком журнале "Вытварне умени". В то время это была первая и единственная статья о творчестве Вл.Яковлева, которая тогда очень поддержала его. Это не просто рассказ о почти слепом художнике, написавшем тысячи полотен и впоследствии проведенном многие годы в сумасшедшем доме, а скорее философское эссе о творце с его непреодолимой жаждой "вернуть миру свободу".

Историко-научная часть номера представлена статьями по трем направлениям: философия, литературоведение, театр. В работе Карела Штиндля "Идея Воскресения в философии Федорова" учение Федорова о путях Воскресения России рассматривается в сопоставлении с философскими течениями Запада (Бергсон, Тайард и др.). Доклад профессора Карлова университета Иржи Франека вновь поднимает проблему аутентичности "Слова о полку Игореве". В нем поддерживается давняя и спорная теория о фальсификации текста "Слова", никогда не пользовавшаяся особой популярностью в русском и советском литературоведении, но, безусловно, интересная как факт научной полемики. Пользуясь аргументами некоторых чешских и западных славистов, И.Франек разделяет точку зрения, согласно которой поэтика "Слова" соотносима с периодом не раньше 18 века. Статья театроведа Георгия Коваленко исследует драматический факт из истории русского театра XX в. — встречу и причины разрыва Александры Экстер с А.Таировым и Камерным театром.

И наконец, еще одна серия материалов связана с историей русско-чешских культурных связей. Период их расцвета в области поэзии, литературы, филологической науки приходится на 20-е гг. Достаточно вспомнить знаменитый Пражский лингвистический кружок, собравший вокруг себя крупнейших ученых. Этот период рассматривает в своей статье "Хлебников и Голан" чешский автор Ян Йишпа, прослеживая преемственность русского футуризма в чешской поэзии 20-х гг., реформаторские процессы в которой связаны прежде всего с именем Голана (родоначальника чешского "поэтизма"), а также с новаторскими исследованиями филологов и переводчиков, с работами Романа Якобсона. Справедливости ради стоит вспомнить, что давние традиции русско-чешских культурных

связей не прерывались и в худшие времена, в период насаждения идеологии соцреализма в обеих странах. Маленькая заметка Мирослава Заградки знакомит читателя с одним из таких фактов — с тем, как в начале 80-х гг. в Чехословакии, несмотря на действовавшие тогда запреты на многие исторические реалии и имена, создавался "Словарь русско-чешских литературных связей". Символическим напоминанием о времени, когда Прага была едва ли не самым крупным в Европе центром славистики, звучит завершающая публикация номера — речь Романа Осиповича Якобсона, произнесенная им в Праге в 1969 г. по случаю окончания конференции, посвященной миссионеру славянской идеи Константину Философу.

По одному номеру, разумеется, трудно судить о том, что принято называть общей "политикой" журнала, как и о его уровне в целом. И все же хочется надеяться, что нынешним издателям и составителям журнала чешских русистов хватит настойчивости (и средств), чтобы такое издание действительно отражало и воссоздавало целостную современную и историческую картину культурного процесса, развития научной мысли в области русистики.

Марианна Семенова

ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА "ЗНАМЯ"

N 5, 6, 7.

Мне хотелось бы очень бегло остановиться на понравившемся мне рассказе "Поле" молодого автора Михаила Умнова.

"Поле подбиралось к торцу столовой на исходе сил, изорванно накатывалось на стену, вцеплялось в пазы, словно оглядываясь туда, откуда пришло, отделившись от небес. Если смотреть и смотреть, приставив ладонь козырьком, то виделась или просто мешалась соринкою в глазу запредельная сопка Чань. Я помню те места и время, отведенное мне, но, если сжать воспоминание, то из всей рыхлости массы, ускользнувшей меж пальцев, останется пустячный сухой комок, который можно легко растереть и сдуть или отдать это ветру, но и тогда сухость пыли передастся руке, и та станет похожей на дерево, вернее, на рисунок дерева, глядя на который нельзя, к счастью, понять, я подле него или он подле меня, я в нем или он во мне".

Рассказ Михаила Умнова хорош сочетанием абсолютной своей ненарочитости и одновременно какой-то импрессионистической дерзости. Он работает скорее деталями, намеками, но сквозь его "мелочи" ощущается целое, а сквозь его паузы и недоговоренности проступает серьезное драматическое чувство жизни, которому еще предстоит, как мне кажется, проявиться в будущем творчестве. Этот

короткий рассказ останавливает своей — хочется сказать — "небанаальностью". Он и прост, и сложен одновременно, его содержание настолько же буквально, насколько и символично, но главное: то впечатление страха, которое он оставляет, совершенно совпадает с тем впечатлением страха, которое оставляет сама жизнь. При чтении его осуществляется эффект узнавания, точности: да — то самое, да — правда.

Из поэтических публикаций мне запомнилась подборка Натальи Горбаневской — очень выразительная, очень человечная. Я думаю, что для советского читателя должно быть радостно всякое узнавание, всякое духовное приобретение (и, может быть, оттого, что так мучительна русская жизнь, что, кажется: во мраке и месиве ее не до культуры и не до духовных приобретений, такие появления чистой выстраданности и чистой человечности, облеченные в музыку стихотворной речи, особенно ценны, ведь благодаря им на мгновение все становится на свои места: и жизнь, и культура, и страдание!). Наталия Горбаневская говорит о пережитом, и не просто о пережитом — интимном, духовном, житейском, она говорит и о том, что прежде было — тайным, запретным, именуемым преступлением и наказуемым, теперь стало — переименованным (надолго ли, кстати?), возвращенным в ранг мужественности и смелости, но ведь она не просто говорит об этом, она говорит, имея большее право, чем остальные, право непосредственного своего поступка — выхода на Красную площадь в далеком уже теперь августе шестидесят восьмого года, через четыре дня после того, как советские войска вступили в Чехословакию.

"Пустынножительница, полонянка
Камней, уже не видных под вьюнками,
Как просто было дожидаться танка,
Идти навстречу с голыми руками."

Публикации Горбаневской — явление не только культуры и не только поэзии, это явление нравственной жизни, потому я и говорю о нем, как о приобретении, необходимом для людей во всякую пору, а тем более сейчас — "в годину горя"...

"Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом,
это я, это я, и вине моей нет искупленья.
Будет наглухо заперт и проклят да будет мой дом,
дом зла, дом греха, дом обмана и дом преступленья.
И прикована вечной незримою цепью к нему,
Я усладу найду и отраду найду в этом страшном дому,
в закопченном углу, где темно, и пьяно, и убого,
где живет мой народ без вины и без Господа Бога."

Меня саму иногда останавливает простая мысль: имеем ли мы, эмигранты, право равное с живущими в России выносить свои оценки и судить русские комплексы и недостатки? Не отнимает ли "прекрасное далеко" у нас хотя бы часть этого права? Честно говоря, я думаю, что с этической точки зрения эта проблема существует. Но не для всех. Но не для тех, кому это право досталось принесенными в честь России жертвами, на заплыванный алтарь русской чести сложивших личный покой и личное благополучие.

Со стихами Наталии Горбаневской (случайно ли, не знаю?) соседствует интереснейшая публикация Дины Каминской "Уголовное дело 41074 56 68 С" о суде над людьми, вышедшими двадцать пятого августа шестьдесят восьмого года на Красную площадь. Публикация эта воскрешает время, не изжитое, лишь ослабленное горбачевской эпохой, воскрешает характеры, как они проявились тогда, летом шестьдесят восьмого: "Они не реагировали даже на то, что их били, сидели, не поднимая головы. Не сопротивлялись, когда их били ногами, как будто это не они, как будто они на другом свете". И поскольку никто из нас не знает, что ждет нашу, "непонимаемую умом", трагическую Родину, никто из нас не может гарантировать, что в том или ином варианте не вернуться сталинские ли времена, пресловутая ли эпоха застоя, поступки, подобные этим, еще не скоро отойдут в область преданий, и справедливы заключительные слова Дины Каминской: "Но даже в самые грустные минуты серьезных разногласий я говорю себе: "Помни, это тот человек, который вышел на площадь..."

Журнал "Знамя" уделяет пристальное внимание истории. Большинство таких статей показались мне содержательными, весомыми. К числу их я отношу две очень яркие публикации: Юрия Фельштинского "Лев Троцкий. Ссылка, высылка, скитания, смерть" (опубликовано в июльском и августовском номерах) и Аркадия Ваксберга "Страницы одной жизни (Штрихи к политическому портрету Вышинского)" (май, июнь). Со страниц публикации Фельштинского звучит голос самого Троцкого, так как это подборка его дневниковых записей, завершаемая статьей газеты "Правда" "Смерть международного шпиона", появившаяся двадцать четвертого августа сорокового года, через два дня после гибели Троцкого. Мне только кажется, что работа такого рода нуждается в необходимом комментарии — и не столько фактическом, сколько психологическом. Целью подобного комментария мне видится некая расстановка правильных акцентов для того, чтобы в сознании малоискушенного читателя (а ведь приходится рассчитывать и на такого!) не сложилась картина жертвенной судьбы и рыцарского характера, в то время как речь идет об одном из самых отъявленных негодяев нашего столетия. Не хотелось бы, чтобы малоискушенный читатель, наткнувшись на лирические куски, вроде, например, :того: "Я вижу ярко-зеленую полосу травы под стеной, чистое голубое

небо над стеной и солнечный свет везде. Жизнь прекрасна. Пусть грядущие поколения очистят ее от зла, гнета, насилия и наслаждаются ею вполне," не хотелось бы, чтобы простодушный, угорающий от переизбытка свобод и информации читатель вдруг уперся лбом в мифологический образ "честного" большевика, с которым расправился дракон-Сталин.

Мое внимание привлекли также еще две работы: одна очень, на мой взгляд, удачная и менее удачная, а проще сказать — мало-удачная — другая. В первом случае я имею в виду статью Виктора Криворотова "Русский путь" (август), во втором Юрия Каграмова "О почвенности и всемирности" (майский номер журнала). Виктор Криворотов сумел динамично и жестко "вспороть" русскую действительность, осуществить некий как бы продольный надрез по российскому "позвоночнику". Его работа поделена на небольшие отдельные главы, название каждой из которых прямо обозначает ее содержание. В первой главе, названной "Корни рабства и свободы. Логика особого пути России," он пишет: "Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: общество, имеющее столь архаическую природу, никак не может называться социалистическим. Мы живем в сословном государстве древнейшего типа, известном каждому востоковеду. Увы, думая, что идем вперед, мы вернулись к заре человеческой истории и бесклассовость нашего общества не в том, что классы уже исчезли, а в том, что они еще и не появились." Исследование Криворотова подкупает своей трезвостью, своей внутренней бескомпромиссностью, он как бы невольно следует той формуле любви — ненависти к Родине, которую когда-то выразил Чаадаев, сказав: "Я думаю, что время романтических влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны Родине — истиной..." "Тезис о кризисе западного общества и об особом пути России в известном смысле увязаны с представлениями о русском мессианстве, о русской национальной идее, государственной по форме, но мессианской по содержанию... Неужели России для утверждения ее уникальности нужно "подмять" под себя Запад, что делает она пока без особого успеха, зато с заметным для себя ущербом? Почему бы не предположить, что и у других есть особые роли и что это благотворно влияет на весь мир и индивидуальность отдельных стран?" — пишет Виктор Криворотов. Эта точка зрения близка мне не потому, что я живу на Западе и с уважением отношусь ко всему большому, широкому Божьему миру, но еще и потому, что мне очевидна справедливость афористически выраженного Бердяевым положения: "Мы наиболее национальны, когда ищем из своей глубины правды и истины, а не тогда, когда только русское провозглашаем истинным и праведным." Юрий Каграмов, выступивший со статьей "О почвенности и всемирности", очевидно, придерживается другого взгляда на вещи. В его работе неприятно режет слух как раз эта ложно понимаемая национальная — не гордость, нет, гордыня,

— только выражена она слегка окольно — через унижение других, через нарочитое и неумное пренебрежение обобщений: "Погружение с головой в материальную обыденность, — утверждает Каграмов, — одна из западных традиций..." И еще: "Самый термин "открытость" был в ходу и раньше. Американцы считали и считают, что они народ открытый в противоположность некоторым другим — закрытым. Если иметь в виду внешнюю сторону, стиль общения, то, наверное, правда: сравнительно с другими они обычно более непосредственны, более дружелюбны. Но это не значит, что в них меньше ограниченности и самодовольства(?!). Традиционный американец (?!) зачастую открыт, так сказать, в одну сторону: он готов всех учить уму-разуму, более того, по своей доброте и простоте (первое, впрочем, необязательно!) наперед убежден, что всюду найдет благодарных учеников (пресловутое мессианство!) и крайне не расположен учиться чему-либо сам(?!)". Тот самый дух советских тридцатых — восьмидесятых годов, когда одураченному народу вливали в головы омерзительную идею постоянного соревнования — соперничества, вечной, тайной и явной борьбы — оппозиции еще — опасности, странным образом ожил и вытянул змеиную головку с раздвоенным жалом в "прогрессивных" рассуждениях Каграмова: "Сейчас, когда разбираются *баррикады* (не правда ли — "живучая" терминология? — И.М.), появилась возможность сравнивать напрямую: что есть у нас и что у них. Многие, очень многие сравнения оказались не в нашу пользу. Что ж, наверное, чем глубже уязвленность, тем лучше! *Вызов, по терминологии Тойнби, налицо*. Каково будет ответ?" Думаю, что тут даже и комментировать нечего. Как это в песне поется? "У советских собственная гордость"... Я не хотела бы, чтобы меня неправильно интерпретировали, поэтому добавлю к этому еще два слова: не о самоуничижении, не о надрывном покаянии, не о звонком битье себя в грудь идет речь (достаточно было и этого, и битья, и покаяний — тоже, между прочим, другая сторона медали!), речь идет об элементарном такте, о воспитанности в чеховском смысле этого слова. О не самонадеянности. Об уважении к другим. И, если хотите, об элементарной доброжелательности. Неужели советский человек не устал от своих комплексов?

К числу исторических публикаций можно отнести и такую, по прочтении которой просто леденеют руки. Нет, это не метафора. Я дочитала последние строки из архива Василия Гроссмана "Убийство евреев в Бердичеве" и почувствовала, что руки мои от ужаса стали совершенно ледяными. И, Господи, как же просто это написано! "Весь день длилось это чудовищное избиение невинных и беспомощных, весь день лилась кровь на глинистую желтую землю. Ямы были полны крови, глинистая почва не впитывала ее, кровь выступала за края ям, огромными лужами стояла на земле, текла ручейками, скапливаясь в низменных местах. Раненные, падая в ямы,

гибли не от выстрелов эсэсовцев, а просто захлебывались, тонули в крови, наполнившей ямы. Сапоги палачей промокли от крови, жер-твы подходили к могилам по крови."

Смысл этой публикации, конечно, не в ее художественной и не в ее архивной ценности. В стране воспрянувшего антисемитизма, в стране, бурлящей национальными междоусобицами, озверевшей от ненависти и бедности, в стране, где каждый стремится свалить вину на другого, отрезвляющий и милосердный смысл этих страниц, мне кажется, очевиден.

Отрадное впечатление производят многие статьи в "Знамени". Отрадное не *благодаря*, а *вопреки* их грустному содержанию. Отрадное, оттого что написаны. К числу их я отношу и статью Алексея Шмелева "По законам пародии" (И.Шафаревич и его "Русофобия"), появившуюся в июньском номере, и блестящую публикацию Натальи Ивановой "Возвращение к настоящему" (августовский выпуск), и воспоминание Александра Никишина о похоронах академика Сахарова (май), и мемуарную работу В.Новобранца "Накануне войны", и многое другое. Но на одной публикации мне хотелось бы остановиться особо. Я говорю о статье Каната Кабдрахманова "Люди на полигоне" (майский номер журнала). Для меня эта работа — выразительный пример того, что неважно, в каком жанре работает человек: в прозе, в поэзии, в публицистике. Талант и отчетливое понимание того, о чем и почему ты пишешь, что ты хочешь сказать, определяют результат созданного. Я начала свою рецензию разговором о слабой, подернутой пошловатостью прозе Айтматова и завершаю ее благодарным обращением к трагической, оставляющей ощущение отчаяния, безысходной беды и одновременно поэтичной, тонкой, ни на какие эффекты не рассчитывающей статье Кабдрахманова. Он пишет о ядерных испытаниях, проводимых в Казахстане. Пишет от лица всех пострадавших, всех умерших, всех наложивших на себя руки. "У наших домашних животных рождаются уроды: овцы с шестью ногами, с тремя ногами, с одним глазом. Но есть и дети уроды. Недавно приезжали с "Казахфильма", спрашивали акушер-гинеколога Шалабаеву Батен, снимали у нас в больнице. Она говорила, что с врачей брали подписку не говорить о детях уродов, которые то без лица рождаются, то с огромной головой и с маленьким телом. Теперь она плачет, когда рассказывает об этом. Она говорит, что наши женщины боятся рожать..." Да, он пишет от лица всех. От лица детей, родившихся без лица, от лица бессловесных домашних животных, от лица всего живого, принесенного в жертву. Но в этой множественности слившихся воедино разных голосов, стонов и хрипов, отчетлив его собственный голос, его доверительная и накаленная страданием интонация личной, долгой — в целую большую жизнь — беды: "Я немало пережил огорчений и немногого добился, чтобы нервно цепляться за жизнь, да и что моя жизнь, когда

умирает все вокруг. Но, стоя здесь, я понял, как это больно, когда умирает все живое. Далекое, близкое, виденное и нет. Как это страшно, когда безмолвно, потому что нет людей, обваливается крыша твоего младенческого дома, когда навсегда исчезает твоя нежная река..."

Я вряд ли ошибусь, если скажу, что в общем и целом ориентация журнала "Знамя" — благородна, что журнал этот сегодня абсолютно серьезен, нетруслив и отзывчив. Он рассчитан на прочтение свободным, вернее, лучше сказать, ищущим подлинной нравственной свободы человеком, которому хочется жить, думать, дышать — несмотря ни на что, несмотря на всю тьму и адский холод этой жизни, и которому так остро необходимы и добро, и помощь.

"Когда ты стоишь один на пустом плоскогорье под
бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот
или ангел разводит изредка свой крахмал,
когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал,
помни: пространство, которому, кажется, ничего
не нужно, на самом деле нуждается сильно во
взгляде со стороны в критерии пустоты. И сослужить эту
службу способен только ты."

(Из стихотворения И.Бродского "Назидание", опубликованного в июньском номере журнала).

И.М.

Наша анкета

ЭТО ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ

Беседу с главным редактором журнала
"Культура" Ежи Гедройцем ведет Наталья
Горбаневская

Парижская "Культура" — как само название журнала, так и имя его главного редактора Ежи Гедройца — в шестидесятые — семидесятые годы для моего поколения, да и для людей лет на десять старше и особенно младше нас, была легендой. И не только для тех (отнюдь немалочисленных), кто читал по-польски, тем более, что даже я, живя в Москве, видела всего несколько номеров журнала да пару книг, изданных в его "Библиотеке". Но были уже два "русских" номера "Культуры" (избранные тексты в русских переводах), и они ходили из рук в руки в самых широких кругах. Были какие-то упоминания в передачах "враждебных голосов" — все это и складывалось в легенду.

Действительность оказалась богаче легенды. "Культура" — это не только ежемесячный журнал "Культура", это еще и ежеквартальник "Зешиты хисторычне" ("Исторические тетради"), и целое издательство "Инстытут литерацкый" ("Литературный институт"). Собственно, и это — не только издательство, а крупный культурно-политический центр, занявший в жизни польского общества исключительное место. (Об истории "Культуры" см. статью Юзефа Чапского в 12-м номере "Континента".)

Стало уже, кажется, общеизвестным фактом, что редакция "Культуры" стояла у колыбели "Континента". И можно сказать, что ни с какими другими кругами никакой эмиграции (включая русскую) наше сотрудничество не было столь плодотворным, как с "Культурой".

Когда я позвонила Ежи Гедройцу и сказала, что хочу взять у него интервью для "Континента", он несколько удивленно спросил: "На какую тему?" (полагая, видимо,

что на все текущие вопросы я могу найти ответы в номерах "Культуры"). "Об эмиграции, — сказала я. — О сегодняшней роли эмиграции. Для меня Вы более, чем кто-либо другой, символ эмиграции — не только польской, но всей эмиграции из стран коммунистического блока".

— Пан Ежи, "Экс либрис", ежемесячное приложение к газетам "Жице Варшавы" и "Час краковский", недавно посвятил эмиграции специальный номер. В этом номере, кстати, что очень приятно, напечатана статья Виктора Ворошильского о "Континенте". И там же я прочитала статью представителя "Культуры" в Скандинавии, который говорит, что польская политическая эмиграция потеряет смысл своего существования, как только будут проведены свободные парламентские выборы. Вы тоже так считаете?

— Нет, я с этим не вполне согласен. Конечно, можно говорить об известной независимости Польши после того, как пройдут выборы в свободный парламент, но это еще всего не решает: новоизбранный парламент должен принять новую конституцию — сейчас никто не знает, как она будет выглядеть, — и только после этого следует провести новые президентские выборы. Это значит, что если Валенса и останется на посту президента, то будет избран в соответствии с законом, и само его избрание будет означать, что он прошел проверку у избирателей. Только после этих выборов можно будет говорить о каком-то конце эмиграции.

Вдобавок, для меня это не конец, поскольку и в дальнейшем, даже, скажем, при положительном отношении ко всем переменам, которые наступят, все равно остается масса дел, которые можно решить только на Западе с помощью эмиграции. Она может быть настроена в целом положительно, без принципиального отрицания уставляющегося строя, но она нужна.

Лучший пример — сегодняшние цензурные проявления, с которыми мы сталкиваемся все чаще. Есть целый ряд вещей, которых нельзя напечатать в Польше. Я уж не говорю о своей статье, которую "Свободная Европа" отказалась передать, а газеты "Жице Варшавы" и "Жеч-посполита" — напечатать; подробнее см. мой обзор "Культуры" в "Русской мысли" от 1 февраля 1991 г. -

Н.Г., но таких вещей все больше. Вот, например, Казимеж Орлось (автор романа "Дивная машина", напечатанного в NN 11—14 "Континента". — Н.Г.) написал очень резкое письмо в редакцию "Газеты wyborчей" по поводу Литвы, и сначала Адам Михник (главный редактор "Газеты". — Н.Г.) сказал ему — а у них вполне дружеские отношения, — что письмо, конечно, будет напечатано, а на следующий день оказалось, что для письма "нет места". Тогда Орлось пошел в "Жице Варшавы", и тут ему — прямо как это было со мной — сразу отказали.

Я знаю и другие случаи, но не могу сейчас привести фамилий, так как получил эти сведения в частном порядке. Так, например, не допустили в печать статью о польско-немецких отношениях.

— *В Польше сейчас, когда мы с Вами разговариваем, еще действует не свободно избранный и, следовательно, не представительный парламент. Однако президент Польской Республики в изгнании Рышард Качоровский вручил новоизбранному президенту Леху Валенсе хранившиеся в Лондоне символы президентской власти. Сделан также ряд других шагов, свидетельствующих о том, что лондонские власти в изгнании признают сегодняшнюю Польскую Республику прямой и законной наследницей довоенной Республики — Второй Речи Посполитой. Как Вы к этому относитесь?*

— Я отношусь к этому критически. Проще говоря, это должно было произойти только после парламентских выборов, так что не следовало с этим так спешить. Сейчас они передают в Польшу государственную казну, передают все находящееся в Лондоне польское имущество и до конца года намерены передать все. Между тем, есть целый ряд эмигрантских учреждений, которые, по моему глубокому убеждению, должны сохраниться, ибо они обладают огромным культурным значением, и продолжение деятельности которых из Польши никто обеспечить не сможет. Это, прежде всего, Исторический институт имени Сикорского в Лондоне, Польская библиотека в Париже и Польская библиотека в Лондоне. Эти культурные центры должны быть материально обеспечены на будущее. Значит, если даже лондонский политический центр ликвидируется, деньги должны пойти на деятельность этих учреждений.

— Если я правильно поняла, президент Качоровский обещал передать символы президентской власти после того, как пройдут не только президентские, но и парламентские выборы, но после выборов президента изменил свое решение...

— Нет, он этого так прямо не говорил. Были такого рода резолюции Национального Совета, которые он принимал к сведению, но по конституции — и это Качоровский ясно сказал в США, где был перед выездом в Польшу, — такое решение входит в полномочия президента, который не обязан ни с кем консультироваться. Так что формально он имел право так поступить, но верно, что он сделал это, не консультируясь ни с какими эмигрантскими политическими центрами.

— В этом году исполнится 45 лет "Институту литерацкого", 44 года "Культуре". Можете ли Вы припомнить на протяжении всех этих лет какую-то фундаментальную ошибку, допущенную редакцией журнала, какое-либо серьезное заблуждение, которое пришлось тяжким трудом исправлять, чтобы вернуться к линии "Культуры"?

— Нет, такого случая не было. Была, конечно, одна принципиальная ошибка. В 1956 году мы выразили поддержку Гомулке. У нас были иллюзии насчет возможности какого-то "социализма с человеческим лицом" или "коммунизма с человеческим лицом". Но эти иллюзии продолжались недолго — до закрытия еженедельника "По просту". Как только Гомулка закрыл "По просту" и начал восстанавливать всяческие партийные ограничения, мы отказали ему в доверии. Но, пожалуй, за все время это была единственная серьезная и, к тому же, тактическая ошибка. В целом, по-моему, наша линия всегда была правильной. Что это значит?

Это значит, что важнейшими вопросами для нас всегда оставались, во-первых, независимость Польши, дело первостепенной важности, а с другой стороны — нормализация отношений с соседями. То есть, если речь идет о России, мы боремся против коммунизма, но мы хотим нормализовать польско-русские отношения, так или иначе необходимые нам в будущем. То же самое, если говорить о нормализации отношений с Германией. Есть также мно-

гочисленные трудности в польско-литовских отношениях: вопрос Вильнюса и т.д. Это все дела, эмоционально очень весомые, в том числе и для меня самого: я сам родом из тех краев, и для меня все эти разногласия между Польшей и Литвой были и остаются весьма горестными, но их надо урегулировать. Я сам чувствами сильно связан с Вильнюсом, но понимаю, что Вильнюс должен быть литовским, точно так же, как Львов, несмотря на несколько веков польской истории, связанной со Львовом, должен быть украинским.

— *Следует, конечно, вспомнить, что, сделав огромный вклад в нормализацию польско-русских отношений, "Культура" одновременно напоминала, что между Польшей и Россией лежат еще Украина, Белоруссия, Литва...*

— Если говорить о стремлении к независимости таких стран, как Украина или Литва, то мы его в высшей степени поддерживаем. Но не надо забывать и о ряде возникающих проблем. Так, если мы говорим о Белоруссии, то надо отдавать себе отчет, что русификация здесь зашла очень далеко, и я сегодня не знаю, не слишком ли поздно говорить о независимости Белоруссии. Когда же речь идет об Украине, тоже приходится считаться с тем, что значительные площади Украины, особенно левобережной, в большой степени русифицированы. Поэтому мы всегда настаивали — и наше заявление об этом было напечатано в "Континенте" (12 — Н.Г.), — чтобы по этим вопросам проводился плебисцит. Нельзя требовать, чтобы границы Украины проходили так, как они себе это представляют, — это вопрос воли населения. Есть целый ряд областей, которые хотят быть в составе России, чувствуют себя связанными с Россией, и это необходимо урегулировать.

— *Вернемся к нашим журнальным делам. Вы знаете, что "Континент" теперь печатается в Москве — кстати, после двух номеров, напечатанных в Польше. Каждый номер в полном объеме готовим мы, парижская редакция, — по условиям, какое бы то ни было цензурное или иное вмешательство со стороны издательства исключено. При этом вместо трех тысяч мы имеем сотысячный тираж. "Культура" много лет полностью или частично переиздавалась в Польше подпольными*

издательствами. Теперь она издается легально. Как Вы относитесь к изданию "Континента" в Москве?

— В Польше "Культура" и "Зешиты хисторычне" выходят почти два года. При этом журналы по-прежнему составляются и редактируются в Париже, а в Польше выходит только перепечатка, без прибавления каких бы то ни было материалов и комментариев. Это я считаю очень правильным: отсюда в Польшу можно отправить не больше нескольких сот экземпляров каждого номера, а тираж варшавского издания "Культуры" достигает сейчас 12 тысяч и, думаю, мог бы еще повыситься, если бы лучше работала сеть распространения, которая в Польше, к сожалению, работает очень плохо.

Таким образом, "Континет" принял такое же решение, как мы, и этот подход представляется нам вполне логичным. Ибо не следует впадать в преувеличения и в крайней оппозиционности утверждать, что там все плохо. Наша задача — не отказываясь от самой резкой критики, помогать им, и тут роль эмиграции очень велика — и недооценивается. Мы все смотрим, что сделали те или иные организации, но поглядите, какую огромную роль в культурном и даже политическом отношении сыграл, например, Солженицын. Я говорю о его влиянии как на самое Россию, так и на Запад. То же и у нас в области культуры, ибо не следует забывать, как велики культурные достижения разных эмиграций. У нас это, скажем, Милош и Гомбрович, если же речь идет о русской эмиграции, то, не говоря даже о Бунине, есть целый ряд имен, которые здесь все более популярны.

— Тут, конечно, уместно задать вопрос о названии журнала. Ведь как это выглядит со стороны? Послевоенное время, Восточная Европа и, в частности, Польша отдана на растерзание коммунистам, и вдруг горстка офицеров Польской армии начинает издавать журнал, который называется, допустим, не "Политика", а "Культура"...

— Знаете, сразу после войны, когда мы начинали нашу работу, я был убежден — а убедился я, кстати, на примере довоенной русской эмиграции в Польше, довольно многочисленной, которую я хорошо знал, был дружен с Дмитрием Философовым и рядом других писателей или

политических деятелей в Варшаве, и меня тогда поражали крайние политические разногласия, — так вот, я был убежден, что в эмиграции трудно действовать в каких-то организационных формах, потому что немедленно начинаются расхождения, расколы и т.д. Важнее всего — слово, важнее всего сохранить культурный фактор, который нужно сберечь, защитить, и это — общий язык между нами, эмиграцией, и будущими поколениями. Поэтому мы сознательно выбрали такое название и придаем большое значение вопросам культуры.

— *Пан Ежи, мы почти всегда заканчиваем наши интервью вопросом: "Что хотели бы Вы сказать читателям "Континента"?" Я хочу задать Вам этот же вопрос, но с учетом того, что Ваш ответ будет обращен к ста тысячам читателей в России.*

— Прежде всего, конечно, это пожелание самой России, чтобы она отряхнулась от прошлого и стала демократической страной. Но для меня лично важнее всего вопрос нормализации польско-русских отношений, и не только в политическом аспекте — тут всегда могут остаться те или иные разногласия, — но в аспекте культурного сотрудничества. Для меня все это всегда было делом очень близким. С коммунизмом я начал бороться еще до войны и продолжал борьбу в эмиграции, но в то же время русская литература была мне очень близка, едва ли в каком-то смысле не ближе, чем польская. Я ведь больше читаю по-русски, чем по-польски, потому что нахожу там больше отвечающих моим интересам писателей и книг, чем в польской литературе.

Польско-русское культурное сотрудничество следовало бы углубить. Тем более, что в прошлом у нас прекрасные примеры такого сотрудничества, начиная хотя бы с Мицкевича. Заметьте, например, что перед 1-й Мировой войной польская литература в России была очень популярна, переводили массу польских писателей: Жеромский, Пшибышевский, Сенкевич выходили приложениями к "Ниве", которые я помню с детства, — это была замечательная форма популяризации литературы и доступа к ней широких масс. Издания на газетной бумаге, неслышанно дешевые. И в их числе много переводов с польского.

— Надо сказать, что переводов с польского на русский в СССР выходило немало. Но при этом писатели, на чье имя был наложен цензурный запрет в ПНР, автоматически становились запретными и в СССР. Сейчас это, естественно, меняется. Из того немногого, что мне известно о тамошних издательских планах, назову одно, что мне самой особенно приятно: в издательстве "Прогресс" готовят переиздание книги Густава Герлинга-Грудзинского "Иной мир" в моем переводе (книга вышла в лондонском издательстве "Оверсиз" — разумеется, небольшим, обычным для эмигрантских изданий тиражом).

— Да, здесь огромное поле деятельности для нас. Вот вы упомянули Герлинга-Грудзинского — для меня его книга чрезвычайно важна, и не только в силу таланта, а тем, что вот человек, который прошел лагеря, столько перестрадал и не испытывает никаких антирусских чувств — общечеловеческие ценности для него важнее. Вот подход, который нужно защищать и пропагандировать. Чего я больше всего боюсь, это как раз всяческих раздутых национализмов. Боюсь, как бы борьба с советизмом, с советизацией, с коммунизмом не превратилась в антирусскую борьбу. Подобные массовые настроения крайне опасны, и мы должны против них бороться. Потому-то — я отвлекаюсь от чисто политических оценок — для меня были такой радостной неожиданностью демонстрации в Москве в защиту прибалтийских стран. Я не знаю, каков Ельцин, но, судя по целому ряду его выступлений, он ведет себя замечательно. И это вселяет надежду.

Эхо далекой войны

Выписка

из наградного листа

Приказ по 86 гвардейской стрелковой Николаевской Краснознаменной дивизии N 088/Н от 4 мая 1945 года от имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю: орденом "Красная Звезда"

гвардии младшего лейтенанта Неизвестного Эрнста Иосифовича, командира стрелкового взвода 260 гвардейского стрелкового полка, 1925 г.рождения, домашний адрес: г.Свердловск, ул.Физкультурников, дом 30, кв.5.

Тов.Неизвестный в боях западнее Рюккендорфа 28 апреля 1945 года по захвату контрольного пленного проявил себя смелым и инициативным командиром. Он одним из первых поднялся в атаку на противника, увлекая за собой бойцов своего взвода.

Ворвавшись в траншею, он гранатами и огнем из автомата уничтожил пулеметную точку и 16 немецких солдат. Будучи ранен, он продолжал командовать взводом и благодаря этому траншею противника и пленный были взяты.

Командир полка гвардии майор Величко 2 мая 1945 года.

Основание: ЦАМО, фонд 33, опись 686196, дело 5306, стр.188.

Выписку произвел руководитель клуба "Поиск" 18 июля 1989 года.

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Г о д о в а я п о д п и с к а (4 н о м е р а)

Abonnement pour 1 an (4 numeros)

Фамилия (Название учреждения) (Nom ou etablissement):

.....
.....

Адрес (Adresse):

.....
.....

Оплату произвожу (Je fais le payement):

приложенным чеком во франках (par cheque en francs) ☐

почтовым переводом (par mandat postal) ☐

банковским переводом (par ordre bancaire) ☐

Стоимость годовой подписки (Prix d'abonnement annuel):

200 francs fr. — 60 DM — 32 \$ USA (air mail — 40 \$)

Заполненный талон просим направлять по адресу

(Veuillez envoyer votre talon rempli á l'adresse):

Association des Amis de la revue "Continent",

16 rue Lauriston, 75116 Paris, France

Платеж — по тому же адресу или в банк

(Payement a la même adresse ou á la banque):

Les Amis de la revue "Continent", compte 3.726130.8,

Société Générale, Agense Kléber, 45 av. Kléber,

75116 Paris, Franse

Для подписчиков в США и Канаде

(For the subscribers in USA and Canada):

Continent-USA, Edward D. Lozansky

3001 Veazey Terrace, N.W., Washington, D.C. 20008,

USA

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ "КОНТИНЕНТА"

Наш журнал Вы можете купить в магазинах "Академкнига" и "Букинист" г.Москвы, в киновидеоцентре "Москва" и в магазине 120 "Москнига" по ул. Кирова, 6.

Мы имеем также распространителей журнала в следующих городах страны:

- г.Воронеж, 57, ул.Молодежная,26. Малое предприятие "Вест-1".
- г.Калиновка Винницкой обл., ул. Дзержинского, 53, группа "Артифакт" при РК ВЛКСМ
- г.Омск, ул. Суворова,21. МКП "Арсенал"
- г.Кишинев, ул.А.М.Спетару,7, кооператив "КОСКОТТ"
- г.Минск, ул.3.Бядули,13, МКП "Плазмокор"
- г.Таллинн, а/я 3103, Тартусское Культурное Общество.

По вопросам приобретения журнала небольшими партиями можно обращаться в Московское областное отделение Общества книголюбов, в Гуманитарный фонд СССР и в магазины Литфонда РСФСР.

Консорциум "АВЕРС" ищет надежных партнеров для распространения журнала в тех регионах страны, где мы еще не имеем своих распространителей. Договора заключаем на взаимовыгодных условиях.

Принимаем заказы на выполнение полиграфических работ на своей бумаге.

С предложениями обращаться:

111397, Москва, а/я 14.

Подписано в печать 09.09.91 Формат 70 x 100/32

Бумага офсетная N1. Печать офсетная.

Печ. л. 12. Усл. печ. л. 15,48

Тираж 100000 экз.

1-й завод 15000 экз. Цена 6 руб. 95 коп.

Кино-издательский консорциум "АВЕРС".

111024, Москва. I-я ул. Энтузиастов, д. 12а.

Отпечатано в Московской типографии № 4
Государственной ассоциации предприятий,
организаций и объединений полиграфической
промышленности «АСПОЛ»

129041, Москва, Б. Переяславская ул., 46.

Зак. 1367

НЕОБХОДИМОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ

В последнее время в отечественных средствах массовой информации все чаще появляются сообщения о выходящем в ФРГ журнале "Континент" без указания его языковой принадлежности, что создает впечатление об идентичности этого журнала нашему изданию.

В свое время, по договоренности с издательским Домом Акселя Шпрингера мы действительно создали, в числе других, немецкую версию "Континента", повторявшую в основных чертах его основной — русский вариант.

К сожалению, с тех пор немецкий "Континент", сохранив, хотя и юридически обоснованно, но против воли русской редакции, наше название, полностью отошел от политических и эстетических принципов русского издания, что привело к подрыву его репутации в Федеративной Республике Германии.

В связи с этим мы считаем необходимым оповестить всех заинтересованных лиц и в первую очередь наших читателей, что не имеем никакого отношения ни к публикациям немецкого "Континента", ни к его общественной деятельности.

Редакция журнала "Континент"